









NIA

10

Евгеній Чириковъ.

томъ первый.

РАЗСКАЗЫ.

ИЗДАНІЕ ПЯТОЕ.

Цѣна 1 рубль.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Типографія Монтвида. Конная ул., д. № 3—5. 1903.



Оглавленіе

							ULP.
Ранніе всходы, .		*					1
Бродячій мальчикъ							
Gaudeamus igitur							88
Въ лѣсу	16						113
Калигула		~.					142
На стоянкъ							172
Студенты прі вхали							
Съ ночевой		t.1					256
Созрълъ							288
Прогрессъ							309



РАННІЕ ВСХОДЫ.

Посвящого Валь.

- 10

Весна идеть!..

Солнынко гръеть, принекаеть... По удинамь стремительно катител шумиме ручейки и потоки. Съ домовъ и каринзовъ валятся и разбиваются вдребезги ледяныя сосульки... Небо чистое, прозрачное, голубое, и маленькія облачка илывуть въ немъ, какъ бълые лебели, куда-то мимо... Вездъ хороню, привътливо и радостно: и на небъ, и на землъ... Люди добрые, веселие, радостные: всъ чего-то ждуть и на что-то надъются, еловно съ приходомъ этой новой весны они будуть и жить по новому, жить не такъ, какъ жили и живуть до сихъ поръ...

За высокимъ, утыканнымъ гвоздями заборомъ гимназическаго сада воробы подняли такое чириканье,
такой гвалть и содомъ, что дремлющему на принекъ
солнечныхъ лучей старому усатому будочнику. что
стоить на углу, недалеко отъ сада, грезится какой-то
скандалъ, и сердце тревожится смутно сознаваемой потребностью вмъщаться въ это "безобразіе"...

На обсохиних от грязи протадинах и на крышахъ воркують годуби: нахохдившись и распустивъ крыдъя, увиваются вокругъ и окодо своихъ годубокъ и, върно. папѣвають имъ прекрасные романсы о любви и счастіп... Галки, собравшись толною на угрюмыхъ башшихъ тюремнаго замка, галдять, словно бранятся.

Вст рады!.. Даже и вонъ тогъ серьезный старый несъ, что лежитъ на площадкт пара лаго крыльца, видимо, очень доволенъ: онъ сперва почесалъ задней ногой за ухомъ, потомъ лъшиво потянулся, легъ на спину и устремилъ свой взоръ въ глубокую небесную синеву, застывъ въ позт блаженнаго созерцателя...

Но, безъ сомивнія, всехъ больше довольны и рады классики, реалисты и гимиазистки: сегодия у нихъ быль последній день запятій Уроки прощли какъ-то вяло, безпорядочно. Мальчуганы были непосъдливы, не могли "внимать" и не были расположены бояться... Да и сами преподаватели больше разговаривали, чъмъ поучали, и лишь для видимости сердито покрикивали "тише!", когда школьники, чуя близкій отпускъ, вхолили въ такую ажитацію, что классь напоминаль тѣхъ самыхъ воробычвъ, которые тревожили сердце дремавшаго на солименть городового... Какъ ни какъ, а всъ четыре урока, назначенныхъ по респисанію, прошли, и, напонець, распустили... Вы души школьниковъ повъяло волей, простоиомъ, свободой, и теперь, расходясь по домамъ, они радоство и весело стучали ногами по нанели, двигалсь но развымъ паправленіямъ шумливыми и драчанными славками. Двъ педъди отдыха казались ребятамъ столь продолжительнымъ временемъ, что попедзлышкъ боминей не зли рисовался въ далекомъ тумант... До этого пол дъльника можно усифть передъльть массу исявить дъль, пережить много всякихъ радостей и горостьі

11.

Отдълившись от спумной комнаян, по нанели торошливо или два итороклассника. Петровъ и Павловъ, и разговиринали между собою:

- Опоздали! Маріинокъ отпускають въдь раньше!..
- Ничего... Онъ какъ идутъ-то? Бабы! Мы съ тобой въ иять минутъ, а онъ въ двадцать иять, отвътилъ Петровъ и замътилъ товарищу: отвороти брюки-то!.. Засучилъ, словно приготовишка.

Петрова компрометировали эти "завороченныя брюки".

Павловъ пріостановился, наклонился и "отворотилъ". "Не забыть бы опять завернуть, какъ къ дому приду, а то мамаша опять бранить станетъ",—подумаль онъ и побъжалъ вдогонку за быстроходнымъ Петровымъ, который на всъхъ парахъ летълъ по направленію къ женской гимназіи.

- Только бы узнать, гдѣ она живеть! Кажется, на Никольской улицѣ. Я вчера слѣдилъ, да упустилъ: зашла а уголъ, а я прямо продралъ... опростоволосился... оъклуч на ходу бросаетъ слова Петровъ.
 - А фимилію не узналь?
- Нъть. Зовуть слышаль какъ: Деля. Да узнаю и фамилю, только бы того... Имя хорошее. Значить— Елена...
- А, можеть быть, и не Елена? Воть у нашей "курпосой балалайки" сестренку тоже Лелей зовуть, а опа не Елена, а какъ-то по другому.

Гимназисты завернули влѣво и стали подниматься по проудку въ гору. Здѣсь они убавили шагу, такъ какъ навстрѣчу уже стали попадаться гимназистки разныхъ возрастовъ, начиная отъ сформировавшихся дѣвушекъ, шедшихъ молча и величаво, до крошечныхъ дѣвчурокъ съ треплющимися локонами, звонко щебечущихъ своими серебристыми голосами.

- Гм... Она!—произнесъ Петровъ, подтолкнувъ локтемъ въ бокъ Павлова.
 - Глъ?
 - Вотъ! Слъпой... Съ реалистомъ идетъ...
 - Да, да...
 - Eamus на другую сторону!

Навстръчу, по другой сторонъ проудка, шла миленькая гимназисточка, подростокъ лътъ двънадцати-тринадцати, съ русой золотистой косой, съ румяными щечками и веселыми, умными, бойкими глазенками. Она оживленно болтала съ кавалеромъ-реалистомъ и весело поматывала книжками въ ремняхъ въ тактъ замедленному шагу. Съ книжками лежалъ жестяной пеналъ, и онъ побрякивалъ очень бойко и звонко.

Это и была она.

Петровъ былъ нѣсколько озадаченъ: "значитъ, у нея уже есть", — подумалъ онъ, и ему стало досадно и грустно.

- Ну, иди скоръе! опять съ тобой упустишь!-недовольно замътиль онъ Павлову, спущенныя брюки котораго попадали подъ пятки и замедляли передвижение Товарищи пошли следомъ за Ледей. Петровъ очень внимательно разглядываль косу, голубую ленточку въ ней и оборку коричневаго платынца. У Лели новыя калоши, и следь ясно нечатается на сырой панели. Петровъ поровить попадать своими ногами въ этотъ етъдъ: это ему очень пріятно. Павловъ — тюря, и не даромъ Петровъ раза три уже обругалъ его "кислымъ молокомъ": не умфеть онъ поддержать разговоръ, чтобы обратить вниманіе Лели, или начнетъ говорить тогда, когда надо молчать и слушать. Реалисть давно уже почуяль "преслъдованіе". Онъ нъсколько разъ обертывался уже назадъ и сердито сверкалъ глазами. Но Петровъ не смущался: онъ былъ достаточно храбръ, хотя и не силенъ...
- Яичница съ лукомъ! какъ бы про себя бурчить Петровъ въ отвътъ на сердитые взгляды реалиста.

Реалистъ не отвъчаетъ, но на лицъ его ясно сквозитъ затаенная мысль: "Постой! дай только проводить,—я тебъ всыплю", въ то время, какъ языкъ его продолжалъ занимать даму разговоромъ.

- У насъ вскорѣ послѣ Пасхи—экзамены, и 15 мая конецъ всему! Распустять!
- Счастливчики! А у насъ только 10 мая начнутся... Да, Алевтина Николаевна, прощайте! — грустно говорилъ реалистъ.
- -- Слышишь? Алевтина Николаевна,—шепчеть, подталкивая товарища, Петровъ.

Въроятно, Леля услыхала голосъ, назвавшій позади ея имя: она обернулась, и на ея миломъ личикъ скользнула довольная улыбка.

Леля очень самолюбива и тщеславна... Очевидно, идущіе позади гимназисты ею заинтересованы, а это такъ льстить самолюбію!

Леля граціозно мотнула головкой, какъ бы небрежно откидывая свою косу, и заговорила съ реалистомъ нѣсколько приподнятымъ тономъ, какъ говорятъ, когда знаютъ, что есть другіе слушатели, кромѣ собесѣдника, и когда желаютъ, чтобы и эти "другіе" тоже слышали:

— А у гимназистовъ, кажется, позже всъхъ экзамены? Бъдненькіе! — произноситъ Леля самымъ пъвучимъ голоскомъ.

Петровъ счелъ необходимымъ кашлянуть и крякнуть. Реалистъ молчалъ; только лицо его сдълалось еще болъе недовольнымъ.

Павловъ испачкалъ въ грязи концы своихъ новыхъ брюкъ, и это его сильно безпокоило; онъ подумывалъ уже, "не заворотить ли" ихъ опять, но почему-то не ръшался...

Такъ они дошли до Никольской улицы, гдѣ вчера Петровъ упустилъ Лелю. Леля съ реалистомъ свернула влѣво. Гимназисты—тоже. Прошли три-четыре дома,—и не только мъстожительство Лели обнаружилось, но была открыта,—по визитной карточкѣ на двери, куда вошла Леля,—и ея фамилія—"Троицкая".

— A можетъ быть, она на хлѣбахъ, и это не ея напаша?—усомнился, было, Павловъ. — Дуракъ! видишь — "Николай"? А ее величають Николаевной. Значить—отецъ...

И такимъ образомъ Петровъ добился узнать, какъ ее зовутъ, какъ ея фамилія, гдѣ она живетъ... Но этого ему было мало,—онъ рѣшилъ, во что бы то ни стало, познакомиться. "Ужъ я добьюсь!"—говоритъ Петровъ.—"Она, навѣрно, будетъ говѣть у Покрова"...

А реалистъ прошелъ уже шаговъ десять впередъ и нътъ-нътъ да и оглянется.

- Яичница съ лукомъ!—крикнулъ Петровъ въ одинъ изъ такихъ моментовъ.
- Молчи, синяя говядина по грошу за пудъ и собаки не жрутъ!..-отчеканивая каждое слово, отвътилъ реалистъ.

Петровъ предложилъ было Навлову "вздуть" реалиста, но Навловъ струсилъ. И всъ "провожатели" мирно разошлись въ разныя сторомы.

III.

Стояла страстная седмица. Весна шла быстро. Солице свътило все ярче, и небеса дълались все глубже и прозрачнъе. Снъгъ совершенно стаялъ. Кое-гдъ уже выставляли зимнія рамы.

Люди готовились къ встръчъ великаго праздника.

По утрамъ и по вечерамъ раздавался протяжный благовъстъ къ "часамъ" и "вечернъ". По улицамъ медленно тянулись вереницы говъльщиковъ, медленно шагающихъ по направленію къ приходскимъ церквамъ.

Петровъ и Павловъ тоже говъли, какъ и слъдуетъ. Они мыкались по церквамъ, какъ угорълые... Полетятъ къ Покрову, протолкаются впередъ, встанутъ, торопливо перекрестятся и съ одышкой, словно сейчасъ только бъгали взапуски, начинаютъ вопросительно обводить взорами молящихся, видимо, кого то отыскивая... Постоятъ минутъ десять, Петровъ толкиетъ Павлова

локтемъ,—и говъльщики лъзутъ вонъ изъ церкви. Выбравшись на наперть, они мигомъ накрывають головы фуражками и стремительно летятъ къ Петру и Павлу. И тамъ повторяется та же исторія. Благоговъйно настроенные старики и старухи сердятся:

— Вотъ, прости Господи, угомону нѣтъ! взадъ-впередъ! взадъ-впередъ!..

Но гимназисты не смущаются, — лѣзутъ себѣ, куда имъ надо.

Эти поиски продолжались очень долго. Петровъ уже отчаявался, какъ вдругъ судьба улыбнулась.

— Зайдемъ, что ли, еще въ Семинарскую!—сказалъ Петровъ уже совершенно печально, когда они тщетно путешествовали со свъчами въ рукахъ изъ церкви въ церковь во время чтенія "Двънадцати Евангелій".

Оку вошли въ Семинарскую домовую церковь.

Петровъ поведъ взоромъ: сердце его вздрогнуло и застучало, — онъ увидълъ золотистую косу съ голубой ленточкой.

— Здѣсь! — переводи духъ, шепнуль онъ Павлову. Павловъ вытянулъ шею, но по близорукостъ не на-ходилъ. Однако, не желая выказать себя ротозъемъ, Пабловъ шепнулъ въ отвѣтъ:

— Вижу!..

Петровъ протискался впередъ и сталъ недалеко отъ Лели, сбоку. Леля словно почувствовала устремленный на нее пристальный взглядъ и, полуобернувшись и встрътя знакомое лицо гимназиста, чуть-чуть улыбнулась и опять стала неподвижна, какъ статуя...

Теперь Петровъ уже никого не возмущалъ и никому не мѣшалъ. Онъ смирненько стоялъ на мѣстѣ и усердно молился, нѣсколько скашивая глаза въ правую сторону на Лелю...

Храмъ былъ биткомъ набитъ молящимися. Слышалось чтеніе евангелій, рѣдкіе удары колокола на колокольнѣ и глубокіе вздохи старушекъ вблизи! Потомъ неслись стройные, торжественные звуки хора, замиравшіе въ вышинъ, подъ потонувшими въ таинственномъ полумракъ сводами храма. Блистали огоньками сотни восковыхъ свъчъ, и, когда кончалось "евангеліе", огоньки эти мигали, гасли, и къ запаху ладона примъшивался запахъ дыма и копоти отъ тлъющихъ фитилей.

У Петрова была свъчка, но она была тонкая, стоила всего пятачокъ, и при томъ Петровъ половину ея уже успълъ сжевать отъ скуки и волненія во время "попсковъ". Петровъ купилъ себъ новую свъчку, потолще, въ десять копеекъ, "съ золотомъ". Когда приближалось чтеніе евангелія, онъ первый зажигалъ свою свъчу съ золотомъ и приближался къ Лелъ. Онъ даже нъсколько нагибалъ свою свъчу въ ея сторону, и, какъ только Леля выказывала своимъ движеніемъ намъреніе зажечь свой огарокъ, Петровъ полсерывалъ ей огонекъ.

— Мерси! — чуть слышно шептали Лелины губки. Она слегка улыбалась, зажигала свою свъчу отъ блиставшей лолотомъ свъчи Петрова и опять дълалась неподвижной, серьезной, какъ "большая"...

Но у товарищей было уже напередъ условлено, какъ надо "дъйствовать".

Павловъ, стоявшій позади Лели, съ другого бока, тихо, незамѣтно дулъ черезъ плечо на огонекъ свѣчи, и она потухала. Тогда Петровъ быстро подставлялъ свой огонекъ. Потомъ Петровъ умышленно тушилъ свою свѣчу и тянулся, чтобы позаимствоваться огонькомъ у Лели, при чемъ называлъ уже ее Алевтиной Николаевной, что для той было столь же неожиданно, сколь и пріятно.

Когда настало время "прикладываться", Петровъ пошелъ слъдомъ за Лелей, не отставая отъ нея ни на шагъ. Немного толкались, но это было ничего, даже веселъе. Мямля-Павловъ отсталъ, былъ оттертъ толпою и пропаль безследно... Не таковь быль Петровь: оньтаки "приложился" сейчась же за Лелей, къ тому же самому мъсту, и пошель за нею обратно. Навстръчу проталкивался тоть реалисть, который смущаль Петрова, и последній мимоходомь ткнуль его локтемь какъ бы нечаянно... Но и реалисть затерялся въ толиъ. Леля шла къ выходу. Петровъ не отставаль. Леля, видимо, кого-то поджидала.

— Намъ, въдь, Алевтина Николаевна, по пути... Я черезъ Никольскую хожу, все равно, пойдемте вмъстъ,—привралъ Петровъ. Леля была рада; она потеряла свою провожатую, горничную Өеню, а одна идти боялась: было поздно и темно.

Петровъ пошелъ провожать. Дорогой онъ съ успъхомъ поддерживалъ разговоръ съ дамой и, между прочимъ, женоминять реалиста, не преминулъ уронить его "шансы".

- Въл резлистамъ въ университетъ нельзя... Ихъ не принимаютъ туда...
- Нътъ, если выдержать гакой-то экзаменъ, такъ можно.
 - Гдъ имъ? Не придется: мелко плавають
 - Но зато они могуть въ офицеры!
- Въ офицеры? Эка штука! Въ офицеры и мы можемъ, если захотимъ... Не стоитъ только.
 - У офицеровъ очень красивая форма...

Петровъ не подыскалъ возраженія.

— Чего особеннаго!—вскользь замътиль онъ и перевель разговоръ ближе къ цъли. Онъ узналъ, что Леля во второмъ классъ, что она ходитъ каждый день въ пять часовъ гулять съ папой, и что на Пасхъ у нихъ на дворъ будутъ играть въ крокетъ.

IV.

Былъ прекрасный весенній день,—второй день Пасхи. Надъ городомъ разносился радостный несмолкаемый гуль оть сотень трезвонящихь колоколовь. По улицамь мыкались на извозчикахь визитеры въ цилиндрахъ, и двигались по панелямъ разряженные "плебеи", поплевывавшие шелухою подсолнечныхъ съмечекъ.

Природа ликовала вмъстъ съ людьми, празднуя свое обновленіе.

Петровъ и Павловъ прохаживались около четвертаго дома на Никольской улицъ. Со двора этого дома вырывались на улицу веселые дътскіе голоса, смъхъ и крики. Тамъ во что-то звонко стукали, перекликались и спорили. Конечно, тамъ играли въ крокетъ. Петровъ это сразу понялъ и сообщилъ Павлову. Обоимъ хотълось зайти во дворъ и присоединиться къ играющимъ, но какъ-то не было ръшимости. Особенно колебался Павловъ.

— Навърно, и реалистъ тамъ! Отлустъ цажой, вотъ тебъ и крокетъ.

Петровъ присдущимался и узнавалъ звонкій голосокъ Лели. Ему такъ хотѣлось понграть съ ней въ крокеть, такъ тянуло на этотъ дворъ. Растворивъ тяжелую камитку, съ цѣнью въ воротахъ, онъ заглянулъ внутрь. Но инчего не видать: справа—стѣна, слѣва—крыльцо, и дворъ загибается за уголъ. Слышались лишь голоса и крики, да стукъ молотковъ о шары.

- Ну, идемъ, что ли?—сказалъ Петровъ, шагнувъ въ калитку и оборачиваясь къ Павлову.
 - А реалисть?
- Ахъ, ты трусъ презрънный, отвътилъ съ сердцемъ Петровъ, вытаскивая обратно свою ногу.

Но—чу! Лелинъ голосокъ близко, близко... Слышенъ топотъ ея ножекъ и хохотъ. Шаръ выкатился со двора въ узкій проулокъ, ведущій къ воротамъ. Петровъ моментально всунулъ свою голову въ калитку, подъ цѣпь, и посмотрѣлъ.

— Ахъ! кто тамъ? — испуганно вскрикнула Леля,

увидя просунутую въ калитку голову съ улыбающейся физіономіей.

- Въ крокетъ играете, Алевтина Николаевна? спросилъ Петровъ, еще болъе всовываясь въ калитку.
- Ахъ, это вы, Петровъ? Что же вы не идете? Идите. Будемъ играть въ крокетъ.
 - Я не одинъ. Тутъ еще есть... мой товарищъ.
 - Пусть и онъ идеть!

Но—увы! — товарища уже не было у вороть, когда Петровъ обернулся, чтобы позвать его. Павловъ, какъ только услыхалъ выкрикъ: "кто тамъ?" такъ сейчасъ же представилъ себъ "реалиста съ палкой", и далъ тягу.

"Дуракъ и трусъ!" подумалъ Петровъ и смѣло вошелъ въ калитку.

Запустивъ руку въ карманъ мундира, онъ вытащилъ от уда спеціально приготовленное имъ для Лели яичко, съ нацарапанной на немъ надписью:

Я на этомъ на чичкъ. Какъ на красной на страничкъ. Про любовь свою пишу И красоткъ подношу...

Христосъ воскресе!!

А. Н. Т. отъ меня.

Вытащилъ и, подавая яичко Лелъ и жадно смотря на нее своими черными глазенками, сказалъ:

— Христосъ воскресе, Леля!

Леля взяла яичко, смутилась, вспыхнула, какъ розанчикъ, потупилась и тихо отвътила:

- Но... но я не христосуюсь... съ мужчинами!
- Вотъ бѣда какая! проговорилъ Петровъ и, моментально подскочивъ къ Лелѣ, обвилъ лѣвой рукой ея талію и сталъ цѣловать ея щечку.

Фуражка съ Петрова спала наземь и была смята ногами. Тщательная прическа "съ проборомъ" спуталась.

Настойчивый Петровъ, въроятно, долго бы не выпустиль изъ рукъ Лелину талію, если бы не раздался

вдругъ близкій окрикъ появившейся изъ-за угла дѣ-вочки:

— Ай да Леля! Ай да Леля! — закричала эта дъвочка, захлопавши въ ладоши.

Петровъ опомнился и выпустилъ Лелю. А изъ-за угла выскочилъ вдругъ реалистъ и дѣйствительно съ палкой...

— Axb ты, синяя говядина! Да я тебя,—закричаль реалисть, замахаль палкой и побѣжаль съ явнымъ намѣреніемъ отдуть Петрова.

Петровъ подхватилъ съ земли свою запыленную фуражку и весьма проворно выскочилъ въ калитку.

"Ладно! все-таки похристосовался!" думаль Петровъ, спасаясь отъ преслѣдованія реалиста, и, когда попяль, что опасность миновала, обернулся къ воротамъ, погрозилъ кулакомъ и прокричалъ:

— А тебъ, яичница съ лукомъ, мы бока намнемъ! погоди!...

V.

лето Петровъ провелъ въ деревнъ Ольшанкъ, у дяди Гриши.

Сильно тосковаль Петя первое время по прівздѣ о Лелѣ. Круглое одиночество чувствоваль онъ въ большомъ барскомъ домѣ и тоскливо слонялся по комнатамъ, не находя никакихъ развлеченій. Въ прошломъ году здѣсь было весело. Тогда очень веселый былъ дядя Гриша: они съ нимъ были большими друзьями, вмѣстѣ ѣздили въ лѣсъ и въ поле, пускали змѣя, удили рыбу въ пруду... Вообще, тогда дядя Гриша относился къ Петѣ внимательнѣе, чѣмъ теперь. Теперь не то. Дядя Гриша женился на тетѣ Дунѣ и все вертится около своей молодой жены... Дядя, казалось, позабылъ о существованіи на свѣтѣ Петрова... Это обидно, по Петровъ не станетъ "навязываться": не хочеть, и не

надо!.. Новая тетя тоже не особенно интересуется Петровымъ, да Петрову и не больно нужно... Идутъ вълъсъ подъ руку, а Петъ ничего не говорятъ... Ужъ когда вышли за ворота и стали спускаться подъ горку, тетя Дуня обернулась и крикнула торчавшему у воротъ Петрову:

- Петя! не хочешь ли съ нами?
- Не хочу,—отвътилъ громко Петровъ и тихонько прибавилъ:—давеча не звали, а теперь лъзутъ...

И остался у вороть... Потомъ пошелъ въ садъ и срѣзалъ себѣ изъ вишни палочку. На корѣ онъ вырѣзалт двѣ буквы "л", что означало "люблю Лелю". Въ бесѣдкѣ Петя изрѣзалъ перочинымъ ножемъ весь столъ и всѣ подоконники вензелями "Л. Т.".

Скучно Петв... Брякнется онъ на траву, закроеть глаза и начинаеть думать о Лелв... Русая головка съ вздериметмъ носикомъ встанеть передъ его мысленнымъ взоромъ матечь се сердечко запрыгаеть отъ радости и тоски, и всъ по существомъ своимъ Петя устремится въ городъ, гдъ... глъ въ сущности теперь и Лели-то нѣтъ вовсе... "Дядъ весело, в метъ Петя, — потому, что у него есть жена, а у менъ пътъ желы. И потому мнѣ одному скучно"... Хорошо бы правести сюда Лелю... Они ходили бы съ ней подъ ручку. какъ ходятъ дядя съ тетей, и тоже не брали бы ихъ съ собой гулять.

Первую недълю Петя тосковалъ такъ сильно, что наводилъ тоску даже на тетю Дуню.

- Что ты ничѣмъ не займешься?—спрашиваетъ съ досадой тетя.
 - Нечвиъ заниматься...
 - Читалъ бы!..
 - Все давно прочиталъ...
 - Ну, пошель бы играть...
 - Не съ къмъ...
 - Пускай змъя!

- Вътру нътъ...
- Такъ неужели же никакого дѣла такъ и не можешь себѣ придумать?
 - Никакого діла здісь ніть...

Но прошла недъля, другая, и Петина тоска стала понемногу утихать. Прошла еще недъля. Петя нашелъ себъ столько дълъ, что ръшительно не успъвалъ уже ихъ передълывать. Онъ привыкъ къ новой тетъ и опять подружился съ дядей Гришей. Впрочемъ, теперь и дядя, и тетя ушли на второй планъ, да, пожалуй, Петя не особенно опечалился бы, если бы ихъ совсъмъ и не было... У Пети завелись друзья-пріятели изъ крестьянскихъ ребятишекъ, и масса игръ и развлеченій поглотила его съ головой. Съ утра до поздняго вечера Петя носился по деревнъ, по огороду, по саду. Прибъгалъ запыхавшись и раскраснъвшись въ кухню къ Аграфеиъ и наскоро пилъ воду, тыкаясь головой прямо въ ведро.

— Ковшикъ взяль бы! Разя хорошо прямо мордой лъзъг... На!..

И Аграфена совала Петъ ковшъ.

— Какъ ты смфешь!.. — произносилъ наскоро Петя, вышырнувъ изъ ведра, и быстро исчезалъ за дверью.

Какъ объдать, — начинаются поиски: Петрова, какъ говорится, собаками не сыщешь.

— Ба-ри-нъ!.. Петръ Васил-к-чъ!..—ореть Аграфена съ кухоннаго крыльца. А Никита выйдетъ за ворота на косогоръ и кричить оттуда.

Каждый день новыя игры и забавы. Одной изъ такихъ забавъ было сражение съ крапивой.

Вдоль плетня по огороду росла высокая, густая крапива. Пыльная, колючая, съ кистями желтыхъ цвътовъ, она представлялась большимъ препятствіемъ при прямомъ сообщеніи съ ръчкой черезъ плетень. Петя считалъ эту крапиву врагомъ и поръщилъ ее уничтожить. Изъ Прошекъ, Тришекъ, Мишекъ Петя составилъ воииственную армію, вооружиль ее деревянными саблями и водиль сражаться съ крапивой.

- Сабли вонъ, -- командовалъ Петя.
- Насту-пап!...

И начиналась атака.

Ребята съ какой-то злобою и остервенѣніемъ накилывались на крапиву и изо всѣхъ силъ рубили ее своими саблями. Непріятельскія головы такъ и сыпались, такъ и клонились долу подъ ударами храбрыхъ воиновъ и частенько жгли руки своими колючками. Но это только еще сильнѣе воодушевляло бойцовъ:

— Колоться? Вотъ ты какъ!.. Такъ вотъ тебѣ! вотъ! вотъ!—кричалъ Петя и отчаянно махалъ на обѣ стороны саблей и ногами топталъ непріятеля.

Армія утомлялась. Поть градомъ катился съ героевъ, мускулы рукъ начинали ныть, а между тѣмъ непріятель стояль еще сплошной стѣной вдоль плетня съ гордо поднятою головою,—и Петѣ вдругъ надоѣдало "сражаться".

— Будетъ! Прошка. Не стоитъ, надоъло... — лъниво говорилъ онъ неутомимымъ соратникамъ и валился на траву отдыхать.

VI.

Купанье на "яру" было такъ же пріятно, какъ и сраженіе съ крапивой.

- Петя, пойдемъ купаться!—кричалъ Прошка, ежедневно въ полдень появлявшійся у рѣшетки палисадника барскаго дома.
- Сейчасъ! Дозавтракаю!..—звонко отвъчалъ Петя, выставляясь въ открытое окно.
 - A ты,—скоръй!..

Петя быстро кончаль съ завтракомъ и галопомъ вылеталъ на крыльцо.

— А гдъ Тришка и Мишка?—освъдомлялся онъ о своихъ пріятеляхъ, наскоро прожевывая хлъбъ съ масломъ...

— Ужъ купаются...

И Петя съ Прошкой отправлялись въ огородъ, а оттуда, черезъ плетень, за околицу, къ новому мосту. Здѣсь рѣчка Ольшанка—пошире и поглубже, и почемуто называется "Яромъ", хотя глубина этого яра не больше аршина...

Вотъ къ этому-то "Яру" и бъгутъ Петя съ Прошкой. Теперь здъсь дымъ коромысломъ: крикъ, гамъ, смъхъ, плачъ и ругань... Парнишки и дъвчонки бултыхаются въ грязной взбаламученной водъ и продълываютъ всевозможные фокусы: и "березку ставятъ", и "блины ъдятъ", и въ чехарду играютъ, и съ моста вверхъ тормашками кидаются, плаваютъ и по-бабъи, и по-собачьи, и по-лягушечьи, стараясъ перещеголять другъ друга...

Петя съ Прошкой моментально сбрасывають одеженку и бултыхаются въръчку. Въ водъ масса русыхъ головокъ, голыхъ рукъ и ногъ. Трудно разобраться и разсортировать ихъ по принадлежности. Вдоль берега сидятъ измазанные съ ногъ до головы жидкой грязью ребята, — отдыхаютъ. По периламъ моста возсъдаютъ рядкомъ, какъ птицы, такія же фигурки.

— Прошка! А Прошь! Поставь березку!

Прошка кувыркается, скрывается въ грязной водъ, и черезъ нъсколько секундъ оттуда выставляются Прошкины ноги.

Это и есть "березка".

- Ширну-мырну, гдъ вымырну!
- Огашка! Огашь!
- -- Чиво?
- Глядь, сколь блиновъ съёмъ! кричитъ, выходя изъ себя маленькій карапузъ, съ большой головой.

Карапузъ кидаетъ по водъ черепокъ. Черенокъ подпрыгиваетъ и оставляетъ на водъ круги, все шире и шире расползающіеся на поверхности.

- Одинъ, два три... четыре!.. пять!..

— Пять только!.. А воть гляди, -я!..

Общество съ каждой минутой разрастается. То и дъло подходять новыя партіп ребятишекъ, торопливо сбрасывають рубашенки, бъгутъ на мостъ и, перекрестившись, бросаются внизъ головой, поднимая при паденіи цълый каскадъ грязныхъ брызгъ...

Своимъ примъромъ новички увлекаютъ выкупавшихся и успъвшихъ уже обсохнуть ребятъ... Стараясь опередить другъ друга, они тоже сбрасываютъ рубашенки и кидаются въ ръчку,

Петя совевмъ "опростился": онъ такъ сроднился съ этимъ новымъ обществомъ, что чувствовалъ себя тенерь равноправнымъ членомъ его. Рябятишки успѣли къ нему привыкнуть и скоро стали называть его Петькой; никакого почтенія къ нему они теперь уже не чувствуютъ и, вообще, обращаются съ нимъ за панибрата. Впрочемъ, такое отношеніе Петѣ кажется теперь совершенно правильнымъ, такъ какъ онъ давно уже отвыкъ раздѣлять мальчишекъ, какъ собакъ, на двѣ категоріи: уличныхъ и комнатныхъ.

День проходить быстро, незамѣтно... А каждый новый день приносить новое удовольствіе, новое наслажленіе.

Леля совсѣмъ вылетѣла изъ памяти. Петя уже не только не тосковалъ о ней, по даже пересталъ думать... Некогда было: съ утра до поздняго вечера—на улицѣ съ друзьями и пріятелями; домой возвращается утомленный, ложится и спитъ, какъ убитый, безъ просыпа до слѣдующаго утра... А тамъ опять—дѣла...

Незамътно пролетълъ и вакатъ... Былъ уже августъ въ началъ. Погода стояла прекрасная, но вечера сдълались уже прохладными, и въ саду начали желтъть листья. Невольно мысль останавливалась на городъ, па гимпазіи, а, главнымъ образомъ, на "вакаціонныхъ работахъ"... Ничего не готово, и нътъ никакой охоты браться за книги...

Однажды, за нѣсколько дней до отъѣзда въ городъ, дядя Гриша получилъ вмѣстѣ съ газетами письмо, на конвертѣ котораго было написано старательнымъ дѣтскимъ почеркомъ: "съ передачей ученику Ш класса Н—ской гимназіи Петру Петрову". Дядя долго дразнилъ Петю. Поднявъ руку съ письмомъ кверху, дядя не давалъ Петѣ письмо, а Петя прыгалъ около дяди и старался вырвать его. Петя покраснѣлъ, какъ ракъ, и уже готовъ былъ обидѣться и сказать: "не больно нужно", но тутъ въ дѣло вмѣшалась тетя Дуня и, выхвативъ у мужа письмо, отдала взволнованному адресату.

Убъжавъ въ садъ, въ бесъдку, Петя дрожащей рукой разорвалъ конвертъ. Оттуда выглянула голубая почтовая бумага... "Отъ Лели",—подумалъ Петя и жадно впился глазами въ развернутое письмо.

"Здравствуйте, Петровъ! Какъ вы поживаете, а я, слава Богу, ничего. Ваше яичко я подложила подъ насъдку, потому что очень хотъла, чтобы изъ него вышелъ цыпленокъ, а оно оказалось вкрутую, и его съълъ противный пътухъ. Мы уже прівхали въ городъ, и въ понедъльникъ я пойду въ гимназію. Больше писать нечего, до свиданія, всего вамъ хорошаго.

Алевтина Троицкая".

Внизу была сдълана приписка:

"Прівзжайте скорве, будемь играть въ крокеть".

Воспоминанія хлынули въ Петину душу и разбудили тамъ прежнее, померкнувшее, было, чувство... Опять Леля встала передъ нимъ, какъ живая, и опять его потянуло въ городъ. Все ему вдругъ здѣсь надоѣло, и все стало казаться такимъ пустымъ и неинтереснымъ.

- Петенька! Пойдемъ съ крапивой сражаться, предлагаетъ Прошка.
- Вотъ больно нужно, —разсвянно отвъчалъ Петя. Теперь онъ уже не находить болъе удовольствія въ этихъ "сраженіяхъ и лелветь въ душъ одну встръчу съ милой Лелей...

VII.

По прівздв въ городъ Петя прежде всего отправился къ Павлову.

Встръча была самая простая, безъ волненій, словно они вчера только видълись:

- Сдълалъ вакаціонную задачу?—спросилъ Петровъ.
- Сдълалъ, только по отвъту не выходить... Върно въ задачникъ наврано?...
 - Все равно... Дай, голубчикъ, содрать!
 - Сдирай! Приходи завтра!..

Петъ хотълось поскоръе узнать о Лелъ, но что-то мъщало ему спросить о ней Павлова.

- Въ крокетъ играешь? спросилъ онъ издалека.
- Вчера играли...

Петя хотълъ спросить, гдъ игралъ Павловъ въ крокетъ и играла ли Леля, но опять спросилъ обходомъ:

- Много народу играло?
- Много... Леля ловко играетъ...

Петя вздрогнулъ и вспыхнулъ.

- Какъ-нибудь надо сразиться, произнесъ Петровъ, какъ бы мимоходомъ.
- Пойдемъ сейчасъ! предложилъ Павловъ. У нихъ, навърно, теперь играютъ... Они переъхали на новую квартиру, и теперь дворъ у нихъ большой... Лужокъ... Теперь только въ крокеть играютъ ръдко, а больше—въ ловилышки...
 - Что же, въ ловилышки тоже весело...
 - А реалиста помнишь?—спросилъ Павловъ.
 - Hy?
 - Я съ нимъ помирился... Вмъстъ теперь играемъ...
 - Не стоитъ обращать вниманія...
- У Лели есть двоюродный брать Кукушкинъ... Онъ къ намъ въ гимназію поступиль, прямо въ третій... Живуть на томъ же дворъ...

Петя слушаль съ нъкоторой завистью. Онъ видъль, что Павловъ усиълъ все узнать и, видимо, хорошо познакомился съ Лелей: Павловъ говоритъ о ней, какъ о товарищъ...

— Ты, вѣрно, влюбился въ Лелю-то? — высказалъ Петя съ умысломъ: онъ хотѣлъ узнать, какъ отнесется къ такому предположенію Павловъ.

Павловъ обидълся:

— Ты самъ втрескался, такъ думаешь, — и всъ...

Павловъ надулъ губы. Товарищи замолчали. Павловъ, пожалуй, и совсѣмъ разсорился бы съ Петровымъ, да дѣло въ томъ, что Петровъ написалъ переводъ изъ латинскаго, и придется у него содрать...

- Такъ я тебъ завтра принесу изъ латинскаго, а ты мнъ дашь списать задачу,—желая порвать неловкое молчаніе, произнесъ Петровъ.
 - Хорошо,—отвътиль Павловъ и подобраль губы.
 - Ну, идти, такъ идти, —сказалъ Петровъ.
 - Куда?
 - Какъ куда? Самъ звалъ, а теперь...

Павловъ долго искалъ свою фуражку.

— Воть она!—сказаль Петровъ, поднимая фуражку изъ-подъ стола и такимъ образомъ стараясь смягчить нанесенную товарищу обиду.

На козырькъ фуражки у Павлова было написано чернилами: "Кто возьметь ее безъ спросу, тотъ останется безъ носу..."

Петровъ и Павловъ отправились.

Сильно водновался Петя дорогой. Ему было пріятно и какъ-то страшно; то хотълось дойти поскоръе, то подольше не приходить и оттянуть минуту свиданья съ Лелей...

Выдался теплый августовскій вечерь. Пріятная прохлада носилась въ воздухѣ, и кое-гдѣ изъ оконъ вырывались аккорды піанино.

Какое-то новое невъдомое чувство проснулось въ

душт Петрова. Какая-то восторженная радость овладъла имъ всецто, и такъ хорошо было дышать и слушать музыку, и смотртть вокругъ. Такъ давно уже онъ не быль въ городт, и теперь все ему кажется повымъ: и громыханіе пролетокъ, и выкрикиваніе разносчиковъ, продающихъ лимоны, и вся эта городская сутолока....

Петя нѣсколько разъ поправлялъ блинъ своей фуражки: ему хотѣлось, чтобы фуражка выглядѣла молодецки, браво, какъ у офицера, а не такъ, какъ она выглядитъ у Павлова... Нѣсколько разъ онъ вытаскивалъ пальцами бѣлые рукавчики и воротничекъ крахмальной рубашки, чтобы ихъ было виднѣе; нѣсколько разъ выпималъ платокъ и отиралъ выступившій на лбу потъ; нѣсколько разъ оправлялъ прическу на головѣ...

Но вотъ дошли!..

Домъ — большой, двухъэтажный и смотрить какъто особенно важно и торжественно. Какой - то дымкой таниственности и привлекательности окутанъ этотъ домъ для Петинаго взора... "Въ этомъ самомъ домѣ, гдъ-нибудь тамъ, внутри, живетъ Леля", думатъ Петя, и домъ казался дорогимъ, близкимъ, роднымъ, а отчасти и святымъ даже. И все въ этомъ домѣ какъ-то иначе, чѣмъ во всѣхъ другихъ домахъ: и окна, и выглядывающіе черезъ нихъ цвѣты, и ворота, и трубы для стока дождевой воды... Вонъ, напримѣръ, одна труба кончается раскрытой пастью какого-то звѣря, не то дракона, не то крокодила.

VIII.

Съ чувствомъ благоговънія вошелъ Петя во дворъ этого чуднаго дома. Большой лужокъ пересъкается крестъ - на - крестъ перебъгающими тропинками... Два флигеля съ палисадниками смотрятъ изъ-за желтъющей уже листвы красными желъзными крышами. Индъй-

скій пѣтухъ ходитъ, гордо распустивъ хвостъ, около единственной индюшки. — "Пыринъ, пыринъ нехорошъ, пырка лучше тебя!" — подразнилъ Павловъ индюка. Тотъ побагровѣлъ отъ злости и проболталъ что-то очень недовольно. На черномъ крыльцѣ лежитъ породистый песъ: онъ привѣтливо замахалъ хвостомъ, увидя Павлова (видимо, они хорошо знакомы)...

- -- Какъ зовутъ? -- спросилъ Петровъ.
- Картушъ...

На дворѣ пусто. Только чрезъ растворенныя настежь двери каретника видна кумачевая рубаха кучера Ивана, моющаго пролетку, да на мгновеніе изъ окна кухни выставилась чья-то голая рука и выплеснула на дворъ изъ полоскательной чашки содержимое.

Павловъ направился къ каретнику.

— Гдъ Кукушкинъ? — спросилъ онъ Ивана.

Кучеръ обернулся, но, не обративъ никакого вииманія на вопросъ Павлова, продолжалъ мыть пролетку, тихо напъвая какую-то грустную пъсенку.

Изъ раскрытыхъ оконъ главнаго дома доносился звонъ посуды и говоръ,—тамъ объдали.

Съ замираніемъ сердца Петровъ прислушивался къ этому говору, желая услыхать голосокъ Лели. Но голосокъ не звучалъ.

- Гдъ живутъ Троицкіе-то? ръшился спросить Петровъ товарища.
 - Наверху... Вонъ окно, четвертое съ краю...
- Павловъ! Я сейчасъ! вырвался вдругъ голосъ изъ окна флигеля.

Петровъ вздрогнулъ и спросилъ:

- Кто?
- Кукушкинъ, двоюродный братъ Лелинъ.

Кукушкинъ "выручилъ". Наскоро допивши чай, онъ выскочилъ на дворъ и предложилъ играть "въ ямки".

- Народу мало, —замътилъ Петровъ.
- Я позову... Лелька придетъ...

Петрову только это и надо было.

Кукушкинъ проворно взбѣжалъ на крыльцо и скрылся, топая каблуками по лѣстницѣ, а Петровъ и Павловъ остались ждать.

Томительное ожиданіе! Петровъ прихорашивался незамѣтно для товарища и едва переводиль духъ. Какъ только гдѣ-нибудь хлопала дверь, Петровъ вздрагивалъ, краснѣлъ и начиналъ играть съ Картушемъ, какъ бы совершенно не интересуясь выходомъ Лели. Между тѣмъ его сердце билось громко и порывисто... Вотъ опять стукнула дверь. Кукушкинъ стукаетъ каблуками по лѣстницѣ: онъ бѣжитъ... А вотъ еще слышны шаги, мягкіе, торопливые... Это она! Леля!...

У Петрова захватило духъ и замерло сердце...

- Ахъ, Петровъ! Какъ это вы?..—воскликнула пораженная Леля, остановившись на послъдней ступени крыльца.
- Мое почтеніе!—отвѣтилъ вспыхнувшій Петровъ, снявъ фуражку, такъ сильно прищелкнулъ ножкой, что даже взбилъ подъ ногами пыль.

Леля радостно побъжала ему навстръчу. Они пожали другъ другу руки и нъсколько мгновеній не знали, что сказать теперь.

- Весело было на вакатѣ?—спросила, наконецъ, Леля.
- Страшная тоска! меланхолично отвътилъ Петровъ, которому теперь казалось, что дъйствительно въ деревнъ онъ все скучалъ по Лелъ.
- А япцо-то, которое вы подарили, пѣтухъ съѣлъ... Такая досада.
- Будеть вамъ—про япца... Давапте же играть, перебиль ихъ Кукушкинъ.
 - Въ ямки!-громко крикнулъ Павловъ.

Они стали играть въ "ямки".

Петровъ съ любопытствомъ осматривалъ Лелю. Леля стала выше; загоръла, голосъ какъ-то по другому зву-

чить, а, можеть быть, это только такъ кажется, потому что давно Петровъ не слыхаль этого милаго голоса... Леля еще лучше стала. Смъется она все попрежнему, звонко... Леля въ бъломъ ситцевомъ платьицъ. Она такъ жива и подвижна. Когда бъжить, —трясетъ головкой и звонко, звонко визжить... Онъ не сводитъ съ нея глазъ и играетъ разсъянно, не отдаваясь игръ всецъло, какъ другіе.

Долго играли въ "ямки". Когда Лелю позвали домой, Петровъ захотълъ пить, и Кукушкинъ повель его къ себъ.

— Ты въдь тоже въ нашей гимназіи?—спросиль Кукушкинъ.

- Да...

Кукушкинъ подскочилъ отъ восторга и ударилъ Петрова по спинъ такъ больно, что, не будь онъ двоюродный братъ Лелъ, Петровъ "сдалъ бы сдачи". Больше уже не играли. Игра безъ Лели для Петрова была совершенно неинтересна, и они съ Павловымъ ушли.

Петровъ уходилъ довольный, удовлетворенный: впереди смутно рисовалась дружба съ Кукушкинымъ и возможность, такимъ образомъ, часто видъться съ Лелей.

IX.

Разсчеты Петрова оказались върными: осенью онъ то и дъло бъгаль къ Кукушкину, а вскоръ "затесался" въ гости и къ самой Лелъ.

Теперь Петровъ былъ въ третьемъ классъ гимназін, а Леля въ пятомъ. Но это ровно ничего не значило, такъ какъ у гимназистокъ классы считались, какъ говорили гимназисты, шиворотъ на выворотъ; такъ что въ сущности Петровъ и Леля были по классу ровнями.

Петровъ по буднямъ то и дъло бъгалъ къ Кукуш-кину справляться, что задано то изъ русскаго, то изъ

нъмецкаго, а передъ праздниками ходилъ къ нему въ гости.

Послѣ двухъ игръ "въ короли" и въ особенности одной игры въ "жмурки", Петровъ понялъ, что онъ любитъ Лелю безповоротно и просто не можетъ жить безъ нея... Петровъ рѣшилъ жениться на Лелѣ... Классы вѣдь считаются шиворотъ на выворотъ, поэтому Лелѣ не долго придется ждать, пока онъ кончитъ свое ученіе и сдѣлается, какъ папа, мировымъ судьей.

Но любить ли его Леля, -- воть что главное...

Да, въ этомъ не можетъ быть пикакого сомнѣнія!.. И воть почему:

Однажды, когда они играли "въ короли",—Леля замѣтно старалась сдѣлаться "королемъ", а Петрова пристроить въ "принцы", даже сплутовала въ этихъ видахъ, что Петровъ замѣтилъ, но никому не сказалъ. Леля толкнула тогда его подъ столомъ ножкой. Въ другой разъ Леля спросила Петрова: "Придете вы въ слѣдующую субботу?" и при этомъ добавила: "Если вы придете, и я—тоже"... Наконецъ, однажды Леля сказала: "Петя!.. голубчикъ!.. Садитесь сюда!.."—Дѣло было за чаемъ, и Петровъ сѣлъ противъ Лели, а она хотѣла сидѣть непремѣнно рядомъ...

Такъ что, конечно, Леля согласится выйти замужъ за Петрова.

Сперва Петрова безпокоило то обстоятельство, что Леля, приходя къ Кукушкинымъ и уходя отъ нихъ, цълуется съ Василіемъ, но потомъ онъ успокоился и сообразилъ, что двоюроднымъ братьямъ и сестрамъ цъловаться можно, но выходить другъ за друга замужъ нельзя. Впрочемъ, послъ одного памятнаго вечера у Петрова не осталось никакихъ сомнъній на этотъ счетъ: они были у Кукушкиныхъ и играли въ "жмурки": Леля нарочно сдълала такъ, что съ ея платья свалился маленькій голубой бантикъ; Петровъ поднялъ его съ пола и спряталъ...

Онъ хранилъ этотъ бантикъ въ хорошенькой разукрашенной разноцвѣтными ракушками коробочкѣ и никому не показывалъ его. Зато самъ каждый день передъ тѣмъ, какъ идти въ гимназію, вынималъ бантикъ изъ коробочки и, прикладывая его къ своимъ губамъ, мысленно говорилъ: "Милый бантикъ, спаси меня сегодня изъ латинскаго!.." Петровъ убѣдился, что бантикъ "дѣйствуетъ": какъ-то разъ онъ не приготовилъ хорошенько урока изъ латинской грамматики, а когда спросили,—получилъ четверку. Да, это было просто чудо!.. Совсѣмъ не зналъ съ вечера исключеній, а какъ вызвали, вспомнилъ бантикъ и началъ валять:

> Много есть именъ на is Masculini generis: Panis, piscis, crinis, finis...

— Довольно! отлично!— останавливаетъ учитель, а Петровъ жаритъ себъ, безъ запинки.—Получилъ бы пять, если бы не сбился въ склоненіи...

X.

Наступила и зима. Приближались рождественскія каникулы, и наши герои начинали мечтать объ елкахъ... Если елка вообще вещь очень занимательная, то елка у Троицкихъ въ глазахъ Петрова являлась, безспорно, грандіознымъ событіемъ, поглотившимъ все его вниманіе и всѣ помыслы.

Леля пригласила Петрова еще когда ихъ распустили, и Петровъ началъ тщательно приготовляться къ этому знаменательному событю. Никогда еще на Петрова не находило такого наплыва опрятности, какъ случилось теперь. Стеревши въ порошокъ кусокъ унесеннаго изъ гимназіи мѣла, Петровъ, напѣвая веселые мотивы, чистилъ на своемъ мундирѣ пуговицы и галуны; затѣмъ купилъ на 20 коп. бензину и принялся мыть лайковыя

перчатки, купленныя еще къ Пасхъ и потому немного грязныя. Своей матери онъ надоълъ съ просьбою купить новые сапоги.

- Да въдь у тебя еще кръпкіе?
- A это что?—горячо возражалъ Петровъ, поднималъ ногу и показывалъ каблукъ.
 - Ну, что же!.. Немного каблукъ скривился.
- А ты думаешь, мнѣ не третъ ногу?..—убѣждалъ Петровъ.

Сапоги купили, такъ какъ Петровъ началъ хромать и рѣшительно отказывался надѣвать сапогъ на лѣвую ногу.

Когда Петровъ окончательно привелъ себя въ порядокъ, ему пришла въ голову мысль подарить чтонибудь Лелъ на намять. Онъ остановился на альбомъ и потратилъ на него весь рубль, скопленный по три конейки, которыя давала ему мать въ гимназію на завтракъ ежедневно. Альбомъ былъ изящный, въ красномъ сафьяновомъ переплетъ, съ золотымъ тисненіемъ и съ букетомъ цвътовъ на первой страницъ. До глубокой полночи мучился Петровъ, придумывая, что бы паписать ему собственноручно на память Лелъ въ этомъ альбомъ. Наконецъ, придумалъ. Подъ букетомъ цвътовъ онъ очень красиво вывелъ:

Ты прекрасна, словно роза;
Только разница одна:
Роза вянеть отъ мороза,
Твоя прелесть—никогда...
Ученикъ III класса основного отдъленія
N-ской гимназіи Петръ Петровъ.

Все было готово, дѣлать уже было нечего, и ожиданіе становилось прямо мучительнымь. До елки оставалось еще два дня, и Петровъ слонялся по комнатамъ изъ угла въ уголъ, всѣмъ надоѣдалъ и ссорился съ маленькимъ братишкой.

— Займись чъмъ-нибудь!-кричитъ мать, выведен-

ная изъ терпѣнія. Но въ томъ-то и дѣло, что Петровъ могъ теперь только думать объ елкѣ и о Лелѣ... Присядеть за книжку, пробѣжитъ иѣсколько строкъ и бросить. "Не сходить ли къ Кукушкинымъ?"—размышлялъ онъ.—"Неловко... всѣ убираются къ праздникамъ, а Леля такъ и сказала, что до Рождества ей некогда, и гулять даже она не будетъ ходить".

"Все-таки пройдусь". Надъвъ пальто, Петровъ отправляется бродить по улицамъ, и какъ-то невольно его клонитъ все въ одну и ту же сторону, а именно--къ Лелину дому. Пройдетъ мимо этого дома, заглянетъ во дворъ и пойдетъ дальше. Пройдетъ до угла и снова вернется, и снова пройдетъ мимо этого дома и заглянетъ во дворъ.

Скучно! ахъ, какъ скучно!..

Но воть, паконець, насталь и желанный день... Ровно въ семь часовъ вечера Петровъ съ тщательно завернутымъ въ бумагѣ альбомомъ заявился въ квартиру Троицкихъ.

Роскошно убранная елка торжественно возвышалась посреди зала. Масса яркихъ огней придавала ей видъ красивой пирамиды изъ звъздъ. Разноцвътные фонарики прятались въ вътвяхъ елки, какъ въ густыхъ танпственныхъ аллеяхъ какого-то волшебнаго сказочнаго парка. Позолоченные и посеребренные оръхи и картонные ордена, металлическія игрушки и зеркальные стеклянные шарики, покачиваясь на питочкахъ, сверкали искрами, какъ снѣжинки въ лунную морозную ночь...

Сколько заманчивыхъ вещицъ, сколько красивыхъ бомбоньерокъ и вкусныхъ сластей скрывалось въ этой волшебной пирамидъ изъ звъздъ! Кругомъ красиво ниспадаютъ гирляндами разноцвътныя бумажныя цъпи. Огни отражаются и на поверхности гладкаго, налощеннаго паркета. А на самой верхушкъ горитъ розовый глазокъ-фонарикъ и словно подмигиваетъ окружающему елку обществу.

XI.

Общество состояло исключительно изъ маленькихъ людей, большіе предоставили имъ полнѣйшую самостоятельность,—имъ некогда. Мамочка засѣла съ гостями за зеленый столъ и "винтитъ", папочка завелъ нескончаемый разговоръ съ отставнымъ усатымъ полковникомъ на тему о значеніи и великихъ заслугахъ русскаго дворянства передъ престоломъ и отечествомъ (оба собесѣдника—дворяне, имѣющіе заложенныя имѣнія). Бабушка сидитъ въ столовой за самоваромъ и съ ворчаніемъ подсыпаетъ въ чайникъ все новыя и новыя "заварки". Горничная сбилась съ погъ, едва успѣвая выполнять различныя приказанія.

Леля и ея братишка Володя прекрасно выдерживали роли радушныхъ и гостепріимныхъ хозяевъ. Завитой барашкомъ, въ изящномъ костюмчикъ моряка, Володя съ ловкостью гостинаго кавалера скользиль своими тоненькими ножками по паркету и занималъ дамъ разговорами. Леля тоже не уступала въ этомъ отношеніи брату: она старалась со всѣми подругами походить подъ руку и каждаго кавалера подарить своимъ вниманіемъ. Живая, востроглазая хохотунья, шалунья и проказница, Леля была "душою" общества. Она знала массу всевозможныхъ игръ и всюду являлась иниціаторомъ и организаторомъ. Громкій, звонкій голосокъ ея серебрянымъ колокольчикомъ звенвлъ безостановочно. Крики, возгласы и хохоть Лели покрывали общій гамъ непринужденнаго общества... Съ завитыми, ниспадавшими на плечи локонами, съ открытымъ задорнымъ личикомъ и бойкими синими глазенками, эта двънадцатилътняя красавица всецъло овладъла вниманіемъ и симнатіями не только кавалеровъ, но даже и всёхъ дамъ, которыя наперерывъ другъ передъ другомъ стремились поймать Лелю подъ руку, погулять съ ней вокругъ елки и написать ей въ подаренный Петровымъ альбомъ стихи на память. Альбомъ быстро заполнился автографами. Нина Блохина, другъ Лели, вписала ей на память:

> "Все на свътъ пустяки, И любовь игрушка, Всъ мужчины дураки, Моя Леля—душка"!...

Изъ мужского персонала больше всёхъ выдёлялся реалистъ Гриша, знакомый уже намъ соперникъ Петрова. Онъ былъ старшевсёхъ классомъ и только одинъ—реалистъ. Сознавая себя въ нёкоторомъ смыслѣ единственнымъ, реалистъ держался съ сознаніемъ собственнаго достоинства. Онъ критически относился къ играмъ, явно отдавая предпочтеніе танцамъ, раскланивался съ дамами, какъ настоящій кавалеръ: покорно склонялъ свою остриженную подъ гребенку голову и пристукивалъ по военному ножкой; къ мальчикамъ въ курточкахъ относился, какъ большой, серьезный песъ относится къ маленькимъ шавкамъ,—отчасти списходительно, отчасти покровительственно. На гимназистовъ смотрёлъ свысока.

Дирижерство въ танцахъ, бантъ распорядителя на груди и часы съ цъпочкой, бълыя перчатки и особенно свободное куреніе папиросъ невольно содъйствовали поднятію престижа реалиста въ глазахъ общества и особенно дамъ.

Исключеніе представляли только двое — Петровъ и Навлюкъ. Петровъ смотрълъ на реалиста пренебрежительно и самъ закурилъ, а Навлюкъ былъ роднымъ братомъ реалиста и потому не чувствовалъ къ нему ръшительно никакой почтительности: въ глазахъ Навлюка, хотя опъ и ходилъ въ курточкъ, реалистъ былъ самымъ обыкновеннымъ смертнымъ. Павлюкъ — человъкъ ръзкій, радикальный, мужественный; онъ никогда не плачетъ, не хнычетъ, не ябединчаетъ, а чуть что, сейчасъ запуститъ "дурака" или обратится къ содъйствію собственнаго кулака; авторитетовъ для него не существуетъ. Игрушекъ Павлюкъ терпътъ не можетъ, потому всъ куклы его сестеръ представляютъ всегда калъкъ и уродовъ: у одной нътъ носа, у другой ноги, третъя—безъ волосъ... Всъхъ, кто плачетъ, Павлюкъ называетъ "бабами"; однажды назвалъ бабой даже маму. Голосъ у Павлюка грубый, басистый и манеры угловатыя.

Итакъ, общество чувствовало себя превосходно, и все шло прекрасно. Павлюкъ вертълъ ручку герофона, остальные танцовали. Играли "въ почту", въ "гуси-лебеди домой" (Павлюкъ оборвалъ у Лели оборку); потомъ стали играть "въ фанты". Когда раскраснѣвшаяся Леля подошла къ серьезно и молчаливо сидѣвшему въ углу реалисту и скороговоркой произнесла:

Барыня прислала сто рублей, Что хотите, то купите, Черное съ бълымъ не берите, Что желаете купить?

реалистъ подпустилъ скептицизму:

— Глупая игра,—сказалъ онъ. — Ужъ лучше — "въ свои сосъ́ди"!

Леля обернулась къ обществу и неожиданно объявила:

— Эта игра надовла! Глупая! Давайте, господа, въ свои сосвди!

Общество поддержало. Гости разсѣлись по стульямъ. Петровъ, все время увивавшійся около Лели, конечно, поспѣшилъ воспользоваться моментомъ и сѣлъ рядомъ съ Лелей.

И здъсь-то крылась причина крупнаго столкновенія на вечеръ, о которомъ вы узнаете изъ слъдующей главы.

XII.

Послѣ того, какъ Леля заявила, что опа недовольна своимъ сосѣдомъ Петровымъ, и тому пришлось убраться на другой стулъ къ несимпатичной совсѣмъ дамѣ, — Петровъ сдѣлался вдругъ злымъ. "И не больно нужно", шопотомъ пробурчалъ онъ, идя на другое мѣсто, котя ему страшно хотѣлось имѣть своей сосѣдкой Лелю... Впрочемъ, кому этого не хотѣлось! Реалистъ тоже объ этомъ старался... Павловъ—тоже. Даже грубый Павлюкъ норовилъ быть поближе къ Лелѣ!

Съ этого момента Петровъ пересталъ быть любезпымъ кавалеромъ, неделикатно огрызался на дамъ и, сидя въ глубокомъ молчаніи, исподлобья поглядывалъ въ сторону отвергнувшей его дамы... Петровъ замътилъ, что когда на его мъсто, по требованію Лели, сълъ реалистъ, опа стала говорить: "Довольна! очень!.." а реалистъ, перебивая ее, восклицалъ: "и я — тоже!" Петровъ два раза пытался разъединить ихъ: онъ сердито кричалъ:

— Всъми недоволенъ!

Но толку не выходило никакого. Когда крики и визги стихали, а общій переполохъ и сумятица прекращались, Петровъ видѣлъ, что реалистъ только помѣнялся съ Лелей стульями...

"Измѣнинца!.." думалъ Петровъ. До сихъ поръ Леля всюду, гдѣ имъ приходилось бывать вмѣстѣ, всегда отдавала явное предпочтеніе передъ другими Петрову, напримѣръ, дамы "приглашали" кавалеровъ. Леля стремглавъ бѣжала прежде всего къ нему; когда играли "въ рекруты", Петровъ шелъ прямо къ Лелѣ и всегда угадывалъ свою избирательницу...

II вотъ, сегодня, вдругъ-"недовольна!"

Въ душѣ Пегрова вспыхнула страшиая злоба на реалиста.

Съли играть въ "на кого принцъ похожъ?" Спрашивать пришлось Лель, а принцемъ быть реалисту.—

- На кого?—шопотомъ спросила она, подставляя свое ушко Петрову.
- На безхвостаго осла...—не задумываясь, отвътилъ Петровъ (онъ давно уже придумалъ для реалиста это обидное сравненіе).

Леля сконфузилась и покраснъла: ей казалось совершенно невозможнымъ сказать такое "названіе" вслухъ и при томъ въ лицо распорядителю танцевъ...

- Нътъ, другое что-нибудь придумайте!.. Скоръе!..— попросила Леля.
- Нечего мнѣ придумывать... Сказалъ,—на безхвостаго осла!- -настойчиво и дерзко отвѣтилъ Петровъ.
 - Ну, смотрите! Я скажу, только...
- На безхвостаго осла!—еще разъ и съ еще большей твердостью повторилъ Петровъ.

Леля, пригибая къ ладони пальчики, шопотомъ стала припоминать всѣ названія, которыя надавали реалисту, но названія Петрова не проговорила, а только произнесла "м-м" и прижала мизинчикъ. Потомъ она еще разъ обошла всѣхъ играющихъ и съ каждымъ пошепталась, только къ Петрову не подошла, а прошла мимо...

— На безхвостаго осла!—тихо напомнилъ ей еще разъ Петровъ, подбъжавъ сзади; Леля не обратила вниманія.

Реалистъ волновался: онъ словно предчувствовалъ что-то недоброе и сидълъ на стулъ, подъ елкой, какъ преступникъ, ожидающій судебнаго приговора, съ низко опущенной головой и съ устремленными въ полъ взорами.

Подошла Леля и начала:

— На розу!.. На... офицерика!.. На... на... рыцаря!.. На... кого еще? ахъ, да... На самоваръ! (это сказалъ Павлюкъ)... На кикимору! (реалистъ обидно ухмыльнулся)... На милаго молодого человъка!.. На...

Туть Леля замялась...

— На осла!--рѣшительно проговорила она вдругъ, набравшись храбрости.

— На безхвостаго! — во все горло присовокупилъ Петровъ, внимательно слъдившій за тъмъ, чтобы его обидное названіе было передано въ точности...

Реалисть покраснъль до ушей и окончательно смутился. Все общество закричало, завизжало, захохотало и захлопало въ ладоши. Особенно доволенъ былъ Навлюкъ.

- Ура!.. Ура!.. На безхвостаго осла!—кричалъ онъ басомъ, хлопалъ въ ладоши и судорожно болталъ ногами.—Ура!
- Совствить ничего не смешно, а даже очень глупо,—проговориль, наконець, дрожащимъ голосомъ глубоко оскорбленный реалистъ:—ословъ безхвостыхъ на свете не бываетъ. Вотъ и видно, что естественную исторію не знаетъ. Невежество!..
- Мало ли что! закричаль, вскочивь со стула, Павлюкь: кикиморь вѣдь тоже не бываеть?.. Ослу можно хвость отрубить... У нашего бульдога нѣть же хвоста! А раньше быль: его отрубили... Нечего, безхвостый осель! Ура!..
- Я воть ужо скажу отцу, онъ тебъ задасть,—пригрозиль реалисть брату.
 - А ты—ябеда! дуракъ!..—отвътилъ Павлюкъ.

Наступило глубокое, неловкое молчаніе.

- Выбирайте!--тихо, какъ-то виновато сказала Леля.
- На рыцаря, -- выбралъ реалистъ.
- Это я сказала! радостно воскликнула Леля и прогнала прочь вспотъвшаго отъ волненія и обиды реалиста.
 - А я не играю...—объявилъ неожиданно Петровъ.
- -- Нельзя! Ты еще не былъ принцемъ... запротестовалъ Кукушкинъ.
 - Онъ труситъ... Ба-ба! Ба-ба!—закричалъ Павлюкъ.
 - Трусъ, —презрительно зам'тилъ реалистъ.
 - Трусъ! Трусъ! повторила, хлопая въладоши, Леля.
- А ты, безхвостый осель, не лѣзь! Съ тобой пе разговаривають,—злобно крикулъ Петровъ.

-- Молокососъ!--отвътилъ реалистъ, закуривая папиросу...

И туть съ Петровымъ случилось что-то странное... Онъ вдругъ заплакалъ самымъ отчаяннымъ образомъ и пошелъ вонъ изъ залы.

- Ба-ба! Ба-ба! Ре-веть! кричалъ вдогонку Петрову Павлюкъ.
- Что туть у васъ вышло? Изъ-за чего поссорились? недовольно спросила мадамъ Троицкая, появляясь среди смущеннаго общества.
- Петровъ Гришу безхвостымъ осломъ обругалъ и самъ же реветъ, выступая впередъ, объяснилъ Павлюкъ.
- Гриша!—обратилась хозяйка къ реалисту, не разобравъ въ чемъ дѣло, что же это такое? Вы вѣдь постарше... Стыдно!..
- Я... его не тро...галъ... Онъ самъ же полъзъ, а я ви...но..ватъ!..

И реалисть, возмущенный и обиженный несправедливостью, расплакался вдругь, позабывши всякую солидность.

Ревъ раздался теперь въ двухъ различныхъ комнатахъ, и хозяйка ръшительно не могла понять, кто тутъ правъ и кто виновать...

- Надежда Васильевна! Ваша сдача!—сказалъ появившійся въ дверяхъ господинъ въ пенснэ и быстро исчезъ, словно провалился.
- Ахъ, Господи, какое наказаніе! Поиграть не дадуть... Извольте сію же минуту прекратить ссоры и слезы, иначе я велю погасить елку!—раздраженно проговорила мадамъ Троицкая и торопливо отправилась "сдавать"...

ХШ.

По воскресеньямъ Леля обыкновенно приходила съ папой и мамой на катокъ.

Разумъется, Петровъ тоже ходилъ туда. За три пятерки подъ рядъ изъ ариеметики мама купила Петрову американскіе коньки, и онъ не пропускалъ ни одного праздничнаго дня. Кое-какъ пообъдавъ, не отвъдавши часто даже второго блюда, Петровъ хваталъ коньки и направлялся на катокъ... Ноги его ръшительно не слушались, -- бъжали скоръй, чъмъ заставляль ихъ Петровъ; его сердце ёкало, щеки горѣли... Хотя катокъ находился и близко отъ дома, гдъ жилъ Петровъ, но ему казалось, что путь безконечно дологъ... Петровъ тогда только могъ перевести духъ, вздохнуть свободно, когда вступаль на лъстницу, которая вела въ теплушку катка. Наскоро пристроивъ коньки, онъ выходилъ на ледъ, дълалъ нъсколько оборотовъ на мъстъ, поправляль фуражку, справлялся рукой, чисто ли у него подъ носомъ, и начиналъ вглядываться въ окружающихъ... Глаза Петрова искали енотовый воротникъ и шапку съ зеленымъ околышемъ; по этимъ признакамъ онъ узнавалъ Лелинаго папу. А ужъ если енотовый воротникъ и при немъ шапка съ зеленымъ околышемъ отыскивались, - значить, Леля тоже здѣсь... А это только и требуется...

Отыскавъ взоромъ Лелю, Петровъзакладывалъ руки въ карманы пальто и, какъ будто ни въ чемъ не бывало, катился солидно, гигантскими шагами къ Лелѣ... Передъ самымъ ея носомъ онъ дълалъ крутой поворотъ, и Леля его замѣчала:

- Петровъ! Давайте вмъстъ!
- Ахъ, Алевтина Николаевна!..

Петровъ лѣнивымъ движеніемъ ноги подворачивалъ къ Алевтинѣ Николаевнѣ, они брались за руки и катились быстро, такъ, что замиралъ духъ...

Павловъ тоже ходилъ на катокъ, но катался онъ очень плохо: низко наклонялся всёмъ корпусомъ внизъ, махалъ руками и то и дёло брякался. Полы его пальто, сшитаго съ большимъ запасомъ на ростъ, возились по

льду и всегда были въ снѣгу, какъ и фуражка... По правдѣ говоря, Петрову было совѣстно кататься вмѣстѣ съ Павловымъ, и онъ сторонился его на каткѣ...

Что касается реалиста, то онъ вовсе не умѣлъ кататься на конькахъ и приходилъ только смотрѣть и гулять по льду вмѣстѣ съ Лелей... Леля катится, а реалистъ идетъ рядомъ и разговариваетъ. Петрова это обстоятельство возмущало: на льду нечего гулять, а надо кататься; гуляющіе только мѣшаютъ...

Если Петровъ падалъ, онъ обвинялъ именно гуляющихъ и всегда очень досадовалъ... Хорошо, если Леля не видала, а если она видъла, какъ некрасиво онъ упалъ, дрыгнувъ въ воздухѣ ногами?..

Происшедшая на елкъ размолвка надолго нарушила эти пріятныя свиданія на каткъ. Петрову было совъстно передъ Лелей, которая, какъ онъ слышалъ отъ Павлова, называеть его "плаксой". Вмъстъ съ чувствомъ горячаго стыда на душъ Петрова накипала какая-то горечь обиды, оскорбленія, и его терзали ужасныя муки ревности... "Яичница съ лукомъ!" — называлъ онъ мысленно счастливаго соперника и создавалъ десятки плановъ ужасной мести. "Я ему всю морду сворочу", хвастался онъ передъ Павловымъ; но, въ сущности, Петровъ сознаваль, что этого сдълать не можеть, такъ какъ реалисть сильнье его... "Нашла себъ безхвостаго осла, ну, и ладно! Пусть! Имъ въ университетъ нельзя... У него и такъ все колы да двойки... Выгонять изъ реалки и отдадуть въ сапожники... И Лелька будеть "сапожницей", злорадствоваль Петровъ, но увы!-въ его воображеніи вставала эта сапожница, съ золотистой косой и съ синими, какъ незабудки, глазами, въ его ушахъ звучалъ ея мелодичный голосокъ, и сердце Петрова замирало отъ сладкаго чувства благоговънія передъ той сапожницей, а руки тянулись къ коробочкъ и открывали ее: тамъ лежалъ завътный бантикъ... Воспоминанія лучшихъ дней моментально воскресали передъ Петровымъ, и онъ впадалъ въ какое-то отчаяніе... "Возьму у папы револьверъ и застрѣлюсь... вотъ и будетъ тогда знать", шепталъ онъ.

И воображение рисовало Петрову такую картину:

Онъ застрълился... Прямо-въ сердце... Папа съ мамой плачуть и говорять: "Ахъ, бъдный Петя, зачъмъ ты это сдълаль?". Петровъ оставить записку, и они узнають, зачёмь... "Прощайте, папа и мама! передайте Алевтинъ Николаевнъ, что я не желаю мъшать ея счастью", —такъ будетъ написано въ запискъ... Леля узнала... Она испугалась, не въритъ... Но какъ же не върить, когда у ихъ дома выставлена крышка гроба?.. Леля идеть мимо и тревожно спрашиваеть, кто здъсь умеръ?.. "Гимназистъ Петровъ застрѣлился", -говоритъ дворникъ... "Неужели?" -- "Да, вчера выстрѣлилъ прямо въ сердце..." Да, все кончено!.. не воротишь! Петрова хоронять... Онъ лежить въ бъломъ парчевомъ гробу, въ цвѣтахъ, въ церкви у Николы... Рыжій дьячекъ читаетъ... толстыя свъчи въ высокихъ подсвъчникахъ пылаютъ огнями у гроба... Леля входитъ тихо въ церковь и, подходя къ гробу, опускается на колъни... "Петя, милый, голубчикъ... Я виновата предъ тобою". Леля рыдаеть и горько раскаивается, что измѣнила Петрову... Какъ бы рада была она, если бы Петровъ ожилъ!.. Но этого не можетъ быть... Вотъ уже поютъ: "со святыми упокой"... Скоро будуть прощаться...

Такъ фантазируетъ Петровъ, лежа въ постели въ сумеркахъ зимняго вечера, и ему такъ жалко дълается себя, что на глазахъ его показываются слезы.

Однажды, въ скучный зимній день, Петровъ сидъль одинъ у окна въ гостиной и предавался грустнымъ думамъ о своей преждевременной смерти... Когда онъ развилъ тему о своей смерти до момента появленія въ мъстномъ "Листкъ" описанія его похоронъ, въ окно кто-то постучалъ. То былъ Кукушкинъ. Онъ близко подошелъ къ окну и прижался носомъ къ стеклу...

Сперва Петровъ испугался, такъ какъ расплюснутый носъ и губы Кукушкина совершенно обезобразили его физіономію, но потомъ, когда Кукушкинъ отдернулъ свое лицо отъ стекла и улыбнулся во весь ротъ. Петровъ узналъ его и вздрогнулъ отъ предчувствія какойто радости...

Петровъ усиленно замахалъ руками, прося жестами Кукушкина зайти. Кукушкинъ зашелъ,

- Ты что къ намъ не ходишь? спросилъ Кукушкинъ.
 - Такъ... Читаю теперь все.
 - Тебъ Лелька кланяется...

Петровъ вспыхнулъ. Чувство радости смѣнялось въ немъ чувствомъ недовѣрія, и потому онъ сказалъ:

- Враки!..
- Она вчера у насъ сидъла и думала, что ты придешь, ждала. Играли въ короли. Приходи въ воскресенье на катокъ; Лелька тебъ велъла приходить... Непремънно!.. Мы разссорились съ реалистомъ...
- Враки! повторилъ Петровъ, не въря своимъ ушамъ.
 - Ей-Богу!.. Клянусь Богомъ! поклялся Кукушкинъ.
 - Изъ-за чего?
 - Лельку кокеткой обругалъ...
- Болванъ! замътилъ Петровъ. Его выгонятъ скоро изъ реалки-то; у него все колы да двойки...
- A на елкъ-то, помнишь, хвалился, что пятый ученикъ?
 - Иятый съ конца, злорадно сострилъ Истровъ.

Петровъ живо вспомнилъ елку и вспомнилъ, что онъ постыдно ревълъ тамъ... Но воспоминаніе же подняло и духъ его: "И онъ въдь ревълъ... Ужъ если плаксы, такъ оба",—утъшилъ себя Петровъ.

— Смотри, приходи въ воскресенье на катокъ-то! Лелька велъла... Она тебъ скажеть тамъ что-то очень важное...

— Не врешь?

--- Ей - Богу!.. Клянусь Богомъ! Такъ и сказала: "Пусть непремънно придетъ,—я ему скажу очень, очень важное".

Кукушкинъ ушелъ, оставивъ Петрова въ мучительномъ и вмъстъ съ тъмъ радостномъ настроеніи...

XIV.

Настало воскресенье,—день, назначенный Лелей для свиданія...

Петровъ цѣлый день наканунѣ думалъ, что бы такое могло быть это "очень, очень важное", и потому не успѣлъ выучить къ понедѣльнику ни одного урока... Хотя онъ и смотрѣлъ цѣлый часъ въ латинскую "Книгу упражненій" да два часа въ греческую грамматику, но ровно ничего не видѣлъ и не понималъ... Въ его рукахъ, которыя онъ пряталъ подъ столомъ, была коробка съ голубымъ бантикомъ, и Петя то и дѣло отрывался отъ книги, чтобы смотрѣть и цѣловать его... "Очень, очень важное",—мысленно повторилъ онъ, въ то время, какъ губы его говорили: "Леонидъ и 300 спартанцевъ погибли при Өермопилахъ"...

Петровъ плохо спалъ ночью. Онъ долго ворочался въ постели и вздыхалъ. Подушка казалась ему невыносимо горячей, и онъ поминутно переворачиваль ее съ одной стороны на другую... Петровъ сердился на старую няньку: она очень громко и страшно храпъла, безпрестанно кряхтъла, что-то шептала, кашляла и мъшала Петрову спать... Только когда большіе стънные часы въ столовой пробили "два", Петровъ закрытъ глаза и въ полномъ изнеможеніи заснулъ, наконецъ, какъ убитый...

Какъ долго тянулось сегодня время до объда! Петрову казалось, что часы совсъмъ перестали двигать

стрълками, а что они отстаютъ, — въ этомъ онъ былъ глубоко убъжденъ... Петровъ взобрался на стулъ съ намъреніемъ помочь часамъ двигать стрълками, но вошла мать и запретила:

- Это еще что за новости? удивленно спросила мать...
 - Отстаютъ, мамочка!.. На полчаса отстаютъ...
- Не ври, пожалуйста! Часы идуть върно...—отвътила мать, посмотръвъ на свои золотые часики.
 - Опоздаю вотъ завтра въ гимназію...
 - Оставьте, пожалуйста! Слъзьте!..

Наконецъ-то горничная загремѣла тарелками,—стала накрывать на столъ.

— Поворачивайся, поскоръй!.. Я ъсть до смерти хочу,—торопилъ Петровъ горничную...

Сегодня Петровъ пренебрегъ даже своимъ любимымъ клюквеннымъ киселемъ. И все это изъ-за Лели, изъ-за "очень, очень важнаго", что пообъщала она сказать ему на каткъ...

Выскочивъ изъ-за стола раньше всѣхъ и не прожевавъ даже взятаго въ ротъ куска мяса, Петя на лету чмокнулъ маму, папу и намъревался было уже отправиться на катокъ, но отецъ остановилъ его:

— Развѣ ты не знаешь, что послѣ обѣда слѣдуеть перекрестить лобъ?..

Петя машинально перекрестиль лобь и намфревался бъжать за коньками, но отецъ опять остановиль его:

— А уроки готовы?

Петя нъсколько замялся, но, оправившись, бойко, хотя и глядя въ сторону, отвътилъ:

— Да учить-то нечего... Изъ латинскаго—старое, изъ русскаго—не задано, а изъ ариеметики—я давно это знаю...

Но отецъ, бывшій съ самаго утра почему-то не въ духѣ, потребовалъ у Пети журналъ. Петя съ огорченіемъ вытащилъ его изъ ранца и принесъ отцу.

- Переводъ написалъ? Покажи!—хмуро спросилъ отецъ, посмотръвши въ Петинъ журналъ.
- Переводъ?.. успъю... вечеромъ...--смущенно отвътилъ Петя.
- Гм... А задача № 1784 сдѣлана? Объясненіе написано? Покажи!
 - -- Нътъ, папочка... Я успъю...
- Изволь състь за уроки. На катокъ не пойдешь, небрежно бросилъ отецъ, швырнувъ Петинъ журналъ, и уткнулся бородою въ тарелку съ клюквеннымъ киселемъ.

О, если бы отецъ зналъ, какое горе причиняетъ онъ своему Петъ!.. Онъ никогда, никогда не сказалъ бы этого...

Петя не просиль "пустить", онъ зналь, что когда отецъ скажетъ что-нибудь такимъ спокойнымъ тономъ, то никогда не измѣнитъ своего рѣшенія. Петя разсердился только на папу... Когда Петя выростетъ большой и сдѣлается мировымъ судьей, и когда у нихъ съ Лелей будутъ свои дѣти, онъ никогда не поступитъ съ ними такъ жестоко, какъ папа...

Петя ушель къ себѣ наверхъ, со злостью раскрылъ ранецъ и, вытаскивая изъ него книгу за книгой, сердито бросаль ихъ на кровать. Задача № 1784, какъ нарочно, не рѣшалась. Петя бранилъ ее "проклятою", ругалъ учителя ариометики, ёрзалъ на стулѣ, три раза ломалъ карандашъ, перемаралъ половину "общей тетради",—и все-таки не "рѣшилъ". Переводъ изъ латинскаго выдался, какъ на зло, тоже какой-то безтолковый. Всѣ "слова" вылетѣли изъ памяти, и приходилось ихъ отыскивать въ словарѣ и записывать. А перо топырилось и только царапало тетрадку...

— Господи! Да что это за мученіе такое!—со слезами на глазахъ вскрикивалъ время отъ времени Петя, привскакивая на стулъ.

А день погасалъ и меркъ. Часы пробили четыре,

полпятаго... Стало темнѣть. Няня принесла лампу съ зеленымъ абажуромъ. Изъ окна было видно, какъ въ противоположномъ домѣ мигнулъ огонекъ. А спустя еще нѣсколько минутъ зажгли и фонари на улицѣ.

Значить, сегодня нельзя уже идти на катокъ, поздно. Значить, сегодня Петя не увидить Лелю и не узнаеть такъ сильно мучившее его "очень-очень важное"...

XV.

Что же, что теперь дѣлать? Еще одна послѣдняя надежда: идти къ Василію Кукушкину. Можеть быть, Леля у нихъ теперь...

Обстоятельства благопріятствовали: папа съ мамой поссорились изъ-за театра, и отецъ, хлопнувъ дверью кабинета и сердито откапілянувшись, прошелъ въ переднюю, одълся и куда-то ушелъ.

Петя побъжалъ къ матери.

- Мама, мив надо къ Василію Кукушкину; я не записаль, что задано изъ русскаго...
- Ахъ, Петя, какой ты разсѣянный! пѣвуче протянула мать. Ты вѣчно что-нибудь не запишешь, не отмѣтишь...
- Что же, мамочка?.. довольно неопредъленно сказаль Петя въ свое оправданіе.
 - Ну, хорошо, иди! Только не надолго...

Петя подскочилъ на мъстъ, перевернулся на каблукъ, и не прошло десяти минутъ, какъ онъ уже звонилъ у парадныхъ дверей, гдъ желтъла мъдная дощечка съ надписью: "Николай Николаевичъ Кукушкинъ".

Когда Петя вошелъ въ переднюю, онъ сразу догадался, что Лели нътъ: когда она бываетъ у Кукушкиныхъ, на всъ комнаты звенитъ ея серебристый голосокъ... А теперь — тихо-тихо. Слышно только, какъ со звономъ тикаютъ стънные часы, да гдъ-то вдали сердитый, хриплый басъ кричитъ: "Болванъ!.. Оболтусъ!.. На третій годъ, что ли, хочешь остаться?" (Это отецъ ругаеть Василія Кукушкина).

- Кто тамъ?—грозно окрикнулъ вдругъ басъ, переставши браниться.
- Это—я...—пискнулъ Петя и, робко войдя въ залъ, спросилъ:
 - А гдъ Вася?
- Въ углу стоитъ!—сердито буркнулъ басъ, и въ дверяхъ показалась тучная фигура Николая Николаевича, въ туфляхъ и въ халатъ. Петя еще болъе смутился: чрезъ раскрытую половину двери онъ увидълъ, какъ изъ проулочка между письменнымъ столомъ и стъною торчатъ толстыя ноги Василія Кукушкина...
 - А вамъ что угодно, молодой человъкъ?
 - Я такъ...—пискнулъ Петя.
- "Такъ"... "такъ"... учиться слъдуеть, почаще въ книгу заглядывать, а не баклуши бить, молодой человъкъ,—воть что!..
 - Я не быю...

Петя стоялъ передъ сердитымъ господиномъ и смотрълъ на кисти низко спустившагося на его животъ пояса.

- Гм!—кашлянулъ Николай Николаевичъ, потомъ зашлепалъ туфлями, подошелъ къ тазику съ нескомъ и плюнулъ.
- П-шелъ! крикнулъ онъ вдругъ на всѣ комнаты. Василій Кукушкинъ, красный, потный съ взъерошенною головою, вынырнулъ изъ проудка и, подойдя къ окну, сталъ молча и задумчиво водить по стеклу пальцемъ. Петя подошелъ къ товарищу. "Пойдемъ въ дътскую", тихо шепнулъ тотъ, не отрывая глазъ и пальца отъ стекла.

Лишь только они очутились въ столовой, Василій преобразился: онъ какъ-то прыснуль, скорчивъ отвратительную гримасу, дрыгнулъ ногой и понесся вверхъ по лъстницъ, сломя голову.

- -- Что не приходилъ на катокъ? Дуракъ!.. Сдѣлалъ задачу? Дашь содрать, голубчикъ?
 - --- Папа не пустилъ меня на катокъ.
- Не пустилъ! Эхъ, ты! Лелька на тебя разсердилась... Она тебъ прислала письмо... На вотъ!..

Кукушкинъ подалъ Петрову записку.

Петровъ торопливо поймалъ бумажку и быстро запряталъ ее въ карманъ.

Проболтавшись минуть десять у Кукушкиныхъ, Петровъ распрощался и ушелъ домой.

Тамъ, у себя наверху, онъ трясущимися отъ волненія руками вытащилъ изъ кармана записочку, поднесъ ее къ лампъ и прочиталъ:

"Вы меня обманули и не пришли сегодня на катокъ. Я этого никакъ отъ васъ не ожидала, поэтому между нами все кончено, и вы отдайте назадъ мой бантикъ отъ платья. Алевтина Троицкая".

Петровъ перечиталъ письмо еще разъ.

На рѣсницахъ его блеснули двѣ слезинки и, скатившись, стукнули о корочку латинской грамматики. Его сердце сжалось отъ боли. Откуда-то со дна души поползло вверхъ что-то тяжелое, непріятное, гнетущее и клещами сдавило Петрову горло.

Голова Петрова упала на латинскую грамматику.

— Леля! милая! Ангелъ мой! Святая моя!.. — тихо щептали его губы. — Если бы ты только знала, почему я не пришелъ! Если бы ты знала! Ахъ, папка, что ты налълалъ?..

Петровъ вскочилъ со стула, бросился на постель и, спрятавъ лицо въ подушку, горько-горько разрыдался...

"БРОДЯЧІЙ МАЛЬЧИКЪ".

Такъ мало прожито, такъ много пережито!.. $Hadeon_5$.

I.

Февраль быль на исходѣ. Привѣтливѣе и веселѣе смотрѣло уже солнышко, сильнѣе грѣло и ярче свѣтило, напоминая, что не за горами и желанная гостьявесна... Однако красные деньки были еще пріятною новостью. Внезапно эти вѣстники обновленія смѣнялись опять хмурыми, сѣрыми и холодными днями. Чудная синева небесъ неожиданно исчезала, смѣняясь мрачнымъ, грязно-сѣрымъ покровомъ тучъ; солнышко пряталось на цѣлый день, въ сухомъ морозномъ воздухѣ кружились хлопья снѣга, и холодный вѣтеръ побѣдно носился по улицамъ...

Стоялъ одинъ изъ такихъ именно дней. Обтаявшій было наканунѣ снѣгъ снова затвердѣлъ; панели покрылись ледяной корою; съ самаго утра небеса заволокло тучами, и подулъ рѣзкій пронизывающій вѣтеръ, злобно носившійся по улицамъ, яростно бросавшійся на прохожихъ. Обыватели, пощеголявшіе нѣсколько дней въ весеннихъ костюмахъ и повеселѣвшіе было подъ вліяніемъ оттепели и яркаго пригрѣвающаго сол-

нышка, снова спрятались въ шубы, подняли воротники, обвязались шарфами и башлыками, нахлобучили на лобъ шапки, и опять физіономіи ихъ приняли непривътливый, серьезно озабоченный и дѣловой видъ.

Несмотря на скверную погоду, на улицъ было людно. Особенное оживление было замътно на Покровской улицъ. Высокія каменныя зданія были здъсь сверху до низу завъшаны разнообразными по содержанію и внъшности вывъсками; позолота, гербы, разноцвътныя гигантскія буквы перемѣшивались съ печатными афишами о "дешевыхъ распродажахъ только на три дня" и о вновь полученныхъ транспортахъ товара... Надъ массивными дверями болтались золотые крендели необъятныхъ размъровъ, свиныя ноги, пенснэ, часы и другіе символы. А по бокамъ дверей красовались картины, изображающія подстригаемыхъ цырюльниками и выглядывающихъ непорочными агнцами субъектовъ, румяныхъ, полныхъ и статныхъ дамъ въ платьяхъ и шляпахъ, претендующихъ на моду. Тамъ и сямъ назойливо льзли въ глаза умъреннаго размъра дощечки съ лаконическими надписями: "нотаріусъ", "зубной врачъ". "докторъ, лъчение массажемъ и электричествомъ"...

Особенной суетливостью отличались мастеровые въ опоркахъ на босую ногу, стремительно бъжавшіе къ кабакамъ, да хозяйственныя барыни, дълавшія закупки. Однъ изъ этихъ барынь уже успъли выполнить задачу, т.-е. досыта наторговались и, выгадавъ какойнибудь пятакъ, съ кульками и свертками направлялись домой, другія — "блуждающимъ взоромъ" искали нужныя имъ двери и вывъски...

А вътеръ, словно на эло, носился взадъ и впередъ, то гонялся за гордыми рысаками, то сбрасывалъ съ крышъ мелкій, какъ порошокъ, и колючій снъгъ, кружиль имъ въ воздухъ, билъ въ лица прохожихъ, отворачивалъ имъ полы пальто и салоповъ, заигрывалъ съ дамскими боа, вертълся, кружился на мъстъ и вихремъ

летълъ къ небесамъ, словно ему тъсно дълалось въ узкомъ пространствъ Покровской улицы.

Около одного изъ богатыхъ магазиновъ случилось что-то неладное. Здёсь столнилась такая масса публики, что не было возможности пройти по панели. Толпа ежеминутно увеличивалась все новыми зъваками. Любители уличныхъ происшествій плотнымъ кольцомъ оцёпили кого-то или что-то, и заднимъ было ръшительно не видно, что происходить тамъ, въ центръ кольца. По обыкновенію, приходилось удовлетворять свою любознательность догадками и развивать послъднія съ помощью услужливой въ такихъ случаяхъ фантазіи. Одни говорили, что пойманъ воръ, ухитрившійся стащить три головы сахару, другіе — что найдено мертвое тъло, третьи — что здъсь образовался бездонный проваль, куда упаль какой-то мальчикь. Варіаціямь не было конца. Иные, потоптавшись на мъстъ, проходили дальше. Но большинство съ изумительнымъ терпѣніемъ ожидало, чѣмъ все это кончится и кого поведутъ въ участокъ...

И терпъливые дождались-таки и все узнали. Оказалось, что на панели, прижавшись къ холодной стънъ каменнаго дома, лежалъ оборвышъ-мальчикъ, лътъ восьми-девяти.

Мальчикъ былъ едва прикрытъ лохмотьями. Изодранная и до невозможности грязная рубашонка обнажала своими дырами тѣло; не по росту короткіе штаны, тоже худые и много разъ штопанные "на скорую руку", не покрывали до низу тонкихъ, какъ лутошки, ногъ ребенка, разношенныя "щиблеты" съ отстающими подошвами не скрывали красныхъ закорузлыхъ пальцевъ. Поверхъ подпоясанной веревочкой рубахи на мальчуганѣ былъ только одинъ жилетъ, видимо шитый когдато на плотнаго субъекта. Картузишка свалился съ головы наземь... Ребенокъ трясся всъмъ тъломъ и по временамъ судорожно вздрагивалъ, словно его кто-ни-

будь подбрасываль снизу... Дико, испуганно блуждали лихорадочно горящіе глаза ребенка. Онъ смотръль, какъ подстрѣленный и пойманный волченокъ, когда ему некуда убѣжать и негдѣ спрятаться отъ любопытныхъ глазъ счастливыхъ охотниковъ и отъ жадно пожирающихъ его взглядовъ "борзыхъ".. Онъ часто и тяжело дышалъ, по временамъ смыкая вѣки... Рядомъ, въ безпомощномъ раздумьи, стоялъ одѣтый въ лохмотья слѣпой старикъ. Голова его тряслась, оловянно-мутные глаза смотрѣли тупо и безсмысленно. Казалось, онъ никакъ не могъ понять, что происходитъ около него. Тонкою суковатою палкой ощупывалъ онъ землю и стѣну дома, кашлялъ и шамкалъ беззубымъ ртомъ.

Ближайшіе участливо нагибались надъ мальчуганомь, пытаясь заговорить съ нимъ. Но тотъ упорно молчаль и только пугливо и жалобно смотрѣлъ на нихъ. Старикъ былъ глухъ, и отъ него тоже невозможно было добиться толку... Какой-то чисто и тепло одѣтый господинъ потыкалъ мальчика своей массивною галошей, что вызвало протестъ со стороны "съренькихъ"

- Чай,—не собака! Не кутенокъ!
- Тебя бы вотъ ткнуть хорошенько.

Баринъ бросилъ сердитый взглядъ въ сторону протестантовъ, крякнулъ и гордо сталъ проталкиваться изъ толны.

Кто-то попытался поднять ребенка. Но тотъ застоналъ и испуганно замахалъ руками.

- Потри ему уши снътомъ! посовътовалъ голосъ изъ толны.
- Что вы!.. дураки что ли?!— возразилъ другой голосъ.
 - Въ больницу надо отвезти, видите, кончается...
- Кабы время было, увезъ бы! сказалъ сердобольный мъщанинъ въ поддевкъ и посмотрълъ на окружающихъ.

Нѣкоторые приняли этотъ взглядъ за предложеніе, вызовъ, а потому, вздохнувши, отвернулись и стали протискиваться назадъ... Многіе жалѣли ребенка, но у всѣхъ оказывалось какое - нибудь неотложное дѣло, всѣмъ было некогда...

Случайно будочникъ усмотрълъ "безобразіе". Наученный долгимъ опытомъ, онъ былъ убъжденъ, что всюду, гдъ толпится народъ, непремънно происходитъ какой-нибудь скандалъ. Поэтому, находясь еще очень далеко отъ мъста происшествія, онъ моментально принялъ таинственный видъ и, приготовляясь къ водворенію порядка, сжалъ инстинктивно кулакъ правой руки.

— Что за безобразіе?..—закричаль онь, приближаясь къ толпѣ.—Что за народъ?! Прекратите, господа!!

Толпа зашевелилась. Тѣ изъ трусливыхъ, забитыхъ и ободранныхъ русскихъ гражданъ, на которыхъ мимоходомъ упалъ недовольный взглядъ начальства, спѣшили отойти подальше отъ грѣха; менѣе трусливые только разступились, давая дорогу власти.

- Что такое? грубо расталкивая публику, повторилъ будочникъ.
 - Мальчикъ кончается...

Начались разспросы, но они не повели ровно ни къ чему. Тщетно будочникъ добивался узнать отъ старика и мальчика, кто они такіе, откуда, чъмъ занимаются и гдъ имъютъ мъстожительство,—оба упорно молчали.

— Въ участокъ надо, — замѣтилъ городовой.

Кто-то попытался убъдить его, что мальчика надо везти не въ участокъ, а въ больницу.

- У васъ всѣхъ— въ участокъ... Человѣкъ умираеть, а они...
- А вы, господинъ, не суйтесь, если порядку не знаете? Рази можно прямо въ больницу? Кто онъ такой? Чѣмъ занимается? А тамъ все разберутъ...

Будочникъ посадилъ старика на извозчичьи санки,

положиль мальчика поперекъ санокъ, въ ноги. Потомъ самъ важно возсѣлъ рядомъ со старикомъ, обнялъ его лъвой рукою за талію и повелительно крикнулъ:

- Во вторую часть!.. Слышаль?..
- Слышу...-отвътиль "ванька" и подхлеснуль свою заморенную клячу...

Публика начала тихо расползаться въ разныя стороны. Тамъ и сямъ по окнамъ уже загорълись вечерніе огни.

II.

Была глухая полночь. Пустынные корридоры больницы "Приказа общественнаго призрѣнія" слабо освѣщались полуопущенными огнями лампъ и казались безконечно длинными и узкими... По обѣ стороны корридоровъ бѣлесоватыми квадратами обозначались двери больничныхъ палатъ.

Внизу, въ пріемной комнать, происходила одна изъ обычныхъ сценъ: полицейскій привезъ на извозчикь больного и сдаль его дежурному фельдшеру.

На небольшой клеенчатой койкъ лежалъ мальчикъ въ лохмотьяхъ. Онъ былъ въ безпамятствъ: его глаза безсмысленно смотръли изъ-подъ полуопущенныхъ ръсницъ; ручонки безпомощно покоились на груди. Частое дыханіе и крупныя капли пота на лбу свидътельствовали о томъ, что бъдняжкъ очень жарко, несмотря на то, что онъ еле прикрытъ своимъ грязнымъ рубищемъ... По временамъ губы ребенка безсвязно шептали что-то, и онъ пытался приподняться. Но стоявшая около койки сестра милосердія и служитель сдерживали его порывы.

За столомъ сидълъ дежурный фельдшеръ, заспанный и растрепанный; недовольный тъмъ, что его разбудили, онъ лъниво писалъ что-то въ большой раскрытой книгъ.

— Лъзете ночью... Словно нельзя было до утра по-

дождать...—бормоталъ онъ между дѣломъ и сердито макалъ перомъ въ чернильницу.

Будочникъ и самъ былъ недоволенъ:

- Да въдь рази съ ними сговоришь... Пролежаль бы до утра, все равно... Такъ нътъ: вези сепчасъ... Взбалмошный онъ у насъ... Загорится что,—ничего не подълаешь,—вслухъ сътовалъ онъ на пристава.
- Всѣ вы черти сумасшедиие, буркнулъ сердито фельдшеръ.
- Умираетъ, говоритъ... Вези сепчасъ же... Ничего не сдълаешь...
- Не все равно! Умираетъ, такъ и у насъ умретъ... Какъ имя, фамилія и званіе?
 - Унтеръ-офицеръ Иванъ Петровъ Черновъ.
- Я тебя про мальчишку спрашиваю, а ты—"унтеръофицеръ!.."
- А я полагалъ, насчетъ меня... Мальчонка не знай, чей... Богъ его знаетъ?.. Бились-бились. На улицъ подняли.
- Ну такъ какъ же я его запишу? Крестьянинъ или мъщанинъ?
 - Не могу знать...

Мальчикъ слабо стоналъ... Прошло еще минутъ десять, и процедура пріема окончилась.

- Расписочки никакой не будеть? спросилъ неувъренно будочникъ.
- Какой еще расписочки? Въдь я въ разносной книгъ расписался, что пакетъ принятъ... Черти!..
- Нътъ... я все-таки полагалъ, что расписочку надо насчетъ того, какъ, значить, я сдалъ еще мальчонку...
 - Не мъшайте!!-прикрикнулъ фельдшеръ.
- Полагалъ все-таки... для порядку... уже шопотомъ сказаль будочникъ.
 - Больше ничего... Ступай!...

Будочникъ ушелъ. Фельдшеръ приблизился къ койкъ, потыкалъ пальцемъ больного въ щеку, подержалъ за руку и бросилъ ее. Ручонка безжизненно повисла съ койки.

- Точно изъ помойной ямы вылѣзъ... Переодѣть надо, да сперва въ ванну!—сказалъ онъ, отходя прочь.
 - Въ какую палату?
- Наверхъ, во вторую, заразную... Тифъ или скарлатина. Да температуру смърить надо...

Служитель взяль въ охапку мальчугана и понесь его въ ванну. А сестра милосердія пошла въ цейхгаузъ за больничной одеждою.

Съ больного смыли грязь, надъли на него чистое бълье и понесли въ палату заразныхъ, гдъ только что освободилась одна изъ коекъ.

Палата № 2 состояла изъ большой и высокой комнаты въ пять оконъ по одной стѣнѣ. Вдоль двухъ стѣнъ ея тянулись ряды симметрично разставленныхъ кроватей съ больными. Возвышавшеся надъ изголовьями шесты съ черными дощечками и "скорбными листами" придавали всей палатъ видъ какого-то кладбища: казалось, стоишь среди памятниковъ, гробницъ и крестовъ въ одной изъ бъдныхъ улицъ "города мертвыхъ"... Освъщалась палата слабо: высоко подъ потолкомъ висъла лампа, затянутая наглухо абажуромъ изъ цвътной матеріи. Абажуръ пропускалъ голубоватоматовый свътъ, мягкій, нъжный, какъ небесная синева, и палата утопала въ прозрачной голубоватой дымкъ...

Лампа слабо и медленно покачивалась,—и эта дымка дрожала и колыхалась, какъ легкій туманъ надъ озеромъ въ тихій літній вечеръ...

Въ огромныя окна палаты смотрѣла темпая ночь. Огоньки отдаленнаго города мигали тамъ, какъ звѣздочки, и не было видно, гдѣ горизонтъ темныхъ небесъ отдѣляется отъ поверхности земли... Тамъ открывалось безпредѣльное пространство мрака, въ которомъ плавали огоньки-звѣздочки...

Когда Митька очнулся и раскрыль глаза, онъ испу-

гался. Его сердце застукало сильно и часто, и крикъ ужаса замеръ на раскрытыхъ губахъ. Незнакомая странная обстановка и фантастическое освъщеніе палаты подсказали Митькъ о чемъ-то невъроятномъ, необъяснимомъ, сверхъестественномъ. Митька лежалъ на спинъ и смотрълъ впередъ... Потолокъ, стъны, окна,—все это, задернутое голубоватымъ туманомъ, сливалось въ одно безграничное море эвира, и Митька не могъ отличить, гдъ—верхъ, гдъ—низъ,—гдъ конецъ и гдъ — начало... Онъ только ръзко обособлялъ себя, свое "я" отъ всего окружающаго: онъ чувствовалъ, что есть только онъ и что-то другое, непонятное, неразръшимое...

Митька почувствоваль вдругь потребность себя потрогать, "попробовать"; коснулся головы, провель ручонкой по груди, въ которой колотилось напуганное сердечко. Потомъ онъ осмотрълъ ближайшую окрестность... Все странно и непонятно... Въ головахъ мягко и холодно. Голова на подушкъ, а вмъстъ съ головой лежить еще что-то сырое, холодное, хрустящее... Это "что-то" такъ пріятно холодить горячую голову, словно дуеть на нее вътеркомъ...

Зачѣмъ это "что-то" лежить и кто его положилъ сюда? Да и откуда взялась подушка? И рубаха бълая, чистая... У Митьки нѣтъ такой рубахи... Когда онъ надъль ее и кто ему ее даль?.. И лежать такъ удобно, мягко, покойно... Хорошо! Все лежаль бы такъ, всегда, всегда... И никогда не всталъ бы... Не хочется шевелить ногами и перевертываться... Какія длинныя ноги-то!.. тяпутся, тяпутся... А были маленькія... Но что же это тяжелое? давить и мѣшаетъ... Это одѣяломъ?.. Хорошо!.. И глухому дѣдушкѣ, вѣрно, тоже хорошо: и у него подушка и рубаха чистая, и одѣяло, и это холодное, что лежить на подушкѣ и дуетъ свъжимъ, прохладнымъ вѣтеркомъ... Но гдѣ же опъ, глухой дѣдушка?

Митька повернулъ личико на сторону и неподвижно вперилъ свои глазенки въ пространство.

Сине, сине, все сине... Въ глазахъ то темиъетъ, то свътлъетъ... Все кружится, все трясется, колышется. Облака... бъгутъ одно за другимъ... Что-то рябитъ въ глазахъ, что-то вырисовывается... Длинные шесты бъгутъ мимо быстро-быстро... А подъ шестами лежатъ... мертвецы... Лица у нихъ синія, руки тонкія... въ саванахъ бълыхъ... Нътъ, это не шесты... Это — кресты... Кресты и покойники... И рядомъ такой же покойникъ, синій, сухой... Онъ стонетъ, шевелится... Онъ хочетъ приподняться и схватить Митьку...

Отчаянный крикъ смертельнаго ужаса огласилъ спящую палату заразныхъ. Митька впалъ въ безсознательное состояніе...

III.

Скверно сложилась жизнь Митьки. Отца у него не было, а быль только "родитель"; его Митька никогда не видаль и не увидить, ибо кто быль этоть "родитель".— не могла даже съ точностью сказать и сама Авдотья, мать ребенка...

Солдатка Авдотья, мужъ которой пропаль безъ вѣсти гдѣ-то въ Ташкентѣ или Самаркандѣ, сплыла изъ деревни въ низовья на заработки и поступила на рыбный промыселъ одного изъ селедочно-вобельныхъ королей понизовья въ качествѣ "рѣзалки" 1). Баба она была видная, краснощекая и чернобровая, а "родителей" на промыслѣ было очень много. Управляющій, его недоучки-сынки, парни лѣтъ по двадцати, приказчики, баринъ—рыбный смотритель, рыбные стражники, "командеры" пароходовъ и крейсеровъ, наѣзжіе изъ города гости, — все это были очень веселые господа,

 $^{^{1})}$ P $_{6}$ 2 3 4 $^$

любившіе пожить въ свое удовольствіе. Не мудрено поэтому, что солдатка Авдотья не могла опредълить съ достовърностью, кто быль виновникомъ Митькинаго бытія...

Митька былъ "промысловый"...

"Промысловые ребята" — самые несчастные изъ несчастныхъ. Являясь на свътъ Божій незванно-непрошенно, они обыкновенно очень скоро и покидаютъ его, дълаясь жертвою скарлатины, дифтерита или какойнибудь другой эпидеміи, во множествъ похищающей ребятишекъ въ этой приморской мъстности...

Рѣдко "промысловый" остается на свѣтѣ мыкать горе... Митька былъ такимъ исключеніемъ,

Многіе "родители" зарились на чернобровую Авдотью, и одинь изъ нихъ, по окончаніи "путины", взялъ ее къ себъ, какъ бы въ кухарки... А Авдотья и разуважила... "Родитель" далъ ей четвертную и велълъ поскоръе уходить отъ гръха на всъ четыре стороны...

Стояла зима; уходить, кромѣ ближайшаго города, было некуда,—и Авдотья, собравъ свои пожитки, съѣхала съ попутчикомъ въ городъ. Здѣсь у нея родился "промысловый"...

Авдотья пошла въ кормилицы, а Митьку сдала на чужія руки за два цёлковыхъ въ мёсяцъ, на воспитаніе. Поступила она въ богатый "приличный домъ" и получала приличное жалованье. Но скоро и здёсь съ чернобровой Авдотьей случилось несчастье: барыня стала замѣчать, что Авдотья вводитъ въ искушеніе барина и прогнала ее вонъ, съ вычетомъ за разбитую посуду и за подаренный кокошникъ...

Скоро чернобровая баба окончательно сбилась съ пути. Бывало, въ "рѣзалкахъ" ни днемъ, ни ночью по-кою не знаешь; весь день сиди въ мужичьихъ штанахъ верхомъ на лавкъ, да рыбу потроши... Проворно скользить острый широкій ножъ по рыбъ, еще проворнъе лѣзетъ пятерия въ рыбу и выволакиваетъ оттуда "тре-

буху на уху", но работы не убавляется... По доскамъ, проложеннымъ отъ берега "прорана" вплоть до навѣса, подъ которымъ сидятъ "рѣзалки", безпрерывною вереницею катятся полныя рыбою тачки; подкатившись почти къ скамъѣ, онѣ опрокидываются на полъ, гдѣ серебрится уже цѣлая гора рыбы, и бѣгутъ обратно къ берегу, чтобы вернуться опять полными... "Путь" устланъ въ двѣ доски, и по одной катятся тачки къ навѣсу, а по другой — обратно.

А подростки подкладывають рыбу на лавки рѣзалкамъ... Рѣжешь, рѣжешь, —все не убавляется. Согнутая въ дугу спина уже застыла, такъ что трудно разогнуться; поясница болить и ноетъ; въ головѣ какой-то туманъ. Всѣ руки въ порѣзахъ, а рыбъя слизь да чешуя еще больше растравляютъ раны...

Пріостановится Авдотья, чтобы спинушку расправить да вздохнуть поглубже, а приказчикъ-назола тутъ какъ тутъ!..

- Эй!.. Что ротъ разинула?..
- Я, Василь Петровичъ, отдохнуть маленько... Спинушку разломило...
- Ночью отдохнешь... Барыня!.. Приходи ужо ко мнъ. Приказчикъ подмигнеть глазомъ, перекосить рыло, а кругомъ всъ заржать...

И досадно, и обидно, и стыдно Авдотьъ... Такъ бы, кажется, и огръла этого стрикулиста-приказчика... Да руки коротки, молчать приходится.

А назначать "солельщищей", — еще хуже того. Въ "выходахъ" — холодно, а въ ямахъ и еще холоднъе... Стоишь на днъ, а сверху рыбу кидаютъ... Каждую рыбину надо уложить къ мъсту, одна къ другой, чтобы "звъзда" выходила... Тысячу разъ нагнись да разогнись. Какъ одинъ порядокъ уложишь, — "засола" сыпанетъ солью, какъ градомъ. Подъ ногами соленый разсолъ; онъ черезъ поршни и чулки проходитъ; ноги чешутся, — такъ бы, кажется, всю кожу ободралъ... А

какъ штаны еще старые попадуть, съ распоротыми швами или заплатами, — совсѣмъ смерть! Силъ никакихъ нѣтъ; зудитъ, такъ зудитъ, что и жизни не рада!.. Сверху лицо и шею колетъ соль крупная, а снизу зудитъ. Спинушка совсѣмъ онѣмѣетъ, а пальцы коченѣютъ да болятъ... И такъ со "свѣту" до ночи: въ горячее время только чуть чуть пообѣдать дадутъ да спину расправить...

Работай какъ одеръ какой, а во всю "путину", съ вычетами да расходами, больше трешницы, — многомного интерки, — никогда не останется... Да еще потрафляй всѣмъ: и управляющему, и приказчику, и рыбному смотрителю, и всякому стрикулисту, если тебя Господь, "баской" уродилъ...

He мудрено къ такой работъ и всякую охоту потерять.

"Хуже не будеть", — думала Авдотья, промѣнявши рыбный промысель на другой:— "вся разница въ томъ, что тамъ ни днемъ ни ночью спокою не знаешь, силушку всю потеряешь и заработку грошъ получишь. а здѣсь слободно, легко, да и копеечка всегда есть... А что касается "грѣха", такъ тамъ вѣдь еще хуже: теперь хоть по своей волѣ, а тамъ..."

Скоро Авдотья хорошій дипломать себѣ купила. башмаки и зонтикъ, стала бѣлымъ шелковымъ платочкомъ накрываться...

Митьку своего она совсѣмъ забросила, котя деньги аккуратно каждый мѣсяцъ отдавала приходившей за ними старушонкѣ и даже сама вызвалась еще рубликъ накинуть. Конечно, теперь Митька совсѣмъ лишній, — только помѣха одна. Но однажды на Авдотью тоска напала. Она взяла извозчика и поѣхала Митьку повидать... Такой стихъ, видно, нашель: ревѣла, ревѣла... Взяла мальчонку къ себѣ на квартиру, только не надолго. Скоро тоска у нея прошла, Авдотья опять повеселѣла, и опять Митька ненадобенъ сталъ... Больно хло-

потъ съ нимъ много. Только двѣ недѣли безо дня и прожилъ тогда Митька у матери.

Отвезла его она опять къ той же старушонкъ, которая его раньше воспитывала...

- Что, матушка, нешто надовлъ онъ?
- Да ужъ такъ... Пущай у тебя живетъ.
- Знамо, такъ!.. Только онъ въдь ужъ большинькій... ему три годочка, четвертый... Маловато будто трешницу-то, барыня...

Авдоть в нольстила эта "барыня".

- Я тебѣ пять рублей буду платить... Чай, будеть?
- Будетъ, будетъ... Пять довольно, барыня... Очень довольно, голубушка...

Прошло со времени ухода Авдотьи съ промысловъ шесть лѣть, и она совсѣмъ "барыней" стала, превратилась въ Авдотью Никитичну... "Манерамъ" научилась, и "выговоръ" совсѣмъ другой сталъ у нея... У бывшей кухарки теперь была своя кухарка. Но несчастный случай перевернулъ вверхъ дномъ всю жизнь Авдотьи Никитичны: она захворала... На лицо ея болѣзнь клеймо свое положила, и все благополучіе Авдотьи Никитичны рухнуло, какъ карточный домикъ отъ неосторожнаго дуновенія.

Прошель еще годъ, и Авдотья Никитична совсѣмъ сгибла, стала бѣгать по маленькимъ кабачкамъ въ трущобахъ города, пить водку и курить "цигарки", начала ходить не въ дипломатѣ, а въ рваной кофтѣ на ватѣ, и не въ башмакахъ, а въ глубокихъ резиновыхъ галошахъ на босу ногу... Изъ Авдотьи Никитичны она превратилась въ Авдошку...

А туть, какъ на гръхъ, Митьку ей на руки всучили,—перестала деньги платить за него.

Старуха долго не могла отыскать Авдотью и "задаромъ" содержала "крапивника" почти полгода. Наконецъ, выслъдивши безпутную мать, старуха привела Митьку въ кабакъ и съ ругательствами передала матери.

— Пя-ть цалко-о-овыхъ! Да ты хоть бы двугривенный-то была способна уплатить!.. Воть тебѣ твое добро! Получи!

Съ этими словами "воспитательница" дала тычокъ Митькъ, и тотъ полетълъ прямо къ Авдошкинымъ колънямъ. Пьяная Авдотья злобно отшвырнула Митьку и визгливо стала отругиваться. Послъдовала отвратительная сцена ругани озлобленной и пьяной бабъ.

Митька стояль у стѣнки и волченкомъ смотрѣлъ на обѣихъ. Развѣ это мать его? Это—пьяная баба... Опа такая страшная, прибъетъ...

Митька забился въ самый уголъ. Клубы "махорки" висъли надъ потолкомъ... Кругомъ чужія пьяныя лица... полъ мокрый и ослизлый. Говоръ, гамъ, ругань и хохотъ.

- Паренекъ! Ты чей?—спрашиваетъ Митьку, садясь на корточки, какой-то широкорожій и бородатый мужикъ.
 - Мамки-и-инъ, гнуситъ Митька.
- Мой это! съ неестественнымъ хохотомъ кричитъ, поднимая голову, Авдотья и хриплымъ, противнымъ голосомъ затягиваетъ пѣсню:

Никто меня ни понима-етъ, И никому меня не жа-а-а-ль, Никто тоски моей ни знаи-и-и-тъ И не съ кимъ раздълить пича-а-аль...

А Митька прячетъ свое личико въ рукавъ рубашонки и начинаетъ тихо, подавленно плакать...

IV.

Поблизости отъ набережной Волги былъ расположенъ кварталъ, называемый "Косою". Эта часть города, состоявшая изъ скученныхъ грязныхъ деревянныхъ

строеній, изобиловала кабаками, портерными, вертепами, пріютами воровъ и всѣхъ "отбросовъ" общества... Узенькія улицы и таинственные проулки и закоулки этого квартала кишмя кишѣли "званными, но не избранными".

Въ этихъ трущобахъ и терлись Авдотья съ Митькой. Никакого опредъленнаго мъстожительства они, впрочемъ, не имъли, а шатались по всей "Косъ", гдъ въ различныхъ ночлежкахъ и проводили ночи...

Чаще Авдоть в съ Митькой случалось проживать въ "Теребиловкъ". "Теребиловка" — наиболъе популярный пріють отверженныхъ. Это большой двухъэтажный деревянный домъ, старый, покосившійся впередъ съ обросшею зеленымъ мхомъ крышею, съ подгнившими столбами воротъ и събитыми и отливавшими радугою стеклами въ окнахъ... Весь верхъ дома отдавался ночлежникамъ на ночь за 2 к., на недѣлю за гривенникъ, а по-мъсячно за три гривенника... Безпорядочно расположенныя на два этажа нары уподобляли это помъщеніе какому-то перевзжающему зввринцу... Здвсь на голыхъ доскахъ наръ и даже подъ нарами валялись пьяные, больные и голодные люди, вмъстъ - мужчины, женщины и дъти... Спертый душный воздухъ, нестерпимый смрадъ, пьяный гамъ, хохотъ, дътскій плачъ. ругань, драки и пъсни сливались здъсь въ какой-то хаотическій гуль и стихали только тогда, когда хозяинъ "Теребиловки" приходилъ изъ своего, помъщавшагося въ нижнемъ этажъ, кабака и тушилъ огонь сильно коптившей лампы. Дъти еще плакали, многіе продолжали еще перебраниваться изъ-за стънки теплой печи, многіе еще допивали водку, — но все же гуль разомъ спадалъ... Въ воцарившейся ночной мглъ слышались стоны, сопъніе, почесываніе, отрывочныя слова...

Неръдко среди полуночи въ "Теребиловкъ" молніей разносилось извъстіе, что "отверженныхъ" окружила полиція, и сейчасъ начнется осмотръ и обыскъ. Тогда

здѣсь начиналось какое-то "столпотвореніе вавилонское". Поднималась тревожная возня, одни прятали головы, какъ страусы, другіе судорожно лѣзли къ тайному ходу на подволоку. Дѣти начинали плакать, бабенки визжать... Такія "облавы" дѣлались разъ въ три мѣсяца и всегда кончались уловленіемъ какого-нибудь интереснаго "звѣря"...

Въ этомъ-то звъринцъ и приходилось большею частью ютиться Авдотьъ съ Митькой...

Подъ нарой, въ углу, спалъ Митька, а на нарѣ валялась Авдотья въ сосѣдствѣ съ какимъ-то пропоицей "изъ благородныхъ", который страшно пугалъ на первыхъ порахъ Митьку всякій разъ, когда, сурово сдвинувъ брови и поднявши къ небу указательный палецъ руки, трагически произносилъ:

- Sic transit gloria mundi

Этотъ страшный господинъ всегда говорилъ съ Митькой грубымъ и сердитымъ голосомъ, хотя бы даже пытался и пошутить съ мальчуганомъ.

— Митька!—ревѣлъ онъ своимъ сиплымъ съ перепоя басомъ,—печально я гляжу на ваше поколѣнье... Подбери, дуракъ, слюни-то!!..

И Митька боялся и начиналъ канючить, когда этотъ господинъ обращалъ на него вниманіе:

— Мамань-ка-а-а!—гнусаво пищалъ Митька:—чаво онъ не спи-и-тъ, смот-ри-и-итъ.

Авдотья приподнимала съ руки пьяную, заспанную и растрепанную голову, а баринъ начиналъ декламировать:

Безпокойная ласковость взгляда И поддъльная краска ланить, И убогая роскошь наряда,--Все не въ пользу твою говорить:

- Несчастная!! Засни и успокойся!!
- Отвяжись! Заткни глотку-то! злобно шипъла сонная Авдотья, и опять, какъ снопъ, брякалась на нару.

А Митька пугливо пряталь свою голову подъ грязный холщевый мѣшокъ, служившій ему днемь — для сбора подаяній, ночью—подушкой.

Недолго, впрочемъ, боялся этого сосъда Митька. Скоро онъ освоился и привыкъ къ окружающему его обществу, а къ "барину" этому сталъ даже лазить иногда на нару, и тотъ кормилъ его пряникомъ, воблой, сахаромъ... Нашлись и товарищи-сверстники, такъ что Митька скоро совсъмъ не нуждался въ матери и нисколько не смущался тъмъ обстоятельствомъ, что Авдотья по два, по три дня пропадала неизвъстно гдъ и по какимъ причинамъ. Митька привыкъ жить впроголодь и вполнъ довольствоваться кусочками, которые изъ жалости бросали ему теребиловскіе обитатели.

Скоро у Митьки и матери не стало... Однажды, осенью, когда Митька вернулся изъ своихъ путешествій по "Косъ" ночевать въ "Теребиловку" и спросилъ "барина", не приходила ли "маманька",—тотъ сообщилъ ему, что "маманька" не приходила, да и не придетъ никогда болъе, потому что она наълась спичекъ, померла и ее увезли "потрошить"...

— Самъ ты померъ... Самого тебя потрошить надо...—сказалъ Митька, посмотрѣвши съ недоумѣніемъ на "барина".

Но прошель день, другой, третій... "Маманька" не являлась. Митька бъгаль по Косъ и искаль мать, не въря сообщенному ему въ Теребиловкъ извъстію. Но мать не находилась, пропала...

— Увезли ее, дурень, въ черномъ ящикъ... Не найдешь теперь вовъки... померла, — увърялъ Митьку хозяинъ Теребиловки въ кабакъ, куда зашелъ Митька, чтобы еще разъ поглядъть, не здъсь ли сидитъ "маманька".

Пришлось повърить. Митька убъжалъ куда-то и возвратился въ Теребиловку только почевать.

— Дитя печали и несчастья! — привътствоваль Митьку "баринъ": — ложись на материно мъсто... На полу валяться возбраняетъ гигіена: кокки, микрококки, бациллы, запятыя и точки... Ложись, дуракъ!..

Митька помъстился на маменькиной наръ.

Долго онъ не могъ свыкнуться съ мыслью, что "маманька" больше не придетъ... Часто онъ лежалъ на нарѣ съ раскрытыми глазами и думалъ. И странно, Митька никакъ не могъ представить себѣ мать въ томъ періодѣ ея жизни, когда она жила вмѣстѣ съ нимъ въ Теребиловкѣ. Въ дѣтскомъ мозгу рѣзко запечатлѣлось воспоминаніе о томъ недолгомъ времени, когда онъ, трехлѣтній ребенокъ, временно гостилъ у тосковавшей Авдотьи Никитичны.

Особенно памятенъ Митькѣ одинъ моментъ, къ которому, въ сущности, и сводятся всѣ его воспоминанія о томъ времени...

Вечеръ. На дворѣ завываетъ злобный вѣтеръ. Слышно, какъ отовсюду съ шумомъ катятся грязные ручьи, жалобно поскрипываетъ что-то въ сѣняхъ, и сильно дуетъ съ полу... Мать о чемъ-то груститъ. Она стоитъ у стола въ раздумьи. Слабый свѣтъ догорающаго дня, пробиваясь полосою черезъ окно, падаетъ на ея лицо, и Митька видитъ на этомъ лицѣ пе то улыбку, не то что-то другое... Губы у нея какъ-то поджаты; глаза опущены въ землю... На "маманькѣ"—синее платье, а волосы связаны въ какой-то комъ, изъ котораго выбилась прядь на щеку...

И лежить, бывало, Митька на нарѣ, вперивъ въ темноту ночи свои глаза, и ему хочется плакать и воротить ту "маманьку"...

- Ты, баринъ, спишь?—тихо спроситъ Митька сосъда.
- А?.. Что?..—испуганно вскрикнеть баринъ и, приподнявшись на локтъ, станетъ протирать заспанные глаза...

- -- Кто спичками объълся, въ рай не попадетъ?..
- A?..
- Хозяннъ сказывалъ, что кто спичками обожрется, въ рай не попадетъ...
- Попадетъ, попадетъ... Всъ тамъ будемъ... Спи покуда, до раю...

Но Митькъ не спится... Онъ думаетъ о томъ, допустятъ ли его "маманьку" въ рай, и встрътится ли онъ съ ней на томъ свътъ...

Прошелъ мъсяцъ-другой... Митька не отставаль отъ Теребиловки и отъ той нары, гдъ спала его покойная "маманька". "Баринъ" куда-то скрылся, и на его мъстъ поселился совершенно слъпой и глухой старикъ-нищій. Старичокъ полюбилъ Митьку, разсказывалъ ему сказки и приголубливалъ сиротинку. Онъ взялъ Митьку къ себъ въ поводильщики, и они стали ходить съ нимъ по улицамъ, сбирать Христа-ради. По возвращеніи въ Теребиловку, дъдъ позволялъ Митькъ вынимать изъ мъшка набранное и все, что было послаще, брать себъ. По праздникамъ Митька ходилъ съ дъдушкой въ церковь и здъсь всегда молился за мамку.

— Упокой, Господи, рабу Божью, мою "маманьку"!...

Однажды они съ дъдушкой ходили за богатымъ покойничкомъ на кладбище, и Митька разыскивалъ маменькину могилу. Но найти ее онъ не могъ, и никто не могъ показать ему, гдъ лежитъ "раба Божія маманька".

Сильно затосковало тогда Митькино сердце. Онъ вепомнилъ, какъ ему разсказывали про смерть "маманьки": "сковыряла со спичекъ головки, размѣшала ихъ въ чаю, выпила и померла". Ничего надъ ней не пъли, никто съ ней не прощался, никто по ней не поплакалъ... Вырыли въ глинъ яму и зарыли въ нее бъдную "маманьку"...

За что такъ поступили съ его "маманькой", Митька не зналъ...

V

Весна была въ полномъ разгаръ...

На большомъ дворѣ больницы росли высокіе серебристые тополи и ветла, а прямо подъ окнами ползли густые кусты бѣлой акаціи и бузины... Все цвѣло, благоухало и радовалось...

Этоть дворь быль вмѣстѣ съ тѣмъ и садомъ. Усыпанныя желтымъ песочкомъ дорожки бѣжали змѣйками, извиваясь между густой зеленой травою, и прятались въ крытыхъ клумбахъ, гдѣ пока торчали лишь прямыя палки да вѣточки...

Изъ оконъ палаты заразныхъ № 2-й открывалась чудесная панорама: вдали, въ голубоватой дымкъ прозрачнаго весенняго воздуха, вырисовывались сверкавшіе на солнцѣ купола и кресты церквей отдаленнаго города. Черной длинною лентою тянулся по голубымъ небесамъ дымъ изъ высокой фабричной трубы... А внизу—садъ, съ цвѣтущей акаціей, съ желтыми дорожками, съ шелковой муравою, съ щебетавшими безъ умолку птичками...

Митька выздоравливаль и начиналь уже бродить въ длинномъ парусинномъ больничномъ халатъ отъ постели къ окну и обратно. Опъ могъ видъть, какъ хорошо теперь подъ небомъ, какъ ярко зеленъетъ листва деревъ и травка лужаекъ, какъ весело прыгаютъ по въткамъ акаціи чирикающіе воробушки.

Однако Митька быстро утомлялся и потомъ большую часть времени принужденъ быль проводить въ постели. Лежа, онъ часто ловилъ глазами солнечныхъ зайчиковъ, которые дрожали и прыгали по стънъ и потолку: эти зайчики всегда приводили Митьку въ какой-то восторгъ... Худыми ручонками онъ пытался дотронуться до нихъ, когда эти зайчики мимоходомъ скакали черезъ него на стъну. Но зайчики убъгали и Митька улыбался слабою улыбкою выздоравливающаго ребенка.

Жизнь торжествовала свою побѣду въ этомъ истощенномъ тѣльцѣ, и какая-то непонятная всеобъемлющая радость, какой-то сладкій трепеть охватывали Митьку, и онъ тихо начиналъ двигать подъ одѣяломъ ножонками... Такъ легко и пріятно! Митька смыкаетъ вѣки глазъ и отдается во власть чего-то сильнаго, великаго, непонятнаго... Нѣтъ никакой заботы, нѣтъ никакого дѣла ни до кого и ни до чего.

Одно сердило Митьку и часто портило его блаженное состояніе: аппетить его возрасталь съ ужасающей быстротою, а ѣсть давали очень-очень мало: по кружкѣ молока утромъ и вечеромъ—и больше ничего

- Дай хоть маленько хлѣбца!—жалобно просиль онъ сестру милосердія.
 - Нельзя. Вредно.
 - А я умру воть съ голоду...
 - Не умрешь.
 - Хоть бы когда огурчикъ соленый принесла!...
 - Нельзя. Вредно!..
 - -- Тебъ -- все вредно!..

VI.

Къ концу мая Митька совсѣмъ оправился, и его стали выпускать въ корридоръ на прогулку и сажать за "общій столъ", — гдѣ обѣдали и ужинали всѣ значительно поправившіеся больные.

За "общимъ столомъ" подавали тарелку супу и тарелку каши съ молокомъ, а по праздничнымъ днямъ, вмъсто каши,—даже и рубленыя котлеты съ изюмомъ.

За ужиномъ довдали остатки супа, разбавленнаго, въ интересахъ объема, кипяченой водою. Бълый хлъбъ въ ломтяхъ помъщался на блюдъ, и количество его на каждаго не опредълялось, а только сторожъ Иванъ, наблюдавшій за порядкомъ во время объда и ужина, регулировалъ это количество своимъ глазомъ:

— Эй, ты!.. съ краю! Четвертый ломоть убираешь! И больной, сидъвшій съ краю, конфузливо убираль протянутую руку, бормоча въ замъшательствъ:

— Неужто четвертый!.. Экъ меня!..

Митька уписываль за объщеки и, какъ ребенокъ, не встръчаль отпора ни со стороны дяди Ивана, ни со стороны взрослыхъ больныхъ; нъкоторые изъ послъднихъ даже дълились съ Митькой своимъ супомъ, подливая въ его опустъвшую тарелку, кто ложку, кто двъ.

-- Питайся, паренекъ! Вишь, какой ты тощой! Въ чемъ душа!..

И Митька, довольный прекращеніемъ ненавистной діэты, "питался" всласть.

Для него наступиль періодь настоящаго блаженства... Разъ въ недѣлю, по субботамъ, Митьку посылали, вмѣсто бани, въ ванну, помѣщавшуюся въ небольшой комнатѣ, въ концѣ главнаго корридора. Митька любилъ побултыхаться въ теплой водѣ и просилъ всегда дядю Ивана пускать его послѣднимъ,—когда уже всѣ вымоются,—чтобы подольше посидѣть въ ваннъ.

Дядя Иванъ-мужикъ добрый, сердечный.

— Ну, Митька! Ходи въ ванную! Всѣ перемылись... Держи чистое бѣлье!.. — говорилъ онъ, появляясь въ субботу вечеромъ въ палатѣ.

Митька радостно соскакиваль съ подоконника, на которомъ онъ любилъ сидъть, какъ птица—на въткъ, и, подхвативъ чистое бълье, стремительно несся къваннъ.

— Тише, постръленокъ!.. Башку раскроишь!..—останавливалъ Митьку дядя Иванъ, слъдуя за нимъ по корридору.

Дядя Иванъ пускалъ воду въ оба крана сразу—въ холодный и горячій,—бросалъ въ ванну пловучій термометръ и присаживался на стулъ, къ окну. Митька проворно сбрасывалъ халатъ, бълье и голенькій ждалъ, когда ванна будетъ готова.

Въ это время дядя Иванъ и начиналъ обыкновенно разсуждать съ Митькой.

- Тощой ты больно, Митька!.. Смотри: ноги-то у тебя, словно у козла!..
 - Ничаво...
- Какъ-ничаво? Здоровье допрежъ всего... Тебъ много ль годковъ-то?
 - Не знай... Никакъ девятый...
- Вотъ видишь: девятый годокъ, а ты весь-отъ со сморчокъ! Какъ же ты теперь, безъ отца, безъ матери?...
 - Одинъ...
 - Не помнишь, говоришь, родителя-то?
 - Какого?
 - Да отца-то своего?
 - Не знай... У меня отца не было...

Дядя Иванъ добродушно-жалостливо ухмылялся:

- Отца не было... Эка сказаль!.. Глуный!.. Рази безь отца можно?... Отець-оть быль, только выходить, не отець, а, будемъ такъ говорить,—подлець!.. Мать-то гдѣ жила? Въ услуженіи что ли?
 - Въ Теребиловкъ мы съ ней жили.

"Видно, шатущая была"...—вслухъ думаетъ дядя Иванъ и глубоко вздыхаетъ.

- Тинтиратуры достаточно! Лазай скоръй! говориль онъ, запирая воду, и опять садился къ окну. А Митька залъзаль въ ванну и начиналъ бултыхаться... То сядетъ, то ляжетъ, то вытянетъ ноги во всю длину ванны и начнетъ хлопать себя ладонью.
- А ты не брызжи! Экъ тебя!.. добродушно ворчитъ дядя Иванъ.

Но Митька пропускаеть мимо ушей ворчливыя замъчанія добраго дяди Ивана.

- Давно померла мать-то?—спрашивалъ дядя Иванъ послъ небольшой паузы.
- Давно ужъ...по осени, безпечно отвъчалъ Митька, поднимая кверху объ ноги.

- Захворала, что ли?
- -- Отъ спичекъ... Наълась спичекъ... Ее потрошили...
- Вотъ, вѣдь, грѣхъ какой! Господи Боже мой...— шепталъ дядя Иванъ и началъ припоминать... Осенью, дъйствительно, привозили къ нимъ въ "мертвецкую" какую-то бабу, и дъйствительно ее рѣзали и открыли, что она отравилась спичками... Должно быть, это и была Митькина мать. "А между прочимъ, кто ихъ знаетъ!.. Много ихъ нонъ спички ъдятъ и многихъ ръжутъ",—заключалъ онъ свои размышленія.

Утопая въ блаженствъ, Митька уже нисколько не интересовался своей родословной и давно пересталъ думать и о "маманькъ", и о Теребиловкъ, а добрый дядя Иванъ вполнъ замънилъ ему глухого и слъпого дъдушку...

Не одинъ, впрочемъ, дядя Иванъ баловалъ теперь Митьку. По четвергамъ въ больницу приходили навъщать больныхъ родные и знакомые. Одна изъ посътительницъ обратила вниманіе на смъшную фигуру Митьки, который прогуливался въ своемъ длинномъ халатъ по корридору, и начала съ нимъ разговоръ:

- Что у тебя халать-то больно великъ? Возится по полу въдь какъ юбка...
 - Нътъ маленькихъ-то... Всъ они здъсь такіе...
 - А ты чей?
 - Ни-чей!..
 - Какъ такъ?
 - Такъ...
 - Сирота?
- А то разя не сирота?...- буркнулъ Митька, исподлобья посматривая на барыню.
- Кто же къ тебѣ сюда ходить? Никого? Бѣдняжка!.. На̀ вотъ тебѣ гостинца!.. Ну! Иди!

Нельзя сказать, чтобы Митьку пришлось упрашивать и ободрять: онъ довольно проворно приблизился къ барынъ и очень просто вырвалъ у нея изъ рукъ протя-

нутый пирожокъ и апельсинъ. А потомъ безъ всякихъ чувствъ видимой признательности пошелъ прочь, пряча апельсинъ за пазуху, а пирожокъ въ ротъ.

— Постой! Куда же ты?..

Но Митька; словно боясь, чтобы барыня не передумала и не потребовала апельсинъ обратно, прибавилъ шагу и даже не обернулся...

Митька смекнуль, что барыня — добрая, и каждый четвергь, во время "пріемовъ" посѣтителей, выходиль нарочно въ корридоръ и гуляль, болтая длинными рукавами больничнаго халата... Онъ поджидаль барыню... И не напрасно: та всегда приносила ему какихъ-нибудь лакомствъ, булочекъ...

Такъ проходили въ полномъ довольствъ дни за днями. Митька привыкъ къ больницъ, полюбилъ ее и чувствовалъ себя, какъ въ раю... Комнаты большія, свътлыя и теплыя; одътъ хорошо и чисто; всегда сытъ; постель мягкая, поятъ чаемъ по праздникамъ, а по четвергамъ приносятъ "гостинцевъ", по субботамъ веселая ванна... Это ли еще не рай, послъжизни въ грязномъ омутъ, въ обществъ грязныхъ и пьяныхъ людей, жизни впроголодь, жизни безъ радости, безъ привъта, — жизни, сплошь состоявшей изъ нужды, горя и лишеній?..

Да, для Митьки здѣсь былъ настоящій рай!

Однажды въ субботу, когда Митька бултыхался въ ваннъ, а дядя Иванъ сидълъ у окна и, по обыкновенію, философствовалъ на тему "вотъ она, жисть-то наша!" въ комнату зашелъ сторожъ сыпной палаты № 3, Петруха, "бывалый человъкъ" изъ отставныхъ бомбардировъ...

- Что, Митька, скоро поди выпишуть тебя, пострѣла?—спросиль онъ.
- Я не пойду,—отвътилъ Митька и пересталъ бултыхаться.
- Опять, значить, облачать тебя въ твои отрепья, дадуть колънкой и—съ Богомъ! откуда пришелъ...

Митька сразу опечалился. До сихъ поръ онъ ни

разу не подумалъ еще, что рано или поздно должно будеть случиться это "колънкой и съ Богомъ!"

- Я не пойду,—буркнулъ Митька.— Я губернатору скажу...
- Не пойдешь, такъ всѣ ступеньки на лѣстницѣ пересчитаешь носомъ... Вотъ вѣдь какъ у насъ!.. Строго... Знашь главную парадную лѣстницу? На ней, чай, больше сотни ступеней... Губерн-а-а-тору!.. Онъ тебя вздеретъ, маминъ сынъ...
- Что ты его мутишь? Мѣшаетъ, что ли, онъ тебѣ,— заговорилъ вдругъ до сихъ поръ упорно молчавшій дядя Иванъ.—А еще бымбандиръ!..
- Не мѣшаетъ, а все-таки зря держать здѣсь тоже не приходится. Посмотри въ правелы-то... Что она, инструкція-то, приказываетъ?

Дядя Иванъ вздохнулъ и сталъ поглаживать бороду. Митька вылъзъ изъ ванны,

- Что это у тебя, молодецъ, на грудяхъ-то? не отставалъ придирчивый Петруха...
 - Заболѣло...
 - Ну-ка, постой!.. Да постой, что ли!..

Петруха повернулъ Митьку къ окну и. сдвинувъ брови, сталъ пристально всматриваться.

- Смотри, не сифилитуда ли...—сказалъ онъ.
- А ты нечего зря-то...—серьезно огрызнулся дядя Иванъ.—Чай, выздоравливаетъ, кровь играетъ теперь въ емъ...
 - -- А воть тебъ и "играетъ"!.. Вижу ужъ эту штуку...
- Заживеть... У меня раньше ужъ была такая штука, да пропала...—безпечно произнесъ Митька.
 - Ну, воть!.. Она самая и есть!..

VII.

На другой день утромъ фельдшеръ пришелъ въ палату и направился прямо къ Митькиной постели...

Фельдшеръ давно уже "подкапывался" подъ мило-

видную сестру милосердія палаты № 2 и старательно вынскиваль случая подгадить ей, чтобы не "фардыбачила" и не зазнавалась...

— Разстегни рубаху! — сказалъ строго фельдшеръ. садясь на кровать къ Митькъ.

Митька повиновался.

Осмотрѣвъ и ощупавъ, гдѣ слѣдуетъ, Митьку, фельдшеръ скорчилъ гримасу и побѣжалъ вонъ изъ палаты...

-- Ходитъ за больнымъ, ставитъ термометры и ни чорта дикаго не видитъ! Тоже "сестрой" называется,— влобно прошепталъ онъ, скрываясь за дверьми.

Въ тотъ же день вечеромъ пришелъ ординаторъ, осмотрълъ Митьку и приказалъ перевести его въ сифилитическое отдъленіе; фельдшеръ получилъ нагоняй, а миловидная сестра милосердія получила отставку...

Только самому Митькъ было ни тепло, ни холодно. Ему даже стало еще вольготнъе; къ имъвшимся уже "благамъ" теперь прибавились новыя: кормить стали еще вкуснъе и сытнъе и въ садъ на прогулку стали пускать,—въ садъ, куда такъ манило Митьку еще въ то время, когда онъ посиживалъ на подоконникъ палаты № 2 и посматривалъ въ окно на цвътущую акацію, на желтыя песчаныя дорожки, на зеленую мураву и на скакавшихъ по въточкамъ и азартно чирикавшихъ воробушковъ, на сверкавшіе вдали купола и кресты церквей города, на бълыя облака, плывшія по синему морю небесъ...

Позади больницы быль разсаженъ огородъ, гдѣ копались—работали "для здоровья" и для старшаго доктора — тихіе сумасшедшіе и меланхолики. Садъ одной своей стороной соприкасался съ этимъ огородомъ и быль отдѣленъ отъ послѣдняго только высокой зеленой рѣшеткою.

Митька очень любилъ смотръть на этихъ больныхъ и всегда на прогулкъ торчалъ около загороди, если

сумасшедшіе работали на огородѣ. Эти несчастные возбуждали въ Митькѣ какое-то особенное любопытство.

— Эй, сумасшедшій!—тихо, съ замираніемъ сердца кричаль Митька черезъ рѣшетку, желая посмотрѣть, что изъ этого выйдетъ. Стоявшій поблизости сумасшедшій отрывался отъ дѣла и пристально устремляль взоры на рѣшетку.

Митькъ становилось какъ-то жутко, онъ отодвигался подальше отъ изгороди, потомъ неожиданно показывалъ сумасшедшему языкъ или дулю и стремглавъ, безъ оглядки, бъжалъ на другой конецъ сада... Проходило нъсколько минутъ, Митька успокаивался и опять осторожно прокрадывался къ страшному огороду. Возьметъ камешекъ, присядетъ за кустикъ и лукнетъ въ сумасшедшаго... Однако ничего интереснаго не выходило...

"Чего бы еще испробовать?" думаетъ Митька и скоро изобрѣтаетъ: на длинную палку онъ привязываетъ кустъ крапивы, просовываетъ конецъ палки съ крапивой чрезъ рѣшетку въ огородъ и сдержанно,—такъ, чтобы не разбудить дремлющаго надзирателя,—кричитъ:

- Эй! Сумасшедшій!.. На-ка, повшь!.. Сумасшедшій!!.
- Ты самъ дуракъ набитый!—неожиданно отвѣчаетъ ближайшій больной, не поворачиваясь къ Митькѣ.

Но Митька думаеть, что "этоть не сумасшедшій, а какой-нибудь другой бол'єстью хвораеть", и сконфуженно оправдывается, вытаскивая обратно свою палку съ крапивой:

- Чего ругаешься-то?.. Я вѣдь не тебѣ это кричалъ, а вонъ тому... сумасшедшему... Вонъ съ лейкой-то стоитъ...
- А что, дядя Иванъ, на огородъто не все, чай, одни полуумные? провъряетъ потомъ свои сомнънія Митька:—другіе, чай, здоровые гуляють?..
- Которые есть поумиве тебя!.. шутить дядя Иванъ.—А что?
 - Обругалъ меня одинъ дуракомъ набитымъ...

- За что?
- Кто его знаетъ!.. Я иду мимо, его не трогаю... А онъ и кричитъ: "дуракъ набитый! дуракъ набитый!.."
- A ты все-таки больно близко-то не подходи... Которые злые есть,—предупредилъ дядя Иванъ.
 - Ну? А чего онъ сдълаетъ, сумасшедшій-то?..
- Убьетъ! Чего съ него взять-то? Сумасшедшій, такъ онъ и есть сумасшедшій... Бывали случаи, другь дружку убивали до смерти...
- Hy? A они, чай, черезъ ръшетку-то не перелъзутъ?.. высокая она...
- Которые есть на пять саженевъ махають! Воть что!—враль дядя Иванъ для устрашенія озорного Митьки.

Когда Митька узналь, что сумасшедшіе могуть на "пять саженевъ махать", онъ пересталь производить надъ ними свои научно-любительскіе эксперименты... Теперь онъ сталь обращать больше вниманія на музыку, которая иногда вырывалась изъ раскрытыхъ оконъ стоявшаго на дворѣ флигеля, занимаемаго старшимъ докторомъ.

Митька подходиль поближе къ музыкъ, присъдаль за кустъ акаціи и слушаль. Когда тамъ заиграютъ какой-нибудь маршъ, Митька начинаетъ номахивать рукой и притопывать ногою въ тактъ марша... Въ его воображеніи сейчасъ же встаютъ "солдаты съ музыкой", — за которыми онъ иногда бъгалъ по городу, — и самъ онъ на время превращается въ офицера.

Впрочемъ, и въ комнатахъ Митька имълъ не мало развлеченій. Надо сказать, что въ новой палатъ Митька встрътиль своего стараго знакомаго,— того самаго господина "изъ благородныхъ", съ которымъ онъ жилъ когдато въ Теребиловкъ. "Баринъ" встрътилъ Митьку очень привътливо и все восклицалъ:

- И ты, Бруть!
- Я тебъ не брать, отвъчалъ Митька...

"Баринъ" обезножилъ, ходить не могъ и все валялся

на постели. Отъ скуки онъ приглашалъ то одного, то другого больного-однопалатника къ своей койкъ сразиться "въ дурачки".

- Дитя позора и несчастья! Митька! Иди въ карты сыграемъ!—звалъ онъ Митьку, когда не отыскивалось охотниковъ.
 - Я не умѣю...
- Иди, несчастный!.. Мать съ проклятіемъ сына носила и съ проклятьемъ его родила... Иди! Научу! "Въ пьяницы", хочешь, научу?

Митька подходиль къ постели "барина", и тоть начиналь ему объяснять теорію игры "въ пьяницы". Ученикъ оказался понятливымъ и послѣ двухъ-трехъ уроковъ уже съ азартомъ гнулъ въ рукахъ грязныя засаленныя карты и вступалъ въ споръ съ учителемъ:

- Чай, король важнье туза?..
- Нътъ, братецъ... Сперва это было, давно ужъ... А теперь, братецъ мой, тузъ важнъе... Давай-ка взяткуто мнъ! нечего...
- Нътъ, врешь! Не жиль! -- горячился Митька и сгребалъ лапами "взятку".

"Баринъ" помиралъ со смъху и отнималъ у партнера взятку.

- Ну, такъ я—наплевать!..—сердился Митька и бросалъ на постель къ "барину" карты.
- Ну, возьми, возьми! Шутъ съ тобой! Пусть король будетъ старше! Ходи дальше!
- Вотъ то-то и есть!.. говорилъ успокоенный партнеръ.

"Барину" очень хотълось водки, но достать ее здъсь было очень трудно. Баринъ ругалъ "порядки" и грозилъ, что сейчасъ же выпишется и прямо въ кабакъ!.. Однако, вспомнивъ, что ходить онъ не можетъ, — "баринъ" смирялся и топилъ свою грусть въ "дурачкахъ" да въ храпъніи на всю палату.

— Митька! или достань водки, или иди играть въ

пьяницы!..—хрипло кричаль онъ, возставъ отъ сна, но въ дверяхъ появлялся Петруха и останавливалъ:

- А вы, господинъ Калинскій, не орите больно-то! Здъсь больница, а не трахтеръ...
- Какъ часто прахъ гордится передъ прахомъ, хоть оба—только прахъ!..—патетически восклицалъ Калинскій, а Петруха ворчалъ:
- По пашпорту быдто ваше благородье, а по обращенію—кабацкая затычка...

И всѣ больные выносили о своемъ сотоварищѣ по болѣзни именно такое впечатлѣніе — между вашимъ благородіемъ и кабацкой затычкой.

VIII.

Проходило и лѣто... Въ клумбахъ больничнаго сада уже расцвѣли всѣ цвѣты. Горѣли ярко-красные піоны скромно красовались блѣдныя лиліи, и гордые георгины снисходительно улыбались бархаткамъ... А тамъ выглядывали кокетливые "Анютины глазки" и насмѣшливо посматривали въ сторону "Ивана-да-Марьи"... Курица хохлатка, съ цѣлымъ семействомъ цыплятъ, разговаривала на больничномъ дворѣ съ безпомощно попискивающими дѣтками... Старая свинья, собственность старшаго доктора, похрюкивая отъ удовольствія, изо всѣхъ силъ чесалась объ уголъ крыльца своего хозяина...

Митька все еще "блаженствовалъ"... Калинскій тоже поправился, -онъ могъ уже ходить, хотя еще очень медленно и съ тростью...

Старые знакомые вмъстъ гуляли по саду и по корридорамъ, продолжали играть въ "пьяницы", разсуждать на разныя темы. Калинскій разсказывалъ Митькъ о бабочкахъ, о мухахъ, объ обезьянахъ, о деревьяхъ и едва успъвалъ удовлетворять Митькиной любознательности.

Однажды, когда пріятели бродили по саду и, по обыкновенію, разсуждали на одну изъ подобныхъ темъ, изъ оконъ докторскаго флигеля полились мелодичные

аккорды піанино.

— Давай слушать! Пойдемъ поближе!-предложилъ Митька. Они подошли къ изгороди и опустились на травку, подъ кустомъ акаціи прямо противъ оконъ флигеля.

Былъ чудный августовскій вечеръ. Солнце уже покинуло небосклонъ; послъдніе лучи его играли еще на церковныхъ крестахъ отдаленнаго города, утопавшаго въ розоватой дымкъ вечерней зари. Въ воздухъ повъяло прохладой, сыростью...

Во флигелъ были гости, тамъ кто-то игралъ одну изъ Бетховенскихъ сонатъ... Минорные ноющіе аккорды то стихали, замирали, то вдругъ переходили въ мажорные и гремъли сильными и энергичными басовыми нотами... Тихо-тихо пробивалась среди стихающаго грома звуковъ одна тоскующая нотка; какъ струйка журчащаго ручейка, дребезжала она колокольчикомъ, потомъ откудато къ ней присоединилась другая тоскующая потка... Громъ становился тише, слабъе. Воть онъ уже казался только эхомъ пролетъвшей грозы, - и вдругъ лилась нъжная, ласкающая мелодія...

Долго Калинскій и Митька молчали. Калинскій полулежаль, положивь голову на руку, и смотръль въ землю. Митька сидёль, сложивь ноги калачикомь, и, разиня роть, смотрёль куда-то въ пространство...

- А у тебя мать есть? тихо спроснав вдругъ Митька, продолжая сосредоточенно смотръть въ пространство.
- А? Что?.. вздрогнувъ встмъ тъломъ, спросилъ Калинскій.
 - Мать у тебя померла?
- Да, да... Есть... Померла... разевянно отвътилъ Калинскій, не измѣняя своей позы.

Наступило опять молчаніе. Музыка попрежнему неслась изъ оконъ, то гремя, то стихая...

— А ты любишь ее, мать-то?.. — снова спросиль вдругъ Митька.

Калинскій не отвіналь. Его лицо подергивалось судорожной улыбкой, и въ глазахъ блестіли слезы... Митька, не дождавшись отвіна, дернуль Калинскаго за рукавъ халата и снова спросиль:

— Ты любишь мать-то?..

Но вмѣсто отвѣта Митька услыхалъ вдругъ какоето сопѣніе и всхлипываніе...

- Ты что?—удивленно спросилъ Митька.
- Люблю! Люблю!.. Всѣхъ я люблю!.. И тебя... И тебя... И тебя... беззвучно зашенталъ сквозь прорывающіяся рыданія Калинскій и сталь цъловать Митьку, обливать его слезами и крѣпко прижимать къ своей груди.

Митька вывернулся и бросился бѣжать. А Калинскій остался на мѣстѣ. Опустившись на траву, онъ сталь рыдать, пряча свое лицо въ рукавъ халата.

- Дядя Иванъ!.. Съ ума онъ сошелъ!—запыхавшись сообщалъ Митька въ больничномъ корридоръ сторожу.
 - Кто, парень?..
 - Да баринъ!.. Надо его загнать въ огородъ.
 - Чаво болтаешь-то, озорной!..
- Вотъ тебъ крестъ! Лопни мои глазыньки... Сцапалъ меня вдругъ, да и давай душить... Укусить норовилъ, только я вырвался...

Спустя десять минуть Калинскаго принесли на носилкахъ въ палату... Лицо его посинѣло; на щекѣ краснъла алая струйка крови, прячась гдѣ-то подъ усами. Изъ груди вырывалось хрипѣніе... А спустя еще десять минуть, когда изъ оконъ флигеля лились попрежнему минорные тоскующіе аккорды піанино,—вынесли изъ палаты въ "мертвецкую" трупъ горемычнаго неудачника...

Калинскій померъ отъ аневризма...

Смерть пріятеля произвела сильное впечатлѣніе на Митьку, особенно когда онъ узналъ, что "барина" будуть "потрошить"... Ночью онъ не могъ заснуть и

боялся посмотрѣть на пустую койку, гдѣ нѣсколько часовъ тому назадъ игралъ съ "бариномъ" "въ пьяницы"... Ночь была свѣтлая, бѣлая... Серебряный мѣсяцъ, выглянувъ изъ-за крыши докторскаго флигеля, смотрѣлъ чрезъ окно палаты такъ внимательно, пристально; казалось, онъ хотѣлъ услышать, какъ бъется трусливое Митькино сердце... Съ другой стороны, въ окна можно было видѣть глухую каменную стѣну мертвецкой... Митька туда не смотрѣлъ, но одно уже то обстоятельство, что въ окна можно видѣть это страшное мѣсто, заставляло Митьку прятать свою голову подъ одѣяло...

Митька не хочеть думать о "баринъ", а онъ неотступно стоить въ его воображеніи... Воть онъ высокій, худой, съ отекшимъ лицомъ и мутными глазами, съ колючимъ подбородкомъ... "Адамово яблоко" у него на горлъ большое выставилось... А на щекъ пластырь налыпленъ... Митькъ лъзутъ въ голову воспоминанія послъднихъ дней: какъ они играли давеча утромъ въ карты, а вчера разговаривали о раъ; какъ гуляли по саду, и "баринъ" сказалъ, что у свиньи душа... Митька слышитъ знакомый голосъ, грубый, хриплый... А потомъ вспомнится, какъ давеча вечеромъ въ саду "баринъ" сцапалъ его, и какъ "барина" притащили на носилкахъ въ палату; какъ онъ хрипълъ...

"Хоть бы ночь скоръй прошла!" думаеть Митька и ёжится подъ одъяломъ. Ему душно, но голову онъ боится выставить... А ночь тянется, тянется... Серебриный мъсяцъ уже глядитъ въ другое окно. Вотъ кто-то изъ больныхъ закашлялся и завозился... Слава Богу!.. Митька такъ радъ, что вблизи есть хоть одинъ песпящій человъкъ... Теперь не такъ страшно. Сразу отлегло отъ сердца... Можно выставить и голову...

Митька расправляеть ноги и высовываеть изъ-подъ одъяла свою бритую голову...

— Уфъ!.. какъ жарко и душно!.. Тебъ не спится?—

шопотомъ спрашиваетъ Митька проснувшагося больного...

— Да, паренекъ...

"И ничего страшнаго нътъ!" думаетъ Митька "Нечего бояться барина: онъ мертвый... Онъ не шевелится и не можетъ сюда придти"...

Только когда серебряный мѣсяцъ пересталъ смотрѣть въ окна и вмѣсто него глянулъ слабый проблескъ наступающаго утра, Митька пересталъ совершенно бояться и заснулъ, какъ мертвый.

IX.

Жизнь пошла своимъ чередомъ...

Митька очень скоро примирился съ отсутствіемъ "барина". Карты "баринъ" забылъ взять у Митьки, и онъ отыскалъ себъ новаго партнера, который выучилъ его играть еще въ "дурачки" и "въ свои козыри"...

Прошелъ августъ. Ведреные дни смѣнились продолжительнымъ и настойчивымъ ненастьемъ... Пошли безконечные маленькіе дождички, посѣрѣли небеса и, печально кружась въ воздухѣ, стали падать съ тополей пожелтѣвшіе листочки...

Большія окна больницы стали казаться меньше, стекла ихъ постоянно потъли, отчего внутри больницы сдълалось какъ-то темнъе, угрюмъе и непривътливъе...

Дядя Иванъ уже приходиль со двора въ коротенькомъ полушубкъ и морщился, стряхивая воду съ картуза и приговаривая:

— Эка мокрота, сырость!..

Митька не ходиль больше въ садъ, гдѣ теперь бѣгали только собаки да безпрепятственно рылась въ клумбахъ докторская свинья, поѣдая заброшенные георгины...

Въ одно пасмурное утро пришелъ въ палату фельдшеръ, осмотрълъ нъкоторыхъ больныхъ—въ томъ числѣ и Митьку—и, сказавъ Петрухѣ: "этихъ къ выпискѣ!" ушелъ.

Къ выпискъ!.. Это значить "колънкой — и съ Богомъ!"...

Митька долго сидѣлъ на своей койкѣ и сосредоточенно теребилъ завязки наволочки на подушкѣ. Пришелъ Петруха и сталъ ходить между койками и стирать на нѣкоторыхъ черныхъ дощечкахъ надписи, а "скорбные листы"—вытаскивать и перекладывать въ одну руку...

— Что, Митька, правду я тебѣ говорилъ? — грубо бросилъ Петруха, стирая доску у Митьки.—Не охота небось!.. Избаловался!

Митька промолчалъ. Когда Петруха вышелъ изъ палаты, онъ тоже выбъжалъ оттуда и торопливо направился по корридору въ комнату дяди Ивана.

- Дядя Иванъ!..
- Hy?..
- Разя мнъ отсель уходить? тихо спросилъ Митька.
- А что? кто сказалъ?
- Фельдшеръ къ намъ приходилъ... Сказалъ—выписать...

Дядя Иванъ вздохнулъ и почесалъ за ухомъ:

- -- Видно такъ... Ничего не подълаешь!..
- Я еще маленько пожилъ бы...—произнесъ почти шопотомъ Митька.
- Эхъ!.. Въдь не я, милый, тутъ хозяинъ-то... чаво я?.. Я бы само собой.
 - Попроси-и-и!..
- Разя меня послушають?! Да вѣдь нельзя... Это ужъ положенье такое...
- Я сталъ бы тебъ помогать... Полъ подметать шваброй... Я умъю...

Дядя Иванъ только причмокнулъ губами и вздохпулъ...

— Митька!.. Что ты убъгъ? иди за мной!—раздался

вдругъ голосъ Петрухи, просунувшаго въ дверь свою голову.

Митька оборотился къ стѣнѣ и, замолкнувъ, застылъ на мѣстѣ.

— Иди, молъ!..—прикрикнулъ Петруха.

Митька молчалъ и не двигался.

— Тебъ говорять, али нъть?

Дядя Иванъ опять вздохнулъ, почесалъ за ухомъ и сталъ возиться около ванны, хотя въ этомъ не было никакой надобности.

Петруха вошель въ комнату. Онъ взяль за руку Митьку и потащиль вонъ.

Митька заревѣлъ и началъ упираться...

— На воть!.. Уперся, — не своротишь... Н·ну! иди, что ли!—уже со злостью крикнулъ Петруха и поддаль Митькъ колънкой сзади.

Митька вылетёль изъ комнаты. Петруха поволокъ его по корридору.

Изъ дверей попутныхъ -палатъ выходили больные и печально провожали глазами плакавшаго Митьку...

- Куда ты его?-спросиль одинь изъ нихъ Петруху.
- Въ чахаусъ! Къ выпискъ назначенъ...

Прошли главнымъ корридоромъ и свернули влѣво; потомъ спустились по каменной лъстницѣ въ нижній этажъ и опять зашагали какимъ-то полутемнымъ холоднымъ проулочкомъ... Митька едва поспѣвалъ за Петрухой и какъ-то подпрыгивалъ на ходу, продолжая тихо всхлипывать и потягивать носомъ.

Вотъ дошли, наконецъ, и до "чахауса"...

Въ концѣ проулочка—окно съ желѣзной рѣшеткой, а направо черная дверь... Пахнетъ сыростью, затхлостью, кругомъ тоскливо и сумрачно... Точно къ склепу подошли...

— Подожди здѣсь! — сказалъ Петруха, а самъ вошелъ въ дверь, которая жалобно визгнула ржавыми петлями.

- Одежду, вашескобродіе, отъ номера шестнадцатаго! къ выпискъ...
 - Мужская или женская?
 - Мальчонка...

Такой діалогъ глухо донесся откуда-то, словно изъподъ земли, чрезъ непритворенную дверь: послышались шаги, потомъ со звономъ отомкнулся гдъ-то замокъ, потомъ—другой, третій...

Кругомъ было тихо, мертвенно тихо.

Смотритель "чахауса", одна изъ разновидностей "архивныхъ крысъ", старикъ съ трясущимися руками и беззубыми челюстями, ворчалъ, отыскивая одежду № 16-го, кашлялъ, ругался, сморкался, чихалъ и хло-палъ дверками шкафовъ...

- № 16-й баба! Ты что-нибудь спуталъ... прошамкалъ онъ наконецъ.
- Никакъ нѣтъ, вашескобродіе Шестнадцатый... Вѣрно...
 - Изъ какого отдъленія?
- Изъ третьяго... Сперва онъ былъ во второмъ заразномъ, а потомъ перевели его...
- Ну, вотъ... дуракъ!.. Подъ какимъ № онъ былъ въ томъ отдѣленіи?
- Сичасъ, вашескобродіе, сбъгаю,—виновато проговорилъ Петруха, подобострастно улыбаясь, и побъжаль справляться.
- Смирно сиди! Никуда не ходи, а то... на ходу бросилъ Петруха, торопливо шагая мимо Митьки.

Знонко раздавались шаги Петрухи въ пустынныхъ каменныхъ корридорахъ... Эхо сдваивало эти шаги, отъ чего казалось, что Петруха бъжитъ... Но вотъ шаги затихли, и опять кругомъ воцарилась мертвая тишина.

Жутко вдругъ стало Митькъ. Опять вспомнился Калинскій, — и дрожь мурашками пробъжала по его спинъ. Гдъ-то что-то стукнуло, и Митька, спрыгнувъ съ подоконника, опрометью влетълъ въ "чахаусъ".

Изъ глубины дальней комнаты выглянула "архивная крыса" и, сощурившись, пристально посмотръла на Митьку.

Постоявъ нъсколько мгновеній на мъсть, эта "крыса" подошла къ двери и спросила шамкающимъ ртомъ:

- Тебъ что?
- Ничего!..
- Ты... у тебя который номерь?
- Я безъ номера...

"Крыса" безжизненно посмотръла еще нъсколько мгновеній, повела какъ-то носомъ, сморщилась и ушла... "На колдуна похожъ", подумалъ Митька.

Вбъжалъ Петруха.

- Куда зальзъ? Я тебъ приказываль тамъ, -- прошепталъ онъ, ткнувъ Митьку въ загривокъ, и чинно, на цыпочкахъ, вошелъ въ слъдующую комнату.
- Во второмъ отдъленіи онъ былъ, вашескобродіе, подъ № 9-мъ.
- То-то вотъ и есть... остолопъ... прошамкала "крыса" и опять стала щелкать замками.
- Поди, возьми! Отрепья одни... Вонъ узелокъ!.. башмаки...—показала "крыса" ногою Митькину одежду.
- Больше ничего?-спросилъ Петруха, сгребая съ нижней полки шкафа узелокъ съ башмаками.

Въ отвътъ щелкнулъ со звономъ замокъ.

— Ну, иди, молодецъ, за ширму! на твое добро!... Скидавай казенное!-приказалъ Петруха Митькъ.

Митька уже послушно исполняль все, что ему приказывали. Спустя минуть пять, Митька вышель изъ-за ширмы неузнаваемымъ: опять на немъ были коротенькіе съ заплатами штанишки, опять неуклюже висѣлъ на немъ засаленный жилеть, опять на ногахъ были стоптанныя "щиблеты", съ отстающими подошвами и съ торчащими изъ дыръ пальцами.

— Вотъ мъшокъ-отъ свой еще прихвати! пригодится... Хоша его крысы и объбли маленько, ну, да и имъ вѣдь тоже жрать надо... — сказалъ вышедшій изъ-за ширмъ вслѣдъ за Митькою Петруха и бросилъ на полъ грязный, связанный веревочкой мѣшокъ...

Митька наклонился и подняль мъшокъ...

- Теперь при всемъ парадъ! Пойдемъ въ пріемную! Опять пошли корридоромъ, опять спускались по какой-то маленькой лъстницъ.
- Къ выпискъ! № 9-й! вскрикнулъ Петруха, втолкнувъ Митьку въ пріемную.

Фельдшеръ сидѣлъ у стола и писалъ что-то. У двери стоялъ разсыльный Семенъ и позѣвывалъ, прикрывая ротъ ладонью...

Митька апатично повель глазами по стѣнамъ, по потолку, по полу и, остановившись на фельдшерѣ, подумаль:

"Хохолъ какой изъ башки торчитъ у него... Ровно пътухъ..."

Фельдшеръ докончилъ "отношеніе" и, отбросивъ ручку, схватилъ прессъ-бюваръ и сильно стукнулъ два раза по бумагѣ. Потомъ онъ запечаталъ бумагу въ пакетъ, на которомъ, помимо адреса, написалъ крупными буквами: "съ приложеніемъ бродячаго мальчика".

- Въ полицію, произнесъ онъ, подавая разсыльному Семену вложенный въ разносную книгу пакетъ.
 - Съ эфтимъ мальцомъ?
- Да. Сдай пакетъ и мальчишку приставу или кто тамъ будетъ...
- Шагай, паренекъ, за мной,— сказалъ разсыльный, ткнувъ пальцемъ задумавшагося Митьку.

Когда Митька съ разсыльнымъ вышли за ограду больницы, пахнулъ въ лицо непріятный вѣтеръ и подуль во всѣ дыры и прорѣхи Митькинаго рубища... Подъ ногами зашленала жидкая грязь и забулькала дождевая вода.

— Вотъ по тропочкъто шагай, малецъ! Не лъзь зря-то... — сказалъ разсыльный Семенъ, мимоходомъ взглянувъ Митькъ на ноги. Но Митька не разбиралъ теперь тропочекъ. Онъ шагалъ медленно, съ понурой головой, и только потягивалъ носомъ.

Прошли первый пожелтъвшій лужокъ, прошли длинный заборъ огорода сумасшедшихъ... Митька оглянулся назадъ и съ любовью посмотрълъ на вырисовавшійся въ туманъ фасадъ высокаго каменнаго дома, гдъ онъ провелъ столько радостныхъ счастливыхъ дней. Слезка скатилась съ ръсницы Митькинаго глаза и упала на мокрый лужокъ...

GAUDEAMUS IGITUR.

Ежегодно, въ день годовщины N-го университета, въ нашемъ уъздномъ городкъ Сердянскъ собиралась мъстная интеллигенція, чтобы въ задушевной бесъдъ вспомнить дни своего студенчества.

Питомцевъ N-аго университета у насъ было трое: толстякъ мировой судья, Илья Ильичъ Невзоровъ, потерявшій на должности судебнаго слѣдователя зубы—старичокъ Иванъ Петровичъ Стебельковъ, и худой и тонкій земскій врачъ, Стеблицкій. Но къ этимъ тремъ господамъ всегда какимъ-то непонятнымъ образомъ присоединялись еще двое: становой Тычкинъ и почтмейстеръ Мямлинъ...

Оба послъдніе никакихъ университетовъ не нюхали, но почему-то считали своей непремънной обязанностью ежегодно участвовать въ празднествъ.

Бывало, дня за три-четыре Тычкинъ шлетъ десятскаго къ слѣдователю съ запиской: "Увѣдомьте меня, предполагается ли нынче и какимъ образомъ праздновать нашу годовщину? Не дурно бы на чистомъ воздухѣ и совмъстно съ женскимъ поломъ". Почтмейстеръ тоже освѣдомляется у мирового: "Добръйшій Илья

Ильичъ! По примъру прошлыхъ лътъ, надлежитъ и нынъ вспомнить нашъ храмъ науки. Слъдовало бы устроить хоть маленькую пулечку. Не откажите увъдомить о намъреніяхъ и предположеніяхъ компаніи".

Земскій врачъ, молодой еще сравнительно человѣкъ, желчный, нервный и раздражительный, неохотно присоединялся къ этому веселому пиршеству: онъ угрюмо замѣчалъ, что не время теперь праздновать эти "годовщины", и начиналъ задумчиво грызть ногти... Однако, послѣ долгихъ и настоятельныхъ увѣщаній со стороны Ильи Ильича, сдавался.

- Хорошо... только, во всякомъ случат, я не желаю праздновать вмъстъ съ Тычкинымъ.
- Ахъ, Петръ Петровичъ! Ну что вамъ дался этотъ Тычкинъ? Безобидный человъкъ, такой же, какъ и мы съ вами... Пусть его!.. Не мъшаетъ въдь?
- Да скажите, пожалуйста, какого чорта онъ будетъ съ нами праздновать? Въдь онъ... онъ...
- Ну, что же "онъ"? Подпоручикъ въ отставкъ-съ! Въдь дъло не въ томъ...
 - А въ чемъ же-съ?
 - --- Въдь онъ собственно для компаніи...
- Ну, ужъ извините! Если вы для компаніи урядниковъ еще пригласите, такъ я лучше дома, одинъ, напьюсь!.. Да и какія туть празднества?.. Чепуха!..
- Какъ хотите!.. А если вздумаете, такъ приходите... Мы собираемся въ клубъ, —говорилъ Илья Ильичъ обиженнымъ тономъ и покидалъ "тяжелаго человъка".
- "Съ урядниками!?.." Никто никакихъ урядниковъ не приглашаетъ...—ворчалъ Илья Ильичъ по дорогѣ.—Всегда крайности... Невыносимый человѣкъ!...

Томимый одиночествомъ и скукою, докторъ обыкновенно, послѣ долгихъ посвистываній и похаживанія изъ угла въ уголъ, бралъ фуражку и шелъ въ клубъ "посмотрѣть, что тамъ дѣлается", и всегда какъ-то случалось, что онъ, противъ собственной воли и жела-

нія, оставался тамъ, присоединяясь къ торжествуюшимъ.

Почти то же случилось и на этотъ разъ.

Никто изъ питомцевъ N-аго университета еще не помышлялъ о приближавшейся годовщинъ своей "almae matris", какъ Тычкинъ уже напомнилъ о ней письмомъ къ старичку-слъдователю:

"Милъйшій Иванъ Петровичъ! приближается день нашего празднества въ честь вашей науки, и я предлагаю отпраздновать нынче, какъ слъдуетъ. Проектирую устроить поъздку въ Студеный Ключъ—это всего въ двънадцати верстахъ отъ города: могу достать двъ тройки земскихъ лошадей, но ставлю непремъннымъ условіемъ—участіе въ поъздкъ женскаго пола" и т. д.

Надо замѣтить, что Тычкинъ; каждогодно настаивавшій на участіи въ празднествѣ женскаго элемента, на сей разъ стоялъ за это съ особенной рьяностью:

"Что за удовольствіе,—писалъ онъ,—быть безъ женскаго пола? Рѣшительно никакого. Безъ женщины мужчина, какъ безъ паровъ машина,—говорится. Поэтому я предложилъ бы пригласить съ собой дѣвицъ Недоносковыхъ и Марью Гавриловну. Можетъ бытъ, и ваша супруга приметъ участіе. Что же касается супруги Ильи Ильича, то я, между нами будь сказано, на нихъ не надѣюсь: заболятъ у нихъ зубы, и тогда все дѣло приметъ мрачный колоритъ".

Старикъ-слъдователь теоретически вполнъ раздълялъ этотъ взглядъ, но какъ только вопросъ вставалъ въ его головъ вмъстъ съ мыслью о супругъ,—онъ ръшительно былъ противъ.

- -- Я думаю, душечка, ъхать въ четвергъ на вскрытіе... Мертвое тъло давно валяется.
 - А какъ же? Развъ годовщину не будешь справлять?
- Гм... не знаю... Только тебъ не совътоваль бы ъхать... Если бы не было это неудобно, я и самъ отказался бы...

Такъ подготовлялъ почву Иванъ Петровичъ.

Почтмейстеръ былъ рѣшительно противъ участія женскаго элемента. Онъ понималъ, что разъ будуть дѣвицы Недоносковы, его жена ни за что не отстанетъ,— привяжется. Взять же ее съ собою равносильно обреченію себя на монашескую воздержанность во всемъ, начиная съ картишекъ.

Жена почтмейстера Мямлина была однимъ изъ тѣхъ несчастныхъ существъ, которыя вѣчно ревнуютъ своихъ супруговъ къ каждой женщинѣ. Несмотря на то, что почтмейстеръ не имѣлъ ровно никакихъ шансовъ на успѣхъ въ этомъ отношеніи, несчастная женщина не спускала мужа съ глазъ: она была такого убѣжденія, что "мужчинѣ" достаточно быть немного лучше чорта, чтобы всѣ женщины падали въ его объятія.

— Митя! машеръ! миѣ тебя нужно!—многозначительно, съ повышеніемъ тона въ голосѣ, отзываетъ она всякій разъ мужа, когда онъ заговорится съ какой-нибудь дамою.

И почтмейстеръ покорно покидаетъ собесъдницу, прошептавъ:

— Виноватъ-съ... я васъ на минуточку оставлю.

Однако болѣе онъ уже не возобновляетъ прерваннаго разговора съ дамой изъ боязни "скандала"...

Докторъ, по обыкновенію, сперва уперся, а пото съ кислою миною отвътилъ:

— Ладно... прокачусь... Все равно надо въ Сосновку завхать, — больные есть тамъ...

Здѣсь я позволю себѣ сдѣлать маленькое отступленіе, чтобы познакомить читателя поближе съ нѣкоторыми героями нашего разсказа.

Тычкинъ, какъ человъкъ военный, былъ душою нашего дамскаго общества. Онъ первенствовалъ въ клубъ на вечерахъ и такъ отлично дирижировалъ танцами, что всъ танцующіе, бывало, приходили въ какое-то неистовство: молодой секретарь полиціи, съ взъерошенною головою, подпрыгивалъ козломъ и пожиралъ свою даму какимито страшными дикими взорами, а нашъ фельдшеръ такъ сильно притоптывалъ въ тактъ музыки каблуками, что, казалось, намъревался проломить полъ своими ногами.

— Кавалье! А гошь!! — оглушительнымъ теноромъ выкрикнеть, бывало, дирижеръ, махнетъ рукой и пристукнеть шпорами..

Взоръ его полонъ божественнаго вдохновенія, мечеть искры и зажигаеть сердца танцующихъ какой-то безшабашной самоотверженностью. "Кавалье", какъ угорѣлые, бросятся въ противоположную сторону и, кажется, готовы разорвать своихъ дамъ на двѣ половины... А что, бывало, дѣлалось, когда дирижеръ захлопаетъ въ ладоши и, торжественно объявивши "Polka"—подастъ примѣръ искусства и ловкости!

Туть ужъ рѣшительно страшно становилось смотрѣть! Столоначальникъ вертѣлъ свою даму до потери сознанія, а фельдшеръ такъ отчаянно стукалъ въ полъногами, что снизу, изъ билліардной, приходилъ испуганный "человѣкъ" и виновато просилъ:

— Нельзя ли послабже?.. а то лампа того и гляди на билліардъ свалится... А на билліардъ буфетчикъ отдохнуть легли...

Земскій врачь, Петръ Петровичь Стеблицкій, приіддлежаль къ типу людей, вѣчно и всѣмъ недовольныхъ. Постоянно не "въ духѣ", вѣчно кислый, съ кислыми минами и разговорами, раздражительный до послѣдней возможности человѣкъ, болѣзненно самолюбивый—онъ былъ однако безукоризненно честнымъ и отзывчивымъ на всякія общественныя "злобы". Въ то время, какъ другіе члены мѣстной "интеллигенціи" наслаждались пикниками, картишками, сплетнями и, въ лучшемъ случаѣ,—узко спеціальными дѣлами по службѣ, Петръ Петровичъ усердно перечитывалъ "Русскія Вѣдомости", волновался и начиналъ, ходя по комнатѣ, разговаривать самъ съ собою.

- Петръ Петровичъ! Съ къмъ это вы, батюшка мой, разсуждаете?—крикнетъ, бывало, подошедшій къ окну слъдователь.
- Помилуйте! Да это что же такое? Войдите... прочитайте!.. Это удивительно... это чорть знаеть...
- Нѣтъ, читать, батенька мой, не хочется... А я зашель къ вамъ вотъ зачѣмъ: былъ въ уѣздѣ, заѣзжалъ къ вашему принципалу, т. е. къ предсѣдателю-съ. У него супруга капризничаетъ: какія-то галлюцинаціи, что ли... Онъ просилъ васъ побывать.
- У меня больные и посерьезнѣе есть!—рѣзко перебивалъ Петръ Петровичъ и "начиналъ":
- Что же это такое? Кому, наконець, я призвань служить? нервнымь барынямь или голоднымь мужикамь... Нъть, "чумазый" дълаеть земскую службу окончательно невозможной... Извольте видъть: какія-то галлюцинаціи у этой бабы въ семь пудовъ въсу!.. Съ жиру бъсится, каналья, а врачь изволь туть бросать дъло, больныхъ... это... это...
- Ну-у! Завели!.. Полноте, пожалуйста!.. Смотрите на жизнь проще!.. Начальство есть у всъхъ, не у васъ одного и.. и... значитъ, необходимо ъхать... а то опять непріятности выйдутъ. Барыня у него кляузная.
- Брошу! брошу!.. Это невыносимо... это комедія какая-то...

Почти каждый день Петръ Петровичъ чѣмъ-нибудь возмущался и рѣшалъ бросить службу, но до сей поры не приводилъ этого рѣшенія въ исполненіе. Раза три онъ писалъ заявленія о своемъ нежеланіи продолжать службу: "Считая при настоящей постановкѣ дѣла медицинской помощи народу свой трудъ безполезнымъ", такъ всегда начинались эти заявленія, а кончались: "считаю себя правственно обязаннымъ заявить, что служить болѣе въ N-омъ уѣздномъ земствѣ не желаю и прошу немедленно же назначить мнѣ преемника".

Потомъ эти заявленія клались въ боковой карманъ, и тамъ ихъ можно найти, въроятно, и теперь еще.

Это быль одинь изъ многихъ "рыцарей на часъ", любящихъ помучить себя и другихъ, потерзаться своимъ несовершенствомъ.

Такіе типы честныхъ и хорошихъ людей, обыкновенно, рано или поздно поглощаются окружающей средою, закисаютъ, такъ сказать, и ассимилируются...

Илья Ильичъ тоже стоить того, чтобы сказать о немъ два-три "теплыхъ" слова. Начать съ того, что онъ часто разбираль дѣла въ халатѣ, а переговаривался во время разбора дѣлъ со своей супругою постоянно:

— На основаніи такой-то статьи устава наказаній, налагаемыхъ мировыми судьями,—начиналъ онъ скороговоркой и вдругъ отрывалъ глаза отъ бумаги и обращалъ ихъ на дверь: Маничка! Закрой, пожалуйста, дверь: сквознякъ!..—Послъ того уже доканчивалъ...

Да, это былъ дѣйствительно "мировой"! Когда ему удавалось примирить враждующія стороны, онъ испытываль большое наслажденіе.

— Помиритесь, господа!—убъждалъ онъ—Ну, что тутъ кляузничать? Ну, обругали другъ друга, подрались... Мало ли что бываетъ между своими... Къ чему же свои кляузы ко мнъ-то переносить? Вы думаете,—мнъ нечего дълать? Эхъ, господа... Мало ли кто съ къмъ поругается да подерется... Если бы всъ къ мпровымъ лъзли, то сколько бы мировыхъ-то надо было? Пошли, выпили и помирились... вотъ и все... А тутъ еще пе знай, чъмъ кончится... Плюньте, господа! Ей-Богу, не стоитъ!..

Говориль онъ это такъ убъдительно, что противники, взглянувъ другъ на друга, улыбались и... мирились.

Двъ сестрицы Недоносковы блистали звъздами первой величины на нашемъ уъздномъ горизонтъ.

Это были типы наивныхъ провинціальныхъ бары-

шень, красивыхъ, кокетливыхъ, увлекающихся свътлыми пуговицами и черными нафабренными усами. У объихъ было по таинственной шкатулочкъ и по альбому, куда поклонники вписывали собственноручно стишки "въ знакъ памяти", въ родъ:

Рука моя писала, Не знаю,—для кого... Но сердце подсказало: Для друга своего...

или:

Пройдутъ въка,—и ты меня забудешь, Но не забуду я до гробовой доски... Ахъ, ты не знала, знать не будешь Любовной страсти и тоски!!!

Нечего и говорить, что Тычкинъ былъ предметомъ страданій для объихъ дѣвицъ и служилъ поводомъ для частыхъ ссоръ ихъ между собою. Когда, бывало, Тычкинъ вздумаетъ спѣть въ клубѣ, на вечерѣ, романсъ: "Милая, ты услышь меня!"—обѣ сестры стремглавъ летятъ къ роялю, чтобы аккомпанировать, ссорятся, и дѣло кончается обыкновенно тѣмъ, что съ Наденькой Тычкинъ пропоетъ "Милую", а съ Варенькой—"Мѣсяцъ плыветъ по ночнымъ небесамъ".

Марья Гавриловна была замѣчательна въ томъ отношеніи, что замѣняла для горожанъ мѣстный органъ гласности, какой-нибудь "Сердянскій Листокъ". Марья Гавриловна знала рѣшительно все выдающееся въ городской жизни: отъ нея можно было узнать, что вчера въ садикѣ процзошло объясненіе въ любви между секретаремъ полиціи и дочерью полицейскаго надзирателя, что почтмейстеръ Мямлинъ получилъ отъ супруги своей туфлей по физіономіи, что у лавочника Пудикова родились двойни, а мировиха сшила себѣ "бордо", что Тычкинъ влѣпилъ Наденькѣ Недоносковой "безешку", а женѣ землемѣра сказалъ что-то двусмысленное и т. д., и т. д. Понятно, что при такомъ "всевъдъніи и вездъсущін" Марья Гавриловна была общимъ другомъ нашего женскаго общества, и что безъ нея не обходился ни одинъ скандалъ въ городъ. Марья Гавриловна успъвала каждодневно объгать всъ "культурные дома", у всъхъ напиться чаю, всъмъ посплетничать и собрать матеріалъ для слъдующаго "номера".

Марья Гавриловна была полная старая дѣва, но чѣмъ болѣе полнѣла и старѣла, чѣмъ болѣе, такъ сказать, "матерѣла",—тѣмъ сильнѣе жаждала замужества и надѣялась, что вотъ-вотъ... Каждыя "святки" она гадала, и каждый разъ ей выходило, что нынче она выйдетъ замужъ. Она увѣряла, что видѣла въ зеркалѣ и своего "суженаго-ряженаго": судя по всѣмъ описаніямъ его, жертвою Марьи Гавриловны долженъ былъ сдѣлаться нашъ бѣдный докторъ Петръ Петровичъ, который, кстати сказать, не переносилъ даже ея голоса и всегда впадалъ въ какой-то столбнякъ въ присутствіи этой невѣсты неневѣстной.

- Петръ Петровичъ! Что это вы сегодня такой грустный, томный? скажетъ, бывало, Марья Гавриловна, вскинувши на доктора полные "безумной страсти и тоски" взоры.
- Тошнить-съ, Марья Гавриловна...— буркнеть тотъ, покусывая свою бородку.
- Ахъ, бъдненькій! На-те вотъ... у меня есть мятныя лепешечки... Я люблю ихъ сосать...
 - Не сосу, Марья Гавриловна.
- Ахъ, какой гадкій! Да вы попробуйте!.. Сейчасъ же во рту холодокъ будеть, кисленько такъ...
 - Й такъ кисло, Марья Гавриловна.
- Ахъ, да вы, върно, влюблены?—вотъ и тоскуете!.. Ну, скажите,—въ кого?.. А?..

И Марья Гавриловна смотрить, бывало, на бѣднаго доктора такимъ сжигающимъ взоромъ, словно ждетъ, что вотъ-вотъ сейчасъ докторъ вскрикнетъ: "въ тебя!..

люблю тебя!.. тебя! тебя!.." и заключить ея полную фигуру въ свои тощія объятія...

Но увы!-напрасныя ожиданія!..

Докторъ корчить пренедовольныйшую гримасу и отвычаеть:

- Хуже, Марья Гавриловна... Катарръ-съ!..
- Ахъ, шутники вы этакіе!!.

Насталъ день годовщины.

Погода благопріятствовала. Выдался чудный денекъ. Прохладный вѣтерокъ ослабляль дѣйствіе палящихъ солнечныхъ лучей, принося съ луговъ, изъ-за Волги, аромать свѣже-скошеннаго сѣна. Городокъ словно дремаль, убаюкиваемый тихимъ ласковымъ плескомъ застывшей Волги, лѣниво раскинувшись и грѣясь на солнышкѣ. Обыватели спустили на окнахъ занавѣсочки и сидѣли "по домашнему", т.-е. въ достаточно откровенныхъ костюмахъ. Многіе прятались въ небольшихъ тѣнистыхъ садикахъ, послживая за самоварчиками. День былъ праздничный, поэтому чиновенство наслаждалось отдыхомъ отъ утомительно-однообразной работы, какъ наслаждаются школьники вакаціоннымъ временемъ.

Изъ раскрытыхъ, завѣшанныхъ кисейными занавѣсками оконъ Недоносковыхъ неслись нестройные аккорды разбитаго древняго фортепіано. То Наденька Недоноскова рубила пальцами свои любимыя "Дунайскія волны".

Передъ окномъ прохаживался индъйскій пътухъ. который вытягивалъ шею и однимъ глазомъ заглядываль въ окно, словно ему хотълось узнать, какъ это удается Наденькъ испускать такіе чудные звуки.

Въ это время къ дому приближалась тонкая военновыправленная фигура Тычкина.

Индѣйскій пѣтухъ счелъ своей обязанностью громко пробормотать: "Здравія желаю, ваше брр-е!"

Звуки фортеніано вдругъ смолкли, и изъ окна высунулась русая головка дъвушки.

- Ахъ! испуганно вскрикнулъ тонкій пискливый голосокъ, и головка спряталась.—Нельзя! . Мы сейчась! Погодите! —донесся голосокъ черезъ занавъсочку.
- Пардонъ-съ! Я, кажется, не во-время...—съ улыбкою на устахъ проговорилъ Тычкинъ, прикладывая къ козырьку фуражки свои тонкіе, украшенные кольцами пальцы.
- Нътъ, нътъ!.. Ничего. Мы сейчасъ... пискнула Наденька.
 - Погодите!.. Не уходите!—перебила ее Варенька.

Тычкинъ присълъ на лавочку, подъ окнами, и сталъ стряхивать надушеннымъ носовымъ платкомъ пыль со своихъ востроносыхъ ботинокъ... Потомъ закурилъ тончайшую папиросочку и вполголоса замурлыкалъ: "Ми-илая, ты услы-ы-ышь меня-я-я..."

Недоносковы не заставили себя ждать: не успълъ Тычкинъ начать "подъ окн-о-мъ тво-и-мъ", какъ головка Наденьки, съ алою розою въ русыхъ волосахъ, выпорхнула изъ-за занавъсокъ, а губки жеманно произнесли:

— Можно!

Тычкинъ вскочилъ съ лавочки, сдълалъ полный оборотъ на мѣстѣ, дотронулся до козырька фуражки и молодцоватою походкой направился въ комнаты. Индъйскій пѣтухъ вытянулъ шею и подозрительно посмотрѣлъ ему вслѣдъ. Потомъ распустилъ вѣеромъ хвостъ, побагровѣлъ отъ злости и неестественно громко расхохотался.

— Я къ вамъ, m-lles, по порученію!—началъ гость, покручивая нафабренный усъ:—Мы празднуемъ сегодня годовщину нашего университета... Компанія пожелала. чтобы въ этомъ празднествъ принималъ участіе и прекрасный... да, прекрасный полъ... Такъ вотъ-съ, извольте видъть, я счелъ своей нравственной обязанностью, свя-

щеннымъ, такъ сказать, долгомъ предложить вамъ прокатиться съ нами на Студеный Ключъ. А-а... это, такъ сказать...

— Какая годовщина? — удивленно и мило расширивъ свои голубые, какъ васильки, глазки, спросила Наденька.

Тычкинъ взглянулъ на эти "васильки", на этотъ вздернутый задорный носикъ и мысленно произнесъ: "поэтичная, чортъ возьми, дѣвица!" а потомъ произнесъ уже вслухъ:

- Гм... м... Это... какъ бы вамъ сказать?! Знаменательный день, въ который... обыкновенно... надлежитъ... какъ бы это вамъ сказать?.. Вообще повеселиться и отпраздновать... Мы ежегодно устраиваемъ это... Вспоминаемъ собственно дни нашей юности...
- Что же это за годовщина, не пойму я все-таки! перебила нетерпъливая Наденька.
 - Гм... м... Напримъръ... Вы бываете именинница...
 - Семнадцатаго сентября я!..
- Нѣтъ-съ, нозвольте! Я только, напримѣръ... Тамъ тоже подобно именинамъ... Каждогодно, въ опредѣленный срокъ... Ну, да это все равно! Такъ вотъ мы и просимъ васъ присоединиться...
- M-r Тычкинъ! произнесла выпорхнувшая въ залъ Варенька.

Тычкинъ расшаркался. — Ваше драгоцънное здравіе? — спросилъ онъ съ поклономъ.

— Ахъ, мерси!.. Слава Богу.

Тычкинъ повторилъ все сначала Варенькъ. Та не поинтересовалась, впрочемъ, узнать, что это за годовщина и почему и что празднуется. Ей было все равно, главное—прогулку она понимала, а до остального ей не было никакого дѣла.

— Ахъ, какъ я рада! какъ рада! Но если поъдетъ Какоркова, мы не желаемъ,—закончила она неожиданнымъ переходомъ изъ мажорнаго въ минорный тонъ.

- Какоркова не поъдетъ... Будьте спокойны...—авторитетно успокоилъ Тычкинъ.
- Ну, такъ мы согласны! Устраивайте эту штуку!.. Мы согласны, на все согласны!..

И Варенька захлопала въ ладоши и завертѣлась на каблучкахъ.

Почтмейстеръ всталъ сегодня раньше обыкновеннаго. За ночь онъ придумалъ весьма остроумный планъ спровадить свою жену на станцію "Безводное", къ тамошнему смотрителю.

- Какая чудная погода!—-закинуль онь, еще лежа въ постели и потягиваясь.—Хорошо бы сегодня прокатиться въ "Безводное".
 - Что же, машеръ, прокатимся...
- Нельзя мнѣ... Некогда... А какъ звали! И Настасья Семеновна, и Лука Лукичъ... Отчего бы тебѣ одной хотя не прокатиться? Они у насъ два раза были, а мы ни одного... Обижаются...
- A какъ же годовщину справлять развѣ не будутъ нынче?
 - А ну ихъ тутъ! У меня по горло работы...
 - А лошадей, машеръ, дашь?
 - Это пустяки... Тройку можно.

Въ то время, какъ Тычкинъ приглащалъ дѣвицъ Недоносковыхъ, почтмейстеръ усаживалъ въ плетушку свою супругу.

Вмѣсто обѣщанной тройки, стояла одна кляча, печально повѣсившая голову и похлестывавшая свои бока облѣзлымъ хвостомъ. На облучкѣ сидѣлъ чумазый мальчуганъ безъ шапки.

Почтмейстерша сердилась, влѣзая, съ помощью мужа, въ плетушку.

- Говорилъ, -- тройку, а далъ какого-то одра?!
- Ничего, голубчикъ, не подълаешь... Всъхъ лоша-

дей взяли... Скажи "слава Богу", что и этого-то одра отыскали.

— Онъ одеръ-отъ одеръ, а ты постой, вотъ увидишь, какъ махать зачнетъ... Ровно конекъ-горбунокъ! — сказалъ сидѣвшій на козлахъ мальчуганъ. Онъ огрѣлъ кнутовищемъ свою клячу, и почтмейстерша выѣхала со двора...

Какъ только сърый зонтикъ почтмейстерши пропаль въ облакъ поднятой плетушкою пыли, Мямлинъ побросалъ всъ свои бумаги и пакеты, торопливо натянулъ бълую парусиновую пару и полетълъ къ Ивану Петровичу.

- Съ годовщиной васъ, милъйшій! Ну, что? Какъ сегодня? Ъдемъ, что ли?
- То-то, любезнъйшій, не могу; экстренная бумага, поджогъ... скакать приходится...
 - Поджогъ подождетъ, пустяки!
- Нельзя-съ... И чортъ сунулъ мерзавца поджечь именно вчера!
- Дѣло не убѣжитъ... Прокатимся, выпьемъ, пулечку составимъ... Нельзя же такъ, не ознаменовавши торжественнаго дня.
- Не могу... Радъ бы самъ, да невозможно... Послалъ за лошадьми, черезъ часъ ъду...

Почтмейстеръ замолкъ и вздохнулъ.

— Охъ, времена, времена! Бывало, лѣтъ пять-шесть тому назадъ, насильно насъ приходилось отъ веленаго поля отгонять. Цѣлыя ночи просиживали! А теперь насилу партію-то составишь, да и то... Эхъ!

Почтмейстеръ опять вздохнулъ.

- Ну, а какъ же, справлять годовщину-то совсѣмъ не будете? Такъ-таки ничѣмъ и не ознаменуете? И этой телеграммы, какъ въ прошломъ году, посылать и спрыскивать не будете?
- Телеграмму пошлемъ... Докторъ, поди, ужъ отправилъ.

— Ну, счастливаго пути! Я забѣгу къ Петру Петровичу-то; тутъ вѣдь по пути.

Почтмейстеръ вяло пожалъ руку слъдователю и побрелъ къ больницъ.

- Эй! господинъ врачъ! крикнулъ онъ, подойдя къ окну больницы,—небойсь, людей морите, а про свою альму-матерь забыли?!
 - Кто тамъ? Что вамъ угодно?

Изъ окна выглянула недовольная физіономія доктора.

- Здравствуйте!
- Мое почтенье!
- Годовщину-то будемъ справлять?
- Какую еще годовщину?
- Ай-ай, молодой человъкъ! Стыдно! Забыли свой храмъ науки? Публика на Ключъ собирается... А по мнѣ, чего лучше,—въ клубѣ?.. Чаю-то и въ клубѣ прекрасно выпьемъ... Охота за семь верстъ киселя хлебать!.. Пулечку бы составили...
- Извините, мнѣ не до пулечки. Операцію сейчасъ начну дѣлать.
 - Плюньте, дъло не уйдетъ.
 - До свиданья-съ.

И физіономія доктора скрылась.

Почтмейстеръ поникъ головой и побрелъ прочь отъ больницы.

— Ну, и молодежь нынче! — прошепталъ онъ, поматывая головою, и направился провъдать Илью Ильича.

Не прошло и четверти часа, какъ по мосту, черезъ ръчку Сердянку, проскакала, громко стуча коваными копытами, тройка земскихъ лошадокъ и, вихремъ взлетъвъ нъ горку, съ шикомъ понеслась по направленію къ больницъ.

Въ тарантасъ сидълъ Тычкинъ и ухмылялся отъ удовольствія, которое онъ ощущаль отъ быстрой скачки.

— Tnpy! — теноромъ выпустилъ молодцоватый кудрявый парень на козлахъ и разомъ осадилъ борзыхъ коней.

Изъ тарантаса ловко выскочилъ Тычкинъ и очень граціозно вбѣжалъ по лѣстницѣ на крыльцо больницы.

— Докторъ! я отъ дъвицъ... Прибылъ съ порученіемъ тащить васъ во что бы то ни стало. Сегодня именины вашего... какъ его?.. Беремъ гитару, закусочку... Изобиліе женскаго пола... Безъ женщины мужчина, какъ безъ паровъ машина...—заговорилъ Тычкинъ.

Докторъ сдълалъ омерзительно-кислую физіономію. Оторвавшись отъ какой-то склянки, онъ такъ сердито посмотрълъ на Тычкина, что тотъ сразу потерялъ игривость, смутился и спутался.

- Вы нездоровы? серьезно спросиль докторъ, устремивъ испытующій взглядъ на гостя.
 - Мерси. Я совершенно... Я...
- Благодарить нечего... Я спрашиваю: чѣмъ вы нездоровы?
- Да что вы?.. Я вполнъ здравствую-съ... Я отъ дъвицъ...
- Здѣсь, господинъ Тычкинъ, больница и сюда приходятъ лѣчиться. Только лѣчиться... Отъ дѣвицъ вы или отъ пожилыхъ дамъ—это до меня не касается.
- При исполненіи служебныхъ обязаннестей?— перебилъ Тычкинъ неувъреннымъ тономъ, который явно говорилъ о томъ, что онъ не знаетъ, что дълать: обижаться или принять все за простую шутку
 - Совершенно върно... Ну-съ? Что же вамъ угодно?
- Что вы, докторъ! Сегодня въдь годовщина,—забыли?
- -- Какая-съ... Вы-то о чемъ хлопочете? Вы-то тутъ при чемъ?
- То-есть какъ это "при чемъ"? При томъ же, при чемъ и вся компанія.

— Прошу васъ оставить меня въ покоъ... Не мъшать мнъ... До свиданья!

И докторъ отвернулся и опять сталъ болтать что-то въ склянкъ.

Тычкинъ нѣсколько мгновеній стоялъ, пораженный, на мѣстѣ, потомъ откашлянулся и быстро вышелъ.

— Нигилизмъ... — прошепталъ онъ, скрываясь за дверью.

Векочивъ въ тарантасъ, Тычкинъ крикнулъ:

— Пошелъ!..

А докторъ бъгалъ изъ угла въ уголъ и теребилъ свою, и безъ того уже ръденькую, бороденку такъ не милосердно, что, казалось, имълъ намъреніе выдрать ее окончательно.

- Чорть знаеть, что такое!.. Никакого покою не дають... Годовщина, дѣвицы, почтмейстеръ, Тычкинъ... Нѣтъ, это невозможно!.. Брошу, брошу, брошу!! Все брошу и...
- Что, батенька, не надумали?.. раздался подъ окномъ голосъ запыхавшагося почтмейстера. Мы ъдемъ... сейчасъ...
 - Ахъ, подите вы всъ... къ чорту!

И почтмейстеръ услыхалъ, какъ что-то стеклянное упало и разбилось вдребезги...

"Тяжелый человѣкъ... съ ума сходитъ совсѣмъ", подумалъ онъ и больше не заговаривалъ. Отирая платкомъ потъ съ лица, онъ зашагалъ дальше, и, когда докторъ посмотрѣлъ въ окно, то увидѣлъ лишь его спину, широкую соломенную шляпу и широкія же, раздувающіяся и треплющіяся парусиновыя панталоны.

— Фальстафъ проклятый! — сквозь зубы произнесъ докторъ и съ сердцемъ захлопнулъ окно и заперъ его на задвижку.

"Студеный Ключъ"--чудесное мъстечко!

Въ котловинъ, между капризныхъ, поросшихъ дубнякомъ и калиною, горокъ и буераковъ, открывается пестръющій цвътами дужокъ. По срединъ его, скользя по камешкамъ и песочку, бъжитъ журчащій колокольчикомъ ручеекъ студеной и прозрачной, какъ горный хрусталь, воды. Вдали, на пригоркъ, подъ тънью небольшой группы кудрявыхъ березокъ, стоитъ старая полуразвалившаяся часовенька, а рядомъ съ нею—колодецъ. Вода въ немъ до такой степени прозрачна, что вы видите, какъ со дна, будоража желтый песочекъ, выпрыгиваютъ вверхъ тонкія струйки-ключики. Мъстечко дикое, безлюдное. Развъ изръдка только сюда заходятъ собирающія малину дъвчата, да подпасокъ забъжитъ, чтобы, перегнувшись черезъ срубъ колодца, утолить свою жажду холодной и вкусной водою.

Здѣсь-то и собрались наши знакомцы съ цѣлью отпраздновать годовщину.

На двухъ разостланныхъ по лужку коврахъ, въ разныхъ позахъ и положеніяхъ, возсѣдали торжествующіе. Тычкинъ, въ безукоризненно-бѣломъ кителѣ, съ молодцовато откинутой на затылокъ фуражкою, что-то шепталъ Наденькѣ Недоносковой. Наденька сидѣла, подобравъ подъ себя ноги, и то и дѣло всныхивала яркимъ стыдливымъ румянцемъ. Почтмейстеръ Мямлинъ косился на сторону молодой парочки и чесаль за ухомъ. Ему хотѣлось присоединиться къ остроумному занимателю женскаго пола, но онъ никакъ не могъ придумать, съ чего бы это начать разговоръ.

Марья Гавриловна гуляла подъ руку съ женой мирового и разсказывала ей, видимо, что-то очень интересное, такъ какъ та поминутно восклицала:

— Да что вы?.. Да не можеть быть?..

Мировой сидълъ съ Варенькой Недоносковой и жаловался ей, какъ трудно быть мировымъ, въ доказательство чего приводилъ какую-то замысловатую кляузу,

которую даже и сто мировыхъ не могли бы разрѣшить безъ того, чтобы не посадить подъ арестъ обѣ тяжущіяся стороны. Варенька показывала видъ, что слушаеть и сочувствуеть, но, въ сущности, ничего не понимала: она искоса посматривала въ сторону сестры и Тычкина, и сердце ея ныло отъ ревности.

Молодой секретарь полиціи Травкинь очутился какимъ-то образомъ здёсь же, въ числё празднующихъ годовщину. Онъ чувствовалъ себя не совсёмъ ловко и поминутно говорилъ:

— Мерси-съ... я ничего... не безпокойтесь...

Хотя о немъ ръшительно никто не безпокоился.

Зато не было ни следователя, ни доктора.

-- Жарковато! -- уже нъсколько разъ повторилъ почтмейстеръ, желая присоединиться къ разговору съ Наденькой. Но всъ его заряды пропадали даромъ: Наденька и Тычкинъ были заняты исключительно другъ другомъ.

Неуклюжій и неповоротливый сотскій возился около самовара, раздувая его своими крѣпкими легкими.

- Дурракъ! Сними сапогъ да и валяй! небрежно крикнулъ Тычкинъ въ одну изъ паузъ разговора съ Наденькой, когда особенно сильно донеслось это раздуваніе за кустикомъ.
- Да сапоговъ-то вашеско-благородье, нътъ... въ лаптяхъ мы!—отвътилъ сотскій.

Всъ расхохотались.

Секретарь полиціи не замедлилъ доказать свою деликатность и "готовность": скорчившись, онъ моментально стащилъ съ ноги сапогъ и, пустивъ имъ въмужика, крикнулъ:

- Держи!
- Ахъ, не пымалъ!.. Ахъ, ты...—испуганно шепталъ мужикъ, не успъвши схватить сапогъ Травкина, и виновато улыбался.

Мировиха и Марья Гавриловна, переговоривши о

вевхъ выдающихся "злобахъ", занялись приготовленіемъ къ чаю.

Изъ близъ стоявшихъ тарантасовъ онѣ вынимали узелки и свертки, бутылки, кедровые орѣхи, мятные пряники и т. п.

Варенька, воспользовавшись удобнымъ случаемъ, бросила своего скучнаго собесъдника и тоже занялась хозяйствомъ.

Скоро разостланная по ковру бѣлая скатерть была заставлена всевозможными яствами и питіями. Мужикъ вскипятиль съ помощью сапога самоваръ и, по примѣру секретаря, бросилъ сапогъ обратно, крикнувши тоже:

— Держи!

Но сапогъ полетѣлъ по кривой и чуть не сшибъ шляпу Наденьки.

- Ахъ!
- Ай!!! завизжали дамы.

Подавая готовый самоваръ, импровизированный слуга сдълалъ новую неловкость: онъ залъзъ съ лаптями на скатерть и очень изумился, когда сдълали ему выговоръ.

- Какъ же, барыня? Приказали на середку поставить, а идти не велите?
 - Не разсуждать!..-крикнулъ Тычкинъ.
- Хитры больно,—бормоталъ сотскій:—поставь имъ на середку, а самъ стой на краешкъ!

Нъсколько стакановъ чаю съ коньякомъ развязали языки кавалеровъ и устранили то неловкое положеніе, въ которомъ чувствовали себя вст торжествующіе, за исключеніемъ, впрочемъ, Тычкина, всегда веселаго, развязнаго и находчиваго. Теперь даже и секретарь полиціи почувствовалъ себя, какъ дома. Онъ игралъ съ Варенькою въ "четъ или нечетъ?" и беззаботно каламбурилъ.

Звонъ стакановъ, щелканье пробокъ, веселый звон-

кій смѣхъ Наденьки и остроуміе Тычкина сплотили все общество воедино. Никто ни о чемъ не жалѣлъ, только одна Марья Гавриловна вспомнила доктора:

- Не повхалъ, чтобъ ему!.. Упрямый козелъ.
- Выпьемъ-ка лучше!

Мировой выпиль своей "хинной", дамы какого-то "кисленькаго", секретарь хлопнуль рюмку коньяку,—и торжество началось...

Секретарь затянуль было:

Пче-елка зла-та-аая... что...

Но Тычкинъ, вскочивъ съ мъста, крикнулъ:

- Силенція, господа!! По примѣру прошлыхъ лѣтъ намъ слѣдуетъ сперва спѣть эту... gaudeamus!.. Ну-ка, Илья Ильичъ! Затягивайте!
 - Валяйте, Илья Ильичъ!
 - Напъвъ-то знаемъ... докторъ его часто бунчитъ...

Мировой долго отказывался, но когда къ упрашивающимъ присоединилась и его собственная супруга и стала говорить: "Илюша, не кобенься!"—Илья Ильичъ откашлянулся и сиплымъ старческимъ голосомъ началъ:

Gau...

Хоръ подхватилъ недружно:

...deamus igitur...

Произошло нѣкоторое замѣшательство: никто не зналъ словъ и только мычалъ "тра-та-та".

- Ну васъ, съ этой иностранной пъсней!—крикнула Наденька:—споемъ-ка лучше русскую!
- Нельзя-съ! Въ годовщину, да не спъть эту пъсню!—возразилъ Тычкинъ.

Запѣли снова. Но дѣло не ладилось. Бросили.

- Выпьемъ лучше за здоровье нашего храма науки!—предложилъ Тычкинъ.
 - Выпьемъ, господа!

- Слъдуетъ!— отозвались съ разныхъ сторонъ мужскіе голоса.
- Рады случаю! укоризненно произнесла жена мирового.
- Какъ не выпить за альму-матерь, сказалъ ей почтмейстеръ: —у меня въ ней двоюродный брать кончилъ курсъ... Теперь три тысячи получаетъ... Съ именинницей васъ, Илья Ильичъ! Ура!
 - Ypppaaa!

Всъ, не исключая дъвицъ, прокричали "ура".

- За того, кто любить кого!—выступиль съ тостомъ секретарь полиціи.
- А вы погодите! остановилъ его Тычкинъ: теперь не время... Пообождите...

Секретарь убралъ руку съ рюмкой и выпилъ, ни съ къмъ не чокаясь, безъ всякихъ тостовъ.

А тосты слѣдовали за тостами, дошли и до "того, кто любитъ кого", и скоро компанія "начокалась".

Въ то время, какъ Марья Гавриловна и дъвицы играли съ Тычкинымъ и секретаремъ въ "горълки", почтмейстеръ сидълъ съ мировымъ поодаль и велъ разговоръ объ "alma mater".

Илья Ильичь, вспомнивь далекіе дни своего студенчества, размякь душою и со слезами на глазахъ разсказываль, какъ онъ сръзался на экзаменъ по римскому праву.

- -- A что это за штука такая? вставилъ вопросъ почтмейстеръ.
 - Какая?
 - А Римская-то?
- Гм... Римское право... пояснилъ захмелѣвшій Илья Ильичъ.
 - Ага!..-выпустилъ почтмейстеръ.
 - -- Марья Гавриловна! Вамъ горъть!
 - Ахъ!..
 - -- И-ихъ!..-визжали дъвицы...

Марья Гавриловна вцъпилась въ Тычкина, а Наденька не давала:

- -- Мой!
- Нътъ мой!-спорили дамы.
- 0, я, медамъ, съ наслажденіемъ разорвался бы для васъ на части, но, ей-Богу, не могу!— острилъ кавалеръ.
- Прросвъщеніе! говориль почтмейстерь мировому, —конечно, нъть словь, вещь это занятная... Только все-таки скажу: опасный народъ студенты, безпокойный! хоть взять прошлогодній случай... Ну, какого чорта дикаго имъ надо? Кончать курсь, поступять на мъста, жалованье приличное... Я воть, върите ли, Илья Ильичь, десять лъть служиль на 33 рубляхь! Да и теперь чуть хватаеть (почтмейстерь безнадежно махнуль рукой)... Говорять —правда, нъть ли? окладъ нашему брату хотять увеличить? Давно бы слъдовало...
- ...Бывало, бунчить погруженный въ воспоминанія мировой, не слушая собесъдника, бывало, гдъ-нибудь на чердачкъ, подъ крышей...
- Однимъ словомъ, дѣтишкамъ на молочишко не хватаетъ, продолжаетъ себѣ почтмейстеръ, не слушая мирового.

Скоро Илья Ильичъ окончательно ослабъ. Свалившись подъ березками, онъ началъ было пъть "gaudeamus", но языкъ ему не повиновался.

- Выпей вотъ!.. Натрескался!—злобно и вмъстъ съ тъмъ преданно шипъла его жена, тыкая въ ротъ супругу стаканъ съ холодной ключевой водой.
 - М-м-м...—мычалъ мировой.

А солнце уже давно закатилось, спряталось за лѣ-сомъ, и вечерняя мгла душистой прохладой напонла лѣтній воздухъ. "Задергали" коростели, застрекотали кузнечики, перепела закричали тамъ и сямъ свое "питьполоть! пить-полоть! Въ чистомъ эмалевомъ небѣ мигнула звѣздочка. Ночной хищникъ просвистѣлъ въ воз-

духѣ своими крыльями. И комаръ запищалъ надоѣдливо надъ ухомъ.

— Вп...п...рягай!.. Ж...иво —кричалъ Тычкинъ, покачиваясь на мъстъ.

Дамы, съ Марьей Гавриловной во главъ, стояли, сбившись въ кучку и разръшали вопросъ: идти ли имъ домой пъшкомъ, или согласиться доъхать съ мужчинами?..

Ночью по улицамъ Сердянска бѣшено мчались двъ тройки. Ямщикъ свистѣлъ "Соловьемъ-разбойникомъ", колокольчики пѣли и играли, собаки, сбѣжавшіяся со всегс города и гнавшіяся за тройками, страшно лаяли, а въ тарантасѣ смѣялись, визжали и пѣли пѣсни...

Обыватели, успъвшіе уже "залечь", пробуждались, открывали окна и, выглядывая на улицу заспанными физіономіями, недоумъвали: что бы могло это значить?

— Если свадьба—некому жениться... а если господа... не станутъ такъ скандалить...—размышляли со сна многія обывательскія головы.

Увлеченный газетами, докторъ сидълъ въ это время въ раздумъв.

- Gaudeamus igitur!—донеслось до его ушей. Онъ узналь въ этемъ голосъ Тычкина и вдругъ неистово расхохотался.
 - Мавра! Мавра!—закричалъ онъ свою кухарку. Мавра спала въ съняхъ "для прохлады" и, проснув-

Мавра спала въ съняхъ "для прохлады" и, проснувшись, сердито спросила:

- Чаво тебъ еще?
- Сходи за водкой!
- Что ты? Окстись!.. Кочета скоро запоють.
- Ничего, ступай! воть деньги!...

Ворча и охая, Мавра накинула сарафанишко и побъжала.

— На вотъ, охальникъ!—сказала она, ставя на столъ передъ докторомъ бутылку водки и кидая мѣдную сдачу. Докторъ молча налилъ и выпилъ. Потомъ походилъ

и еще выпить. Ему было грустно. Тоска сжимала сердце. Ему чего-то было жаль. Душа куда-то рвалась, куда-то просилась... Чувствовалось полное одиночество и утрата чего-то дорогого, близкаго, родного...

Выпьемъ мы-ы... за того...

бунчалъ тоскливо докторъ, ходя крупными шагами по комнатъ,

— "Выпьемъ!" — ворчала Мавра, ворочаясь въ съняхъ на подстилкъ.—Вздумалъ, когда выпить! Нашелъ время, нечего сказать...

Наша-а юность друзья-я-я, Пронесе-тся стрѣ-л-о-ою...

совству плаксиво тянулъ докторъ.

Проведемте-жъ, друзья, Эту ночь веселъ-е-ей...

"Весело!" — ворчала Мавра: — эко веселье напало, прости Господи!.. Не спится человъку...

И Мавра сладко зъвнула.

Вдругъ докторъ во все горло запълъ:

Gaudeamus igitur Juvenes dum su-mus!!...

Но сейчась же оборвался. Судороги сжали ему горло, и онъ захлебнулся въ слезахъ. Опустивши на столъ голову, онъ замолкъ, притихъ и лежалъ долгодолго...

А пътухи уже пропъли, на горизонтъ сверкнула узкая золотая ленточка утренней зари...

въ лъсу.

(Въ лѣтопись голоднаго года).

I.

Поднимался буранъ...

Усталыя лошадки едва выволакивали неуклюжія "розвальни" изъ сугробовъ рыхлаго снѣга, поминутно вязли и останавливались. Цѣлыя горы снѣга со скрипомъ вылѣзали изъ-подъ передковъ саней и, какъ волны, разсѣкаемыя носомъ парохода, ложились по обѣимъ сторонамъ, убѣгая назадъ... Полозья саней жалобно повизгивали, кузовъ потрескивалъ, а Өома спрыгивалъ съ облучка и, помогая своимъ усталымъ клячамъ, припрягался самолично сбоку, въ качествѣ второй пристяжки, и задушевно-уныло покрикивалъ своимъ слабымъ и сиплымъ теноркомъ:

— Ого-го, Боговы!...

И свистьлъ продолжительной трелью...

Впрочемъ, и крикъ, и свистъ Фомы теперь совершенно терялись, уносимые вътромъ, и казались такими же жалкими, ничтожными, какимъ выглядывалъ и самъ Фома... Хотя Фома и сидълъ на облучкъ, но онъ вовсе не былъ "въ тулупъ и красномъ кушачкъ": на Фомъ былъ обыкновенный мужицкій кафтанъ кофейнаго цвъта и съ дырами, чрезъ которыя синъла пестрядина мужицкой "тужурки" на облъзшемъ овечьемъ мъху; на

Чириковъ. Т. I.

рукахъ Өомы были закорузлыя великаны-рукавицы съ однимъ неподвижнымъ пальцемъ, на ногахъ—трепавшіеся отъ вѣтра синіе штаны, онучи и облѣпленные снѣгомъ лапти, а на шеѣ—грязный, красный платокъ; голова Өомы казалась огромной отъ нахлобученной шапки, изъ-подъ которой былъ виденъ только одинъ носъ да заиндивѣвшіе усы съ бороденкой... Эта бороденка "клинышкомъ" трепалась отъ вѣтра изъ стороны въ сторону вмѣстѣ съ концами шейнаго платка... Вообще, въ этомъ безбрежномъ океанѣ снѣга, въ этомъ безлюдномъ царствѣ бурана, фигура Өомы казалась миніатюрной и ничтожной былинкой, которую ежеминутно можетъ сдуть могучій и злобный порывъ метели и безпощадно, безслѣдно уничтожить разгулявшійся въ полѣ буранъ.

— Нно, Боговы!.. И-эхъ, погодка же, въ роть ей каши немазаной!.. Нно, милыя!..

Слабо брякнулъ колокольчикъ; казалось, онъ прозвучалъ гдъ-то далеко-далеко—и лошадки стали.

— На вотъ! Не-йдутъ... Нно!.. Гдъ у васъ совъстьто? — возмущенно произнесъ Θ ома и огрълъ кнутомъ пристяжную.

Пристяжка рванулась внередъ, дернула сани, но и только... Она стала поперекъ дороги и съ упрекомъ обернулась на Өому; потомъ мотнула хвостомъ и начала что-то шептать на ухо угрюмому кореннику.

- Кобыла, такъ кобыла она и есть,—печально произнесъ Өома и спрыгнулъ съ облучка.
- Эхъ, голова!.. Надо быть, безъ пути ъдемъ, грустно, но покорно добавилъ онъ и, сдвинувъ со лба свое "воронье гиъздо", сталъ обозръвать окрестности.
- Ничаво не видать, т. е. ни зги!.. чисто! Эка оказія... а!..

Уже начало смеркаться, и разглядёть что-нибудь не было никакой возможности: въ воздухё кружились миріады сиёжныхъ хлопьевъ и носились облака "по-

роши", которая слъщила глаза не только намъ съ Өомой, но и лошаденкамъ...

- Безъ пути, это върно... Надо бы лъсу быть, а его непримътно... Все бы, чай, чернълся, маячилъ онъ, лъсъ-отъ...—проговорилъ Өома, похлопывая рукавицами, поправилъ шапку и добавилъ:
- Покурить надо... Закуривай-ка покуда что... А тамъ разсудимъ, какъ намъ съ тобой быть.

Өома сняль рукавицы, вытащиль изъ-за назухи кисеть, набиль трубочку "крошкой" и, присъвь возлъ саней, началь раскуривать и ругать вътерь, задувавній спичку.

- На вотъ! Опять! Не дуй, сдълай милость, повремени малость... Ахъ ты, въ ротъ тебъ каши немазаной!... Наконецъ, Өомъ удалось перехитрить вътеръ.
- Да-а, безъ пути... A ты что не раскуришь паперосочку?..

Видимо, Өома былъ весьма спокойнаго темперамента человъкъ: онъ не особенно тревожился тъмъ обстоятельствомъ, что мы сбились съ дороги, и совершенно равнодушно резонерствовалъ о лъшемъ и прочей "погани", съ которой ему доводилось-таки на своемъ въку имъть дъло, о какомъ-то казенномъ лъсъ и о хворостъ о какомъ-то "мошенствъ", о притворствъ своей пристяжки, которая "быдта везетъ, а сама только глаза отводитъ, постромки натягатъ", и т. д.

Совершенно другое настроеніе было у меня на душѣ. Ноги уже мерзли, лицо саднило, разбирала досада и на буранъ, и на Өому, и на его кобылу-притворщицу: говорить не было совсѣмъ охоты, хотѣлось поскорѣй въ тепло, къ огоньку, къ шипящему самоварчику...

Поэтому, я не безъ сердца отвътилъ:

- -- Нечего закуривать... Ъхать надо... Замерзъ я.
- Какъ не замерзнуть! Смотри, какъ разбушевала! Въдьмы въ чихарду играютъ... Ты вылъзъ бы да пъшечкомъ пошелъ, – духомъ нагрълся бы...

- Ъхать надо, а не вылъзать...
- Знамо, ѣхать... только вотъ куда ѣхать-то, милый?—спокойно проговорилъ Өома, поправляя шлею на коренникъ.
- Нно! Стой, что ли! Баловать!—прикрикнулъ онъ на "притворщицу".

Постоявъ еще нѣсколько минутъ въ раздумьи, Өома вдругъ рѣшительно прыгнулъ на облучокъ, подсѣлъ какъ-то бочкомъ, крикнулъ на лошадокъ, круто повернувъ ихъ влѣво,—и мы двинулись.

- Чай, куда-нибудь да прівдемъ же, произнесь онъ мнв въ утвшеніе.
- "Куда-нибудь"!—проворчалъ я.—А еще говоришь, что тебъ эта дорога "съ измальства" знакома!
- Знамо, съ измальства... Слава Богу, тажали достаточно... Не въ этакую непогодь доводилось.

Лошадки шли шажкомъ, понуривъ головы. Буранъ крутилъ въ воздухѣ снѣгомъ и хлесталъ по лицу иглами, свистѣлъ гдѣ-то вверху и бѣшено мчался дальше. Съ каждымъ новымъ порывомъ вьюги становилось какъ-то тревожнѣе на душѣ и настойчивѣе рисовалась въ мозгу картинка уютнаго семейнаго очага.

Не знаю, о чемъ думалъ Өома... Быть можеть, въ его воображении тоже вставалъ семейный очагъ, хотя и далеко неуютный: старая избенка, нетопленая печь, въчно скорбная больная жена Өекла, съ безмолвнымъ укоромъ судьбъ во взоръ и съ слабою надеждою на кого-то и на что-то въ глубинъ сердца, бълоголовый малецъ Микитка, съ большимъ отвислымъ животомъ и грязнымъ носомъ... А можетъ быть... впрочемъ, трудно сказать о томъ, что таилось теперь на душъ непризнаннаго "ъздока" Өомы... Только "розвальни" неожиданно ткнулись во что-то мягкое, Өому сбросило съ облучка, а лошади стали.

— Что случилось? — спросиль я, очнувшись отъ чуткой дорожной дремы и выглядывая однимъ гла-

вомъ въ оставленную въ башлыкъ для вентиляціи дырочку.

- На вотъ! сердито буркнулъ Өома, поднимаясь на ноги и отряхая рукавицей снъгъ съ кафтана.
 - Что такое?
- Увязли, братецъ... Ахъ, драть тебя съ хвоста, мягко, совсъмъ мягко... Плохи, братецъ, дъла наши... Сугробы, нътъ ни пути, ни дороги... Держи возжи!..
 - Ты куда же?
- Пойду—дорогу поищу... Тпру!—напутственно произнесъ Өома лошадкамъ и пошелъ прочь.

Лошадки проводили его взглядами и стали пофыркивать и "прясть" ушами... Донеслось нъсколько отрывочныхъ ворчаній удалявшагося Өомы, а потомъ остались только: буранъ, лошади и я...

Уже совсѣмъ стемнѣло. Вьюга не унималась. Вѣтеръ злобно налеталъ на лошадокъ, трепалъ имъ гривы и сыпалъ мнѣ за воротъ холодную "крупу". Розвальни стояли на боку, и мнѣ было неудобно сидѣть, однако я не рѣшался измѣнить положеніе, изъ боязни открыть вѣтру еще новые пути къ тѣлу, и застылъ въ позѣ падающаго куля съ мякиной.. Пристяжка изрѣдка оглядывалась на сани, какъ бы спрашивая меня, "что будетъ дальше и зачѣмъ ушелъ Өома", а я чувствовалъ къ ней нѣжность, какъ къ другу, съ которымъ связанъ общимъ несчастьемъ, одной бѣдою...

— Тпру, миленькая... Озябла? — спрашиваль я лошадку, а она въ отвътъ фыркала и мотала хвостомъ.

Прошло минуть десять, но мнѣ показалось, что я уже цѣлый часъ сижу въ одиночествѣ... Становилось немного жутко въ этой снѣговой пустынѣ, и я подумываль уже подать голосъ Өомѣ, ушедшему на поиски "жесткаго мѣста". Однако кричать было лѣнь, и я отложиль...

Прошло еще минуть пять... Я сталь уже бояться, что Өома ушель слишкомь далеко и можеть совсёмь

не возвратиться. Лошадки жались другь къ другу, и мнѣ казалось, что и лошадкамъ страшно и жутко... Я тревожно направляль взоры вправо и напрягалъ зрѣніе, томимый желаніемъ поскорѣе разглядѣть темный силуэтъ возвращающагося Фомы... Съ Фомой какъто спокойнѣе... Хилый невзрачный мужиченко, а когда онъ тутъ, рядомъ, дѣлаешься совсѣмъ храбрымъ.

Но вотъ лошади вздрогнули и брякнули колокольчиками. Вздрогнулъ и я.

— Лѣшій подшутиль— раздался вдругь голось Өомы близко-близко.— Только вреть, бабій сынъ, меня, брать, не обойдешь!...

Я обернулся. Оома стояль у лошадей. Страхъ исчевъ, тревога смънилась молчаливой благодарностью къ Оомъ.

- Что, Өома Иванычъ?
- Я, братецъ, Иванычемъ съ рожденія не быль... Я— Гарасимычъ, Өома Гарасимычъ, а Ивановъ это прозваніе мое, хвамелія, отвътилъ Өома, похлопывая рукавицами.
 - -- Нашелъ?
- Я да не найду!.. Тажали, слава тъ, Господи!... Только настоящей дороги все-таки нътъ...
 - -- Какъ же мы?
- Повдемъ... Тутъ къ людямъ попадемъ: на Воротниковскую дачу... Тамъ и заночуемъ... Тамъ двѣ избы новыхъ поставлены, приказчикъ живетъ, лѣсомъ торгуетъ. У него, братецъ, и самоварчикъ найдемъ, и водченки.
 - Далеко?
- Верстовъ шесть... Надо вотъ лошадей-то вывести. Ты ужъ, едълай милость, вылъзай: тяжело--сугробы.

Пришлось оставить теплое насиженное мъстечко. Өома оправилъ лошадокъ, выволокъ сани изъ сугроба, и мы двинулись.

Ноги вязли въ снъгу, вътеръ хлесталъ прямо по лицу, руки коченъли отъ холода... Но впереди открывалась пріятная перспектива погрѣться, закусить, выпить чайку и расправить одеревенѣвшіе члены... Оома вель лошадокъ подъ уздцы. Онъ шель крупнымъ тяжелымъ шагомъ впереди, я пледся за санями. Черезъ четверть часа мы выѣхали на "жесткое мѣсто",—глухую малоторную дорогу въ лѣсъ.

Поскринываніе саней, визжаніе подръзей, колокольчики, задушевныя покрикиванія Өомы, покачиваніе изъстороны въсторону,—все это дъйствовало такъ успоконтельно, такъ пріятно убаюкивало. Успокоенный, я снова потопулъ вътеплой енотовой шубъ, надвинульбашлыкъ и, закрывъ глаза, отдался сладкой дремотъ.

Я очнулся, когда мохнатая лапа сосны зацёпила меня за голову и осыпала снёгомъ... Мы ёхали уже лёсомъ. Дорога была такъ узка, что пушистыя вётви сосепъ висёли шатромъ надъ нашими головами и поминутно стряхивали на насъ снёжные хлопья. Казалось, лёсъ высился до самыхъ небесъ и стоялъ плотными стёнами по объимъ сторонамъ дороги. Ночная тънь затушевала вершины и прятала контуры и перспективу. Порой казалось, что ъхать некуда, —впереди сплошная снёговая преграда...

Здѣсь не было простора взбалмошному вѣтру, и онъ только изрѣдка врывался откуда-то сердитымъ порывомъ, крутилъ на мѣстѣ снѣгомъ и уносился къ небесамъ. Здѣсь было теплѣе и не ощущалось того жуткаго одиночества и безсилія, какъ то было въ чистомъ полѣ. среди безбрежнаго океана снѣговъ. Колокольчики звучали рѣзче и веселѣе, свистъ Өомы казался удалымъ, да и самъ Өома пріободрился и опять возобновилъ прерванные было разговоры со своими лошадками.

— Куда прешь?.. На-ко, на дерево лѣзетъ... Ослѣпла, что ли? Ну, прибавь, прибавь! О чемъ думаешь, непутная? выкинь изъ башки 'дурь-то... У-у!.. Чего испугалась? Пень это, дура... возьми зенки-то въ зубы!..

Я вслушивался въ эти разговоры и причитанія, въ тоны и переливы колокольчиковъ и бубенцовъ, въ поскрипываніе саней, — и забылся, улетѣлъ изъ міра дѣйствительности въ міръ грезъ... Въ сознаніи смутно ощущалось движеніе саней; порой казалось, что они катятся назадъ, и надо было употребить усиліе, чтобы разрушить эту иллюзію; порой чудилось, что мы поднимаемся въ гору, а гора такая крутая, что вдругъ все тѣло вздрагивало отъ испуга и инстинктивно порывалось впередъ, чтобы не упасть черезъ спинку саней. Голосъ бомы звучалъ все тише и дальше... И казалось, что мы ѣдемъ безконечно долго и никогда никуда не пріѣдемъ... Да и не хотѣлось пріѣзжать, а хотѣлось такъ воть сидѣть безъ движенія, безъ воли и покачиваться...

- Тпру!

Сани обо что-то стукнулись, а я стукнулся головой о спинку саней и раскрылъ отяжелъвшія въки...

- Вылазь! Прибыли...
- Что?
- Прибыли, говорю...

Ночь... Передъ глазами темнымъ расплывчатымъ контуромъ рисуется фасадъ избы съ двумя привътливо мигающими чрезъ окна огоньками. Свътъ падаетъ изъ оконъ двумя полосами на землю и по пути освъщаетъ лошадиный крупъ съ мотающимся хвостомъ, нагруженныя хворостомъ дровни, еще лошадь... Далъе — частъ сложенныхъ въ полънницы дровъ и штабелей лъса... На свътломъ фонъ оконъ вертятся и прыгаютъ бълые снъжные хлопья, а порой мелькаютъ силуэты человъческихъ головъ и рукъ... Лошадокъ тутъ много: слышно, какъ онъ позваниваютъ бубенчиками и пофыркиваютъ... Однако темень и пурга не позволяютъ видъть дальше нъсколькихъ шаговъ ръшительно ничего, кромъ какой-то бълесоватости туманныхъ пятенъ, — и приходится догадываться... Вотъ хлопнула дверь; — кто-то вышелъ

изъ избы. Слышно, какъ прошлепали мужицкіе лапти по лъстницъ и какъ они захрустьли по снъжку.

- Кто такіе будете? спросиль голось неизвъстнаго.
- Дальніе!—небрежно бросиль Өома, помогая мнъ вылъзть изъ саней.
 - По какимъ дъламъ? спросилъ голосъ.
- По собственнымъ, по своимъ...—уже съ досадою буркнулъ Өома.
- Такъ...—неопредъленно произнесъ голосъ, и лапти снова захрустъли по снъгу, а входная дверь кръпко хлопнула...
- Ну, пойдемъ къ Павлу Петровичу въ избу... Шагай за мной!—предложилъ Өома.

Мы направились къ крыльцу.

II.

Съ большимъ трудомъ отыскали мы дверь въ темныхъ съняхъ и вошли вмъстъ съ облаками ворвавшагося въ избу бълаго пара.

Изба была биткомъ набита: на лавкахъ вдоль стѣнъ, у стола въ переднемъ углу, на полу, на палатяхъ—всюду копошились люди. Головы, бороды, руки мелькали передъ глазами, а въ ушахъ стоялъ гамъ отъ нѣсколькихъ одновременно, разговаривающихъ, грубыхъ голосовъ... Какъ обухомъ, ударило по носу...

- Канпанія!—произнесь не безь юмора Өома, предварительно перекрестившись въ передній уголь.—Миръ вамъ! добавиль онъ, стряхивая со своей бороденки снъжныя сосульки.
- Подите-ка къ намъ!—отвѣтило нѣсколько голосовъ разомъ на это привѣтствіе.

"Канпанія" нѣсколько притихла, оживленіе сразу спало...

Насъ встрътилъ низенькій худощавый господинъ лътъ подъ сорокъ, въ сильно затасканомъ длиннопо-

ломъ сюртукъ и валеныхъ сапогахъ. Слегка прихрамывая на одну погу, онъ засуетился около меня и, както виновато улыбаясь, заговорилъ съ запинками:

- Милости прошу къ нашему шалашу... Раздъвайтесь!.. Тъсновато будетъ, да, слава Богу, мъста всъмъ хватитъ... Пропустите-ка, ребята!..
- Мы къ тебъ, Палъ Петровичъ!.. Лъшій насъ обошелъ, въ ротъ ему каши немазаной!..—сказалъ Өома.— Барина совсъмъ заморозилъ... Чай, отогръешь насъ съ нимъ?
- Пожалуйте, пожалуйте... ко мнѣ въ кабинетъ-съ... Здѣсь негдѣ, а тамъ все-таки поприличнѣе... торопливо заговорилъ Павелъ Петровичъ и не безъ нѣкоторой строгости замѣтилъ столпившимся мужикамъ:

— Дайте дорогу-то!

Кабинеть Павла Петровича отдёлялся отъ остальной избы легонькой переборкой и представлялъ собою обыкновенный "чулапъ" крестьянской хаты съ тою разницею, что здёсь были двери. Однако сюда уже вторглась нёкоторая культура: кровать съ тюфякомъ и подушкою, столъ, покрытый скатертью, лампа съ бёлымъ стекляннымъ абажуромъ, на стёнф — зеркало, ружье и олеографія картины Рёпина "Бурлаки".

— Выдь на Волгу-съ, чей стонъ раздается,—съ виноватою улыбкой замътилъ Павелъ Петровичъ, когда я остановилъ свой взоръ на этой картинъ...

Я промолчаль и лишь вопросительно взглянуль на Иавла Петровича...

- Бурлаки-събичевой идутъ... Въ прежніе годы-съ... счель необходимымъ пояснить, растерявшійся отъ моего вопросительнаго взгляда, Навелъ Петровичъ.
- -- Ты, Палъ Петровичъ, вотъ что: нечего тутъ картинки-то смотръть, водченкой угости, —промерзли, милый!—сказалъ стоявшій въ дверяхъ Өома.
- Ахъ, извините!.. Это можно... А... а... затрудняюсь назвать?

Я сказалъ свое имя...

- Садитесь къ столу... воть сюда!...

Павелъ Петровичъ взяль съ подоконника графинъ и поставилъ его передъ нами.

- -- И рюмочка вотъ!.. Одна только, ужъ не взыщите, въ лъсу живемъ...
- Была бы водка-то, а выпить сумвемъ,—замвтиль Өома, и, предвкушая грядущее удовольствіе, расправилъ двумя пальцами свои усы.

Выпили по рюмкѣ водки. Өома крякнулъ и вытеръ усы...

- Гдъ бралъ?..—спросилъ онъ зачъмъ-то, но, не дождавшись отвъта, пошелъ ставить самоваръ.
- У васъ и чтеніе имѣется? замѣтиль я, увидя на полкѣ нѣсколько книжекъ.
- Есть-есть... Обрывки-съ... Двѣ книги "Отечественныхъ Записочекъ", нашъ поэтъ Некрасовъ есть, Левъ Толстой томикъ...

Признаться, я быль поражень: въ этомъ глухомъ медвѣжьемъ углу, среди лѣсовъ, въ какой-то несчастной избенкѣ, при такой обстановкѣ и у такого, повидимому, очень незамысловатаго человѣчка, нахожу "Записочки" и "нашего поэта Некрасова".

Знакъ вопроса застылъ на моемъ лицѣ, и, когда Павелъ Петровичъ вышелъ изъ кабинета, а ома вернулся, я спросилъ:

- Кто онъ такой, хозяинъ-то?.. .
- Да онъ не хозяинъ, всего только приказчикъ...
- Нътъ, гдъ учился?..
- Онъ--ученый... Џоди, въ училищѣ учился... Гдѣ-окромя училища?— Человѣкъ хорошій...

Пока Павелъ Петровичъ объяснялся съ "канпаніей", а Өома хлопоталъ около самовара, я прилегъ на постель, съ удовольствіемъ задымилъ папироской и предался пріятному ощущенію теплоты, свѣта, уютности... Стоило закрыть глаза, и казалось, что снова ѣдешь куда-

то, только трешь спокойно, безъ тряски, какъ на мягкой койкъ въ вагонъ поъзда. За перегородкой понемногу возобновилось оживленіе, опять заговорили разомъ и безъ всякаго стъсненія... Одинъ осипшій тенорокъ ръзко выдълялся въ общемъ гамъ голосовъ, горячился и порой переходилъ въ какой-то жалобный визгъ.

— Нътъ такого закону... Не имъетъ никакого полнаго права...

- 0?

— Вотъ-те и "о"!.. Жалобу надо написать... Нешто это можно?.. Царская милость...

Прислушиваясь къ осипшему тенорку, я понялъ только, что волновавшимъ "канпанію" вопросомъ былъ какой-то хворостъ.

— Лѣсъ подъ бокомъ, а поѣзжай за двѣнадцать верстъ... Рази это правильно?—горячился тенорокъ, и въ моемъ воображеніи невольно рисовался захудалый плюгавенькій мужиченко съ козлиной бородкой, юркій, горячій, съ сверкающими глазками и размахивающими руками.

Павелъ Петровичъ пояснилъ мнѣ, въ чемъ заключалось дѣло.

Высочайше дарованную крестьянамь по случаю голодовки милость, заключавшуюся въ разрѣшеніи безвозмездно собирать для топлива хворость въ казенныхъ лѣсныхъ дачахъ, мѣстное начальство 1) свело, какъ говорится, на нѣтъ... Дѣло въ томъ, что "Высочайшая милость" вела за собою новыя хлопоты для лѣсной охраны... Пусти мужика въ лѣсъ, да не присмотри за нимъ, онъ и лыкъ надеретъ, и дровецъ нарубитъ, а то и цѣлое дерево свалитъ; между тѣмъ дарованное разрѣшеніе должно было только помочь дѣлу очистки лѣсныхъ дачъ отъ валежника, падали и мусора... Чѣмъ принимать на себя лишнюю обузу и хло-

¹⁾ Происходитъ въ Симбирской губ., Алатырскомъ увадъ.

поты по надзору за мужикомъ, лучше сдълать такъ. чтобы онъ, мужикъ, самъ отказался отъ дарованныхъ милостей. Такъ и сдълали: тъмъ крестьянамъ, у которыхъ имвется казенный лвсь подъ бокомъ, отвели для сбора хвороста и валежника участокъ версть за 15-20, а крестьянамъ, живущимъ въ окрестностяхъ этого последняго участка, "дозволили" брать хворость въ первомъ участкъ... Такимъ образомъ "милость" обратилась въ фикцію по существу, хотя на бумагъ оставалась неприкосновенною... Никто изъ мужиковъ фхать на своей голодной заморенной клячъ за возомъ дарового хвороста не пожелалъ, ибо слишкомъ дорого обощелся бы ему этотъ подарокъ; мужикъ предпочиталъ топить избу остатками плетней и тымь валежникомь, который продавался въ ближайшихъ частныхъ лесныхъ дачахъ весьма недорого... во всякомъ случав, дешевле "дарового-казеннаго"... Чтобы съвздить мужику за даровымъ топливомъ, надо было употребить почти двое сутокъ, въ теченіе которыхъ приходилось кормить себя и свою скотинку... Между тъмъ оборотливые совладъльцы открыли дешевую распродажу негоднаго лъсного матеріала (сушь, обгоръдый лъсъ, щепа), возъ котораго стоилъ всего какой-нибудь гривенникъ-пятиалтынный...

— Вотъ тебъ и самоварчикъ, — отогръвай душу-то! — сказалъ Оома, торжественно опуская на столъ небольшой пыхтъвшій самоварчикъ...

Принялись "отогръвать душу". при чемъ Павелъ Петровичъ предпочиталъ отогръвать свою душу посредствомъ графинчика. То и дъло "канпанія" требовала Павла Петровича къ себъ, и онъ возвращался къ намъ взволнованный.

- Тошно-съ, тошно-съ...—говорилъ онъ, дрожащей рукою наполняя рюмку.
- A позвольте спросить, гдѣ служите?—спросиль Павелъ Петровичъ.
 - -- Гм... Нигдъ не служу...

- Чъмъ же изволите заниматься?
- Чѣмъ придется...

Павелъ Петровичъ какъ-то сконфуженно улыбнулся.

— Вотъ такъ же, какъ я... Постояннаго занятія въ жизни не имълъ, а всю жизнь чъмъ-нибудь занимался. Къмъ только я не былъ-съ?! И въ "мальчикахъ", и по коммерческой части, и по водочному дълу, въ трактиръ сидълъ, и управляющимъ въ номерахъ былъ, и библіотекаремъ въ клубъ нашемъ былъ (въ уъздномъ городъ-съ)... А теперь вотъ, какъ изволите видъть, лъсъ продаю голодающимъ... Тошно, тяжело, а вотъ приходится: подневольный человъкъ-съ!...

Я вглядывался въ лицо Павла Петровича, въ худое, блѣдное лицо, съ рѣзко очерченными морщинами на лбу и въ углахъ рта, съ рѣденькой, подернутой сѣдиною, бородкой и съ дѣтски ясными добрыми глазами, совсѣмъ юными глазами, — и чѣмъ больше вглядывался, тѣмъ больше оно мнѣ нравилось...

- Своихъ средствъ никогда не имълъ, учиться было не на что, образованія никакого... Ну, и живи вотъ, какъ прикажуть... Всю-то жизнь свою прожилъ не для себя, да и не для хорошаго дъла, а такъ... зря прожилъ... Все словно изъ милости выходило... Самостоятельности въ жизни никогда не имълъ и настоящимъ человъкомъ никогда не былъ...
 - Какъ это "настоящимъ человъкомъ"?..
- А такъ, чтобы дѣло-то съ душой въ ладу было, чтобы все дѣлать по совѣсти и по разуму...
 - Почему же?
- Подневольный человъкъ-съ!.. Богатый сродственникъ воспиталъ, т. е. выкормилъ, а за это вотъ и помыкаетъ мной... Сунетъ туда, не гожусь, сунетъ сюда, то же... Не могъ всю жизнь къ чему-нибудь одному приспособиться; негоденъ ни къ какому дълу оказываюсь!.. Вотъ и теперь, послали деньгу зашибать, а мнъ, върите ли, тошно, изъ души претъ-съ!.. Это съ го-

лоднаго-то, ободраннаго, чуть-живого человѣка, брата своего во Христѣ, послѣдній пятиалтынный за возишко негодной рухляди тянуть?! Кровь въ немъ, въ этомъ пятиалтынномъ-то, вижу-съ... Серебренники это тѣ самые, за которые Іуда своего Учителя продалъ!..

— Палъ Петровичъ! Подь-ка сюда на часъ! — таинственнымъ шопотомъ произнесла заглянувшая въ кабинетъ физіономія "брата во Христъ".

Павелъ Петровичъ какъ-то сорвался съ мъста и вышелъ изъ "кабинета".

- Добрый человѣкъ! произнесъ Оома, сосредоточившій все свое вниманіе на блюдцѣ съ чаемъ.
- А ты его хорошо знаешь?
- Я-то? спросиль Өома, не измѣняя своего напряженнаго вниманія къ блюдечку, и, оторвавшись вдругь отъ него, тихо добавиль:
- Многіе его считають за поврежденнаго, придурковать, моль, а оно выходить наобороть! мудрости въ немъ сколь хочешь!.. И отъ доброты сердца да отъ большого ума на свътъ, братець, бываеть сиротка сума, такъ старики сказывають... Вотъ оно что! А ему, по настоящему-то, надо бы не хуже сродственниковъ жить...

Проговоривъ это, Өома опять обмакнулъ усы въ блюдечко съ чаемъ и уставился взоромъ на кончикъ своего обмороженнаго и обшелушившагося носа...

- А ему развъ плохо живется?..
- Какое житье?.. Въкъ свой прожиль, а своего угла нътъ... У собаки, братецъ, и у той свое мъстечко есть... Все изъ-за чужой спины гляди, такъ и помирай, съ чъмъ родился... Зашибать сталъ сильно: восейка я пріъхаль за дровишками, а онъ пластомъ лежитъ... Плачетъ... скулитъ, милый, ровно баба... Инда за сердце беретъ!..
 - О чемъ же?
 - Экій ты, братецъ мой!.. А затъмъ, что на недоброе

дъло поставили... Никита-то Захарычъ, сродственникъто его, норовитъ нынъшнимъ годкомъ попользоваться, ну?.. А Палъ Петровичъ долженъ его интересъ соблюдать. Вотъ ему и обидно; хошь, не хошь—а гръхъ на душу примай...

Въ кабинетъ вошелъ большой, серьезный песъ, кудрявый черный пудель, посмотрѣлъ на насъ, сладко зѣвнулъ и, понуривъ голову, какъ скучающій, не знающій, куда дѣть себя человѣкъ, лѣниво побрелъ кудато, видимо, совершенно безцѣльно.

— Другъ! Дружокъ!-позвалъ Өома собаку.

Пудель полуобернулся, вскинуль взоры на Өому, но сейчась же отвернулся и, не обративъ вниманія, вышель вонь.

- Умнѣющая собака! рекомендовалъ мнѣ Өома пуделя.
 - А что?
 - Очень просто: человъка спасъ!...
 - Какъ такъ?
- Очень просто!.. Замерзъ было восейка человъкъмужичекъ... Въ овражекъ попалъ да увязъ. Отъ дорогито всего сажень двадцать... A Палъ Петровичъ изъ городу фхалъ. Кобель, обыкновенно, позадь бъжалъ... Ночью... Только что вдругь Дружокъ лаять зачалъ. Побъжить, полаеть, и назадъ! Что за оказія? А тоже пурга была... Вътеръ... Свъту Божьяго не видно... Палъ Петровичъ сперва думалъ, - волкъ. Нътъ: не такъ брехать, проклятущій... Волка учуеть, —инда стонеть, визжить, а это-разовь пять брехнеть, да побъжить, -- воротится и опять на Павла Петровича брехать зачнеть... Взяль онъ ружье на всякій случай, пошель... Подошель къ овражку, что за штука? Чернъется что-то... Никакъ лошадь? Лошадь и есть... Увязла... Догадался Палъ Петровичъ, скричалъ Микитку, парня своего,--вытащили человъка. Совстмъ застывать кровь въ немъ стала. Отогръли. Онъ, знаешь, сперва-то все дошадь

хотълъ вытащить, бился-бился, усталъ... Видно, и самъотъ ужъ вылъзть не можетъ...

Пудель опять заглянулъ въ кабинетъ. Я невольно проникся къ этому псу уваженіемъ и какъ-то заискивающе обратился со своими ласками къ "герою". Пришелъ Павелъ Петровичъ. Его лицо и движенія отражали только-что пережитое "сильное ощущеніе": глаза какъ-то безпокойно перескакивали съ предмета на предметь, кисти рукъ потрясывались, а сами руки тыкались какъ-то машинально, невпопадъ...

- Что, бишь, я хотѣль? произнесь онъ, потирая лобъ, потомъ вспомнилъ, полъзъ въ карманъ, вытащиль оттуда какой-то темно-бурый комокъ и, сердито стукнувъ имъ о доску стола, сказалъ:
 - Намъ на закуску! Извольте откушать!

Я съ любопытствомъ взялъ въ руки этотъ твердый, какъ камень, комъ.

— Хлѣбецъ это-съ... Братья наши во Христѣ кушають,—съ горькой иропіей замѣтилъ Павелъ Петровичъ.—Не видали? Полюбопытствуйте! Собаки не жрутъ.. Ей-Богу!..

Съ этими словами онъ вырвалъ изъ моихъ рукъ "хлъбецъ" и свистнулъ:—Дружокъ!

Лохматый пудель охотно подошелъ къ хозяину и, любезно поматывая хвостомъ, ожидалъ дальнъйшихъ распоряженій.

— Пиль!—скомандовалъ Павелъ Петровичъ и бросилъ хлъбецъ на полъ.

Другъ понюхалъ кусокъ хлѣба, которымъ питаются наши братья во Христѣ, разочарованно отвернулся, потянулся и зѣвнулъ...

- Извольте видъть: не жреть!..
- Да...
- Ну, пиль!.. Жри!..

Пудель окончательно обидълся и тихо отошелъ въ уголъ.

- Не жретъ?..
- Да...
- Зайцовъ все, поди, лопаетъ, вставилъ Оома и вздохнулъ.

До сихъ поръ мнѣ приходилось только слышать и читать о "голодномъ хлѣбѣ"; теперь я видѣлъ его собственными глазами...

Да, я не повъриль бы, что это—хлъбъ, и что имъ питаются люди, такіе же люди, какъ и мы съ вами, если бы можно было не върить!.. Но не върить было нельзя, ибо этотъ хлъбъ употребляла въ пищу вся голодавшая за перегородкой "канпанія"...

— Вы позвольте мий этотъ кусочекъ... Я пошлю его, Павелъ Петровичъ, одному ученому человъку, профессору, для изслъдованія...

Павель Петровичь скептически улыбнулся.

— Конечно-съ, любопытно... Пусть полюбопытствуютъ... Можно и еще достать... Чего другого, а этой дряни—сколько вамъ угодно...

Павелъ Петровичъ засмѣялся и опять потянулся къ графинчику, а Өома тихонько всталъ съ мѣста и вышелъ къ "канпаніи". Я слышалъ, какъ онъ сдержаннымъ, но радостнымъ шопотомъ оповѣстилъ братьевъ во Христѣ:

— Хлѣбъ вашъ, робята, покупатъ баринъ!.. У кого что ни на есть пакостный—тащите, больше уплотитъ... Баринъ добрый... Ему любопытно... Самый пакостный!..

"Робята" быстро сообразили, въ чемъ дѣло. Они дружно зашевелились, зашентали и стали покашливать.

А Өома, желая замаскировать свое "подстрекательство", вышель изъ избы и долго не возвращался.

Между тъмъ "робята" уже приступили: въ дверь просунулась рыжая рябая физіономія и съ подобострастною, глуповатою улыбкою произнесла:

— Это еще ничаво, баринъ... А ты вонъ погляди энтотъ! На-ко!..

Рыжая физіономія просунула въ дверь мозолистую грязную руку и подала большой комокъ "голоднаго хлъба".

Дъйствительно, этотъ образецъ былъ еще интереснъе.

- Я у тебя маленько отломлю, а тебѣ воть гривенничекъ...
- Нашто "маленько"? Ты весь бери! Задешево отдамъ... Давай пятнадцать за весь!...
 - Куда мив!.. Мив кусочекъ только...

Мужиченко подошель ближе. Съ его физіономіи не сходила улыбка, которая казалась совершенно неум'єстной на этомъ худомъ, изможденномъ лиц'є землистаго цвъта, изрытомъ осною.

- Что, баринъ, хлѣбецъ покупашь?—произнесъ появившійся Өома и, вздохнувъ, добавилъ:
 - Лошадокъ провъдать ходилъ... Пуржитъ...

Получивъ, сверхъ ожиданія, двугривенный за кусочекъ своего хлѣба, рыжій мужиченко выпустиль какое-то междометіе и чмокнулъ губами.

— Благодаримъ!—сказалъ онъ и, почесывая въ затылкъ, нехотя вышелъ.

А въ дверь заглянула уже новая физіономія.

— Нѣтъ, ты, братецъ, вотъ энтотъ посмотри: пакостнѣй энтого нѣтъ ужъ!.. Не найдешь ужъ! Самый тебѣ подходящій, ежели для любопытства...

Я вскинуль глаза на вошедшаго и замѣтилъ, что за спиной его трется еще одинъ продавецъ "голоднаго хлѣба", который, въроятно, представитъ мнѣ еще болѣе "пакостный и подходящій для меня" образецъ.

- Вотъ что, мужички: вотъ вамъ еще полтинникъ и пусть всякій дастъ мнѣ по кусочку, а деньги раздѣлите, какъ знаете...
- Это обидно будеть, ваше степенство! выкрикнуль тоть самый осипшій тенорокь, который давеча горячился изъ-за хвороста.

- Вотъ тебъ и разъ! отвътилъ я, пораженный оборотомъ дъла.
- Да какъ же?.. Насъ теперича всѣхъ еще девять человѣкъ... Ты одному двугривенный далъ, а намъ всѣмъ-то полтину... Не подойдетъ...
- A ты—будетъ!... Не болтай зря!..—послышались голоса, вразумлявшіе горячаго мужиченку.
- Не подходить... Надо по-божески!—не унимался мужиченко.

Началось галдъніе. Өома вступился въ дъло.

— Что вы?.. Даетъ полтину, — и бери!.. Нешто на базаръ́?!

Положеніе мое было поистин'я комичное... Я попросиль Фому отдать "канпаніи" рублевку и дать мнів, считая по двугривенному за образець, еще пять кусковь голоднаго хліба. Тогда весь вопрось уже перешель на разрішеніе исключительно "канпаніи", а я остался въ сторонів. Долго продолжалось въ избів галдініе, шумь и ругань; наконець, вопрось разрішили: я получиль еще девять образцовь, а цілковый быль разділень поровну, при чемь, чтобы никому не было обидно, продавцы возвратили мнів копілітку серебромъ.

— Тебъ... сдачи!—сказалъ Өома.

Такимъ образомъ, у меня составилась цѣлая коллекція "голоднаго хлѣба". Однако большого разнообразія въ этой коллекціи не было и, хотя каждый убѣдительно говорилъ, что "энтотъ еще пакостнѣй", но, въ сущности, всѣ образцы были одинаково пакостны, и рѣшить, который изъ нихъ былъ пакостнѣе, можно было только путемъ химическаго анализа.

Өома бралъ въ руки то одинъ, то другой кусокъ хлѣба, разсматривалъ, нюхалъ и глубокомысленно резюмировалъ:

- Камень!
- -- Кизякъ, больше ничаво!.. Ахъ, братецъ мой, гръхъ какой...

- Ты мало взяль, закончиль Өома, обратившись ко мнъ.
 - Зачъмъ мнъ? Куда?
- Куда!.. Для знакомыхъ, для пріятелевъ купиль бы... Въ подарокъ... Раздѣлили бы промежду господами, которымъ любопытно... За двугривенный въ городу не купишь его...

А Павелъ Петровичъ незамътно наливалъ изъ графинчика рюмку за рюмкой, опрокидывалъ ихъ въ ротъ и тихонько, осторожно отставлялъ въ сторонку.

— Несправедливо-съ... Гръщно-съ...—говорилъ онъ и начиналъ очень плохо декламировать: "Назови мнъ такую обитель"...

Өома, при всемъ желаніи, не могъ больше пить чай (не дъзло больше) и, вспотъвшій и красный, сидъль за столомъ съ тупымъ посоловълымъ взоромъ, устремленнымъ на поверхность самовара... Долго онъ сидълъ такъ, безъ движенія, въ глубокомъ молчаніи; наконецъ, неожиданно разсмъялся и сказалъ:

— Рожа-то какая показывать въ самоваръ!.. a? Оказія, братецъ мой!..

III.

Было далеко за полночь.

Въ передней избъ уже висъть дружный храпъ "братьевъ во Христъ", а мы съ Павломъ Петровичемъ все еще не окончили разговоровъ. Мой собесъдникъ сильно захмелълъ, и это сдълало его чрезвычайно общительнымъ и словоохотливымъ. Наболъвшая въ долгомъ нравственномъ одиночествъ душа его, видимо, чувствовала страстную потребность передъ къмъ-нибудь "излиться", — и Павелъ Петровичъ не смолкалъ, утоляя эту духовную жажду... Легко было замътить, что вся "горечь души" сосредоточивалась у него на одномъ пунктъ, вертълась вокругъ одной главной точки: "нельзя человъку жить по совъсти"...

— Батюшка вы мой!—говорилъ Павелъ Петровичъ, понуривъ голову:—да развъ я сталъ бы такимъ дъломъ заниматься, какимъ теперь приходится?.. Эхъ, если бы вотъ сейчасъ вы могли въ душу мою заглянуть!.. Ушелъ бы... бросилъ бы... да куда? Куда уйти... Некуда бъдному человъку уйти: куда не ткнисъ, все попадешь въ услуженіе, все придется отъ зла жить и отъ неправды кормиться... Еще съ образованіемъ кое-какъ можно бы... И то спрошу васъ: много ли образованныхъ людей настоящей-то правдъ служатъ?.. Мало, батюшка мой!.. Больше и они—въ услуженіи... Рабы-съ!..

Павелъ Петровичъ выкрикнулъ послѣднее слово и сильно стукнулъ кулакомъ по доскѣ стола.

Проснулся лохматый песъ, посмотрълъ соннымъ взоромъ на Павла Петровича и, успокоившись, снова спряталъ морду... Кто-то изъ "братьевъ во Христъ" глубоко вздохнулъ и зашепталъ въ просоныи слова молитвы. Маленькіе стѣнные часы застукали маятникомъ какъ-то рѣзче, тревожнѣе въ наступившей тишинъ... Прошло нѣсколько минутъ въ обоюдномъ молчаніи.

- Глухо, батюшка мой, по нашимъ мъстамъ, -- началъ Павелъ Петровичъ нѣсколько упавшимъ голосомъ:--никакихъ заработковъ нътъ, народъ очень темный, мордвы много... А тутъ неурожаи да неурожаи, полное разореніе... Надъялись на жельзную дорогу, вотъ, молъ, строить будутъ, -- всъмъ работа достанется, всв сыты будуть... Сколько разговоровъ было, сколько въ газетахъ писали, - обнадеживали... А оно вышло вонъ какъ: работай, почитай, даромъ... И тутъ голоднымъ годомъ пользовались... Стало быть, ужъ нельзя было работать, если нашъ мордвинъ, глуный, терпъливый, запуганный-съ, съ работы бъгалъ-съ?! На хлъбъ не хватало... двугривенный за цёлыя сутки платили,воть, какъ бывало! А хлъбецъ-то, сами знаете, сколько стоиль въ глухихъ мъстахъ!.. Два двугривенныхъ человъку съ лошадью платили!.. А кормъ-то для скотины

чего стоиль?.. Голодную дорогу строили поистинъ-съ... Цълыми артелями народъ бъжалъ!.. Вотъ они, заработки-то!.. Да-съ, "милый папаша-съ, зачъмъ въ обаяніи вашего Ваню держать-съ". Потомъ и кровью эта дорожка полита... Зато господа инженеры пировали, по двънадцати да по двадцати тысячъ преміи получили! А откуда, позвольте спросить, эта премія-съ?.. Изъ барышей? А откуда-съ эти барыши да экономіи?.. а? Вотъ то-то и есть... А въдь народъ образованный дълами завъдывалъ... Тутъ и инженеры, и техники, и доктора... Сколько народу на постройкъ изуродовало: кого на смерть, кому руку, кому ногу... И все выходило. что по собственной неосторожности!.. Ни одного случая не было по ихъ неосторожности!.. Изуродують человъка, сейчась въ свою больницу, къ своему фельдшеру или доктору... Актъ тамъ или протоколъ какой-то составятъ... Все свои люди, другъ дружку уважають, въ картишки вмъстъ хлыщатся, партнеры... И все выходить, что самъ виноватъ: не суйся! Скажи спасибо, что на свой счеть руку тебъ отпилять или похоронять, а ужь если красненькую на поминъ души родителямъ дадуть чистое благодъяніе!.. А почему?.. Некому заступиться: всв въ услужении...

Павелъ Петровичъ замолкъ. За окномъ попрежнему бушевала непогода. Вътеръ билъ въ стекла снъгомъ и жалобно плакалъ о чемъ-то. Ставень методично постукивалъ, словно путникъ, просившійся въ избу заночевать и укрыться отъ бурана...

Кто-то завозился въ сѣняхъ, пристукнулъ снѣжными лаптями и отворилъ дверь.

— Кого-то еще Богъ послалъ,—сказалъ Павелъ Петровичъ.

Вошедшій покряхтьль и началь что-то шептать...

Павелъ Петровичъ вышелъ изъ "кабинета".

За перегородкой начался малопонятный для меня разговоръ по-русски и по-мордовски вперемежку. По

слезливому тону и вздохамъ мордвина пока можно было заключить только о томъ, что его постигло какоето страшное несчастіе...

- Пуланка помрилъ, тенька фесь пошелъ...
- Хм... да... хм...
- Ай, бачька, польно тфой просимъ: тафай минъ тенька... Ай, бачька, пожалуста, тафай!...

Когда я вышелъ въ переднюю избу, моимъ глазамъ предстала слъдующая картина:

Маленькій тщедушный человічекь валялся во прахів, у ногь Павла Петровича, и стукался головой о поль... Павель Петровичь, наклонившись, старался поднять этого жалкаго человіка на ноги, а стоявшій позади "Дружокъ" старательно обнюхиваль его съ разныхъ сторонь.

- Ну, вставай!..—убъждалъ Павелъ Петровичъ.
- Ай, бачька, не пуду фстафать... Пожалуста, тенька тафай...
- Отдамъ, говорю!—закричалъ Павелъ Петровичъ, совершенно выведенный изъ терпънія.

Окрикъ Павла Петровича разбудилъ кое-кого изъ спавшихъ на полу въ повалку "братьевъ во Христъ". Двое-трое тревожно приподняли головы, но сейчасъ же опять опустили ихъ на руки; одинъ даже привскочилъ и, усъвшись на мъстъ, началъ объими руками чесать свою голову...

- Али померъ кто? спросилъ онъ послѣ продолжительнаго чесанія.
- Лошадь пала, слышишь? пояснилъ лежавшій на брюхѣ сосѣдъ.
 - Перцу бы всыпать ей!.. Живо встала бы...
- Ты дуракъ али умный?.. Лошадь съ голоду околъваеть, а ты—"пер-цу"!.
 - Софсъмъ помрилъ, бачька... Карачунъ пришелъ...
- Видишь: издохла, а ты перцу!.. Жрать нечего, такъ сколь ни сыпь тебъ перцу, плясать не будешь... Перцу!.. выдумалъ!..

Павелъ Петровичъ сунулъ въ руку мордвина пятиалтынный, и несчастный человъкъ часто-часто застукался лбомъ о доски пола и началъ ловить руками валеный сапогъ Павла Петровича съ явнымъ намъреніемъ поцъловать этотъ грязный сапогъ.

Что-то невыразимо-тяжелое, удручающе - оскорбительное скользнуло мнѣ въ душу при видѣ этой сцены и какъ-то стыдно стало передъ этимъ жалкимъ мордвиномъ...

Онъ прівзжаль на хуторъ за хворостомъ, купиль возь его за пятналтынный и повхаль, разсчитывая вернуться къ ночи домой. Но до дому онъ не довхаль, такъ какъ заморенная лошаденка упала на дорогѣ и рѣшительно отказалась вставать... Мордвинъ возился около нея до вечера—и билъ, и гладилъ, ругалъ и усовѣщевалъ; но кляча только тяжело отдувалась и грустно смотрѣла на своего "Василь Ифаныча".

Когда "Василь Ифанычъ" понялъ, что кляча околъваетъ, онъ сталъ просить Кереметь прогнать смерть отъ лошади, но, когда увидълъ, что кляча издохла, сталъ съ плачемъ бъгать вокругъ нея и причитатъ... До сумерекъ онъ плакалъ, а потомъ вспомнилъ, что теперь и пятиалтыннаго нътъ... Вспомнилъ и воротился къ Павлу Петровичу, умоляя его отдать "тенька"...

Такова эта драма, маленькая обыденная драма ни-чтожнаго человъка...

Дома—голодная семья... У "Василь Ифаныча" полна изба мордвинять; печь не топлена, въ избъ холодно... Всъ ждуть "Василь Ифаныча": онъ привезеть дровь, затопять печь и сварять горячую похлебку изъ отрубей...

Но теперь все рушилось: пала послѣдняя животинка, и напрасно пропалъ послѣдній пятиалтынный... Нѣтъ "Буланки", нѣтъ дровишекъ и нѣтъ "тенька"...

Герой этой незамысловатой драмы стоитъ посреди избы, смиренный и прищибленный несчастіемъ... Тупо смотрить онъ своими слезящимися глазами въ землю,

безсвязно шепчетъ что-то губами и, падая на колъни, молитъ о возвращении ему пятиалтыннаго... Теперь несчастному мордвину кажется, что все спасение его—въ этомъ пятиалтынномъ, и онъ ползаетъ по полу и ловитъ валеный сапогъ своего "брата во Христъ" для лобызанія...

Плохо спалось мить въ эту ночь, долго я возился съ боку на бокъ на скрипучей постели... Метель выводила заунывныя нотки какой-то тоскливой птени; ставень какъ-то судорожно постукиваль въ сттику, а "братья во Христъ" что-то шептали въ просоньи и дышали тяжело, со стономъ...

И въ этой похоронной мелодіи завывавшаго вътра, и въ этихъ, словно отъ души отрывавшихся, вздохахъ и стонахъ голодающихъ братьевъ моя совъсть слышала какой-то упрекъ, какую-то жалобу... Тутъ близко, рядомъ со мной, таилась какая-то безграничная неправда несправедливость; какое-то громадное зло скрывалось здъсь, подъ покровомъ ночи, въ глухомъ лъсу, и мою душу не покидало странное смутное сознаніе, скоръй даже—ощущеніе, что я повиненъ въ какомъ-то страшномъ безчеловъчномъ преступленіи...

Лишь только я немного забывался и смыкаль въки, лишь только мой слухъ отвлекался отъ тоскливой мелодіи вътра,—какъ проклятый ставень своимъ тревожнымъ "тукъ-тукъ!" опять возвращалъ мнѣ прежнее душевное настроеніе и опять насильственно направлялъ слухъ къ похороннымъ напѣвамъ метели и къ стонамъ спавшихъ братьевъ... Въ утомленномъ мозгу вставали уродливыя физіономіи, рисовались только что видѣнныя сцены и создавались новыя... То маленькій человѣчекъ съ слезящимися глазами подползалъ къ моей кровати, просилъ "тенька" и стукался головой о полъ, то въ дверь протягивались руки и совали мнѣ ломти "голоднаго хлѣба", то вдругъ страдальческій обликъ изуродованнаго, окровавленнаго рабочаго па-

клонялся надъ моимъ изголовьемъ и глухо спрашиваль:

- Какъ же насчетъ способія, преміи?
- По собственной неосторожности!—произносилъ я уже въ полусознаніи и сердито переворачивался на другой бокъ, лицомъ къ стѣнъ...

Наконецъ, измученный, я заснулъ кръпко-кръпко...

— Эй, баринъ!.. Будетъ спать-то!..

Я раскрыль глаза. Передъ кроватью стояль Өома.

- Вставай, пора фхать...
- Еще бы часикъ уснуть... Успъемъ...
- Не охота?... А ты вскинься, сразу вскинься!.. Самоварчикъ давно попыхиваетъ, тебя дожидается...

Самоварчикъ дъйствительно "попыхивалъ" Павелъ Петровичъ съ перекинутымъ черезъ плечо полотенцемъ стоялъ у стола и мылъ чайную посуду.

- Проснулись?...—спросиль онъ, не отрываясь отъ дъла.
- Не совсѣмъ еще,—отвѣтилъ я, сладко потягиваясь.
- Я думаю, душно было вамъ почивать?... Heвъжды-съ...
 - Нътъ, ничего...
 - А другіе не выносять...

Наскоро осв'вживъ лицо водою, я подс'влъ къ самовару. Өома посл'вдовалъ моему прим'ру...

"Братьевъ во Христъ" уже не было; всъ они давно разъвхались, и только грязные слъды по полу, окурки "цыгарокъ" и солома изъ лаптей—напоминали мнъ исчезнувшую "канпанію"...

Павелъ Петровичъ былъ неузнаваемъ. Лицо серьезное, даже нѣсколько суровое: молчаливъ, ограничивается односложными фразами и словами; ковыляетъ какъ-то по-старчески на своей хромой ногѣ и покашливаетъ въ кулакъ... Даже старается не смотрѣть на меня, словно стыдится за свои недавнія изліянія... Предупре-

дительно въжливъ, но холоденъ... Даже Өома замътилъ эту перемъну въ Павлъ Петровичъ...

— Ты выпиль бы рюмочку съ похмелья-то!.. Поди, тоска въ брюхъ-то?..—сочувственно посовътоваль онъ Павлу Петровичу.

Павелъ Петровичъ промолчалъ...

- И я съ тобой проглотилъ бы стаканчикъ...—продолжалъ свои совъты Оома.
- Вся...—буркнулъ Павелъ Петровичъ, не оглядываясь.

Напились чаю.

— Гусемъ запрагу... Поди, нанесло за ночь снъгуто, не продерешь, -- разсуждалъ Өома, опоясывая кафтанъ пояской.—Надо будетъ только хворостинку подлиннъе прихватить... Не забыть бы!.. Кнутомъ ничаво не сдълаешь, если гусемъ... Лъсомъ теперь не проъдешь—сугробы...

Спустя четверть часа мы съ Өомой были уже далеко отъ хутора.

Буранъ стихъ... Природа была величаво-спокойна и торжественна... Легкій морозецъ подбадривалъ отдохнувшихъ за ночь лошадокъ, и онѣ весело и бойко бъжали впередъ... Снѣжокъ похрустывалъ подъ полозьями и отливалъ алмазными кристаллами на гладкой поверхности сугробовъ... Өома выпускалъ свои "трели" и время отъ времени подхлестывалъ хворостинкой подпрыгивающую и брыкающуюся при каждомъ ударѣ "гусевую"...

Навстръчу попадались убогія кляченки и дровнишки, тянувшіяся на хуторъ къ Павлу Петровичу за хворостомъ.

Вотъ и лѣсъ остался позади, опушенный сверху донизу серебристымъ инеемъ.

Впереди безбрежная поляна... Кругомъ снъгъ и снъгъ...

— Смотри: никакъ мордвинъ это?...—замѣтилъ Өома, показывая хворостиной на чернъвшій впереди предметъ...

— Все около своей кобыленки похаживаеть...

Черная точка—все ближе и ближе... Воть уже ясно обрисовывается контуръ человъческой фигурки...

— Онъ и есть!..—говорить Өома...

Еще пять-шесть минуть—и мы поровнялись съ человѣкомъ... Это быль дѣйствительно мордвинъ... Онъ стоялъ около воза хвороста, почти совершенно засынаннаго снѣгомъ, и своей павшей лошаденки... Заслыша колокольчики, мордвинъ выпрямился, разставилъ широко ноги, снялъ шапку и ждалъ, когда мы проѣдемъ...

Оома круто свернулъ съ дороги, и мордвинъ съ навшей лошаденкой остались позади...

- Что онъ тутъ дълаеть?
- А кто его знать!.. Поди, шкуру хочеть ободрать... Больше мы съ Өомой не разговаривали...

Я плотно вдвинулся всёмъ корпусомъ тёла въ уголъ саней и закрылъ глаза.

Колокольчики пѣли такъ монотонно и грустно, а снѣжокъ такъ хорошо поскрипывалъ подъ полозьями саней, что пріятная дрема начинала одолѣвать мною...

— Эй-эхъ! Милыя!—задушевно выкрикивалъ Өома. "Динь-динь, донъ-динь, ди-ди-динь", — пѣли коло-кольчики...

А я покачивался изъ стороны въ сторону, впередь, назадъ, и о чемъ-то думалъ... Думалъ о чемъ-то неясномъ и совершенно безсвязномъ... То были обрывки воспоминаній далекаго дътства, расплывчатые портреты знакомыхъ и чужихъ лицъ, слова, фразы, предметы... И эти безсвязныя думы куда-то убъгали, оставались назади, вмъстъ съ убъгавшей изъ-подъ саней дорогой...

КАЛИГУЛА.

Съренькій февральскій день съ низко нависшимъ надъ землею облачнымъ небомъ, съ вътромъ и пронизывающимъ туманомъ, съ холодными каплями прыгающей съ крышъ и карнизовъ воды, тускиълъ и кое-гдъ по окнамъ магазиновъ уже засвътились желтоватые огни керосиновыхъ лампъ.

Невзрачные дома, мокрые заборы, грязные извозчичьи санки, поджарыя лошади, хмурыя лица встръчныхъ прохожихъ, слякоть на панеляхъ, -- вся эта мозглая, пропитанная сыростью, слезящаяся мокрыми окнами домовъ улица, съ печальнымъ освъщеніемъ надвигающихся сумерекъ, дъйствовала на душу Якова Ивановича самымъ удручающимъ образомъ. Въ сознаніи Якова Ивановича вставало смутное воспоминаніе о томъ, что когда-то уже было именно такъ, какъ теперь: онъ бъгалъ по городу и искалъ мъста, а на душъ его было такъ пасмурно и скверно, что на единственный, имъющійся у него въ карманъ, четвертакъ Яковъ Ивановичъ ръшилъ не покупать чаю и хлъба, а лучше выпить водки и погръться въ пропитанномъ табачнымъ дымомъ и алкоголемъ трактирчикъ, въ обществъ илохо одътыхъ и недовольныхъ лицъ, обойденныхъ, какъ и онъ, несправедливой фортуною...

Теперь такъ же, какъ тогда, промокли ноги, такъ же хлюпаютъ худыя резиновыя галоши, и такъ же въ

сердцѣ вспыхиваеть искорка молчаливаго протеста, и такъ же тухнетъ въ безсильной злобѣ маленькаго безсильнаго человъка.

Старенькая выцвътшая фуражка съ кокардою какъто грустно и безсильно нависла своимъ блиномъ надъглазами Якова Ивановича и прятала отъ постороннихъ взоръ его, въ которомъ поперемънно отражались злоба, отчаяніе, жалобная мольба, упрекъ и угроза. Одинъ носъ, широкій и мясистый, предательски краснълъ изъ-подъкозырька Якова Ивановича и многихъ встръчныхъ дамъ въ бъдныхъ салопахъ и старомодныхъ шляпкахъ наводилъ на грустныя размышленія о пагубномъ пристрастіи мужей къ спиртнымъ напиткамъ и о томъ, что отъ такого пристрастія случается...

- Эй, носъ! берегись!..—весело крикнулъ по адресу переходившаго черезъ дорогу Якова Ивановича извозчикъ и, подхлестнувъ свою лошадку, добавилъ:
 - Ну, брать, и носъ же у тебя!..

Это замѣчаніе обезкуражило Якова Ивановича, обидѣло его до глубины души. Поднявъ кверху голову и сдѣлавъ строгую мину на физіономіи, Яковъ Ивановичъ намѣревался обругать извозчика мерзавцемъ и другими, еще болѣе обидными словами, но не сдѣлалъ этого: въ санкахъ сидѣла миловидная, хорошо одѣтая дама. Онъ только показалъ извозчику указательнымъ пальцемъ правой руки на свою кокарду и затѣмъ угрожающе погрозилъ этимъ же пальцемъ нахалу... Но нахалъ ухмыльнулся, презрительно бросилъ: "Эхъ, горе—чиновникъ!" и скрылся за угломъ...

Яковъ Ивановичъ поправилъ фуражку, нѣсколько пріободрился и тоже скрылся за стеклянной съ рѣшеткою дверью трактира "Плевна". Здѣсь, потребовавъ себѣ полбутылки водки, Яковъ Ивановичъ усѣлся въ дальнемъ углу за столикомъ, накрытымъ грязною пятнистою скатертью, разстегнулъ свое пальто на ватѣ и, похлопавъ фуражкой по колѣнкѣ, чтобы стряхнуть

воду, бросилъ фуражку на подоконникъ и сталъ дожидаться... Изръдка Яковъ Ивановичъ бралъ двумя пальцами свой носъ, словно безпокоился, не правъ ли былъ извозчикъ, высказавшій свое удивленіе по поводу носа Якова Ивановича, и думалъ: "Да, онъ пьетъ, пилъ и будетъ пить, какъ пьютъ всъ такіе чиновники; однако кому какое дѣло, что онъ пьетъ? По службѣ ущерба отъ этого не бываетъ; раза два Яковъ Ивановичъ умиралъ и все-таки ходилъ на занятія и работалъ наравнѣ со здоровыми; очень часто Яковъ Ивановичъ работаетъ по праздникамъ, отказывая себѣ въ удовольствіи сходить въ храмъ и помолиться Господу; нерѣдко сидитъ въ неурочное время въ палатѣ... Какое же дѣло до того, что онъ пьетъ?.."

— Да-съ! —произнесъ вслухъ Яковъ Ивановичъ, приготовляясь выпить первую рюмку водки: —если бы у Якова Ивановича былъ носъ не сизый, даже зеленый, — то и тогда это никого не касается.

Выпивъ водки, Яковъ Ивановичъ началъ размышлять надъ людской несправедливостью и резюмировалъ ее такими словами:

— Если бы Яковъ Ивановичъ умеръ надъ бумагами, его не пожалѣли бы... Право! Его стали бы ругать, почему умеръ не дома, потому—хлопоты...

Сегодня Яковъ Ивановичь потерпъль полное поражение въ генеральной битвъ, которую онъ далъ обществу въ борьбъ за свое чиновничье существование: Яковъ Ивановичъ держалъ при мъстной классической гимназіи экзаменъ на право получить первый чинъ и... не выдержалъ...

Если бы кто-нибудь зналъ, что значило въ жизни Якова Ивановича это пораженіе!..

О, это было для него своего рода Ватерлоо!..

Будь Яковъ Ивановичъ помоложе, опъ, конечно, попытался бы еще разъ пойти на приступъ и въ штыки взять такъ необходимый ему чинъ коллежскаго регистратора. Но теперь это было невозможно. Сразу погибло все: многолътнее корпъніе по ночамъ и по праздникамъ надъ всъми этими Иловайскими, Малиниными, "Европами, Азіями, Африками и Америками", погибли, вырываемые чуть не изо-рта, кровные гроши, которые пошли на наемъ подготовлявшаго Якова Ивановича къ экзаменамъ семинариста, а главное, однимъ взмахомъ и окончательно разбита уже и безъ того тухнущая энергія сорокалътняго въчно сражавшагося съ нуждой человъка, и поставленъ крестъ надъ послъдними надеждами и планами выбиться...

Безъ чина нельзя выйти изъ рядовъ канцелярскихъ служителей и попасть въ настоящіе штатные чиновники съ опредъленнымъ окладомъ и съ нѣкоторыми перспективами въ будущемъ... Теперь—мертвая точка, выше которой никогда не подняться Якову Ивановичу, теперь постоянная оцѣнка работы "по трудамъ и заслугамъ", какъ это полагается по отношенію канцелярскихъ служителей.

"По трудамъ и заслугамъ"... Казалось бы, что такая оцѣнка труда—наисправедливъйшая, не оставляющая желать ничего лучшаго... Къ сожалънію, это не такъ... Спросите Якова Ивановича, онъ вамъ разскажетъ, сколько обиды и безвыходности скрывается въ этомъ "по трудамъ и заслугамъ"...

— Это означаеть, что больше 30 рублей не получишь, хоть всё жилы свои вытяни, хоть просиди весь місяць, не вставая со стула; а меньше получить всегда можешь, потому что все зависить оть секретаря: скажеть, что никакихъ трудовъ и заслугъ въ этомъ місяців не было—и баста.

Яковъ Ивановичъ мечталъ выбиться. Въ тѣхъ случаяхъ, когда, просидѣвъ всю ночь напролетъ, онъ являлся утромъ въ палату, блѣдный, испитой, съ опухшими красными глазами, и подавалъ четко и красиво переписанное представление въ Петербургъ на двѣна-

дцати листахъ,—секретарь говориль ему, возвращаясь изъ кабинета начальника, что тоть очень доволенъ, и что если бы Яковъ Ивановичъ имълъ чинъ, то его можно было бы "двинуть"...

— Я предался наукамъ уже третій годъ... Буду стараться выдержать экзаменъ на чинъ, смущенно произносиль умиленный Яковь Ивановичь и, поощренный туманнымъ объщаніемъ "двинуть", старался еще болъе зарекомендовать себя со стороны безпримърной усидчивости, терпънія и выносливости. На лицъ Якова Ивановича застывало выражение готовности и исполнительности, вся фигура его свидътельствовала о безропотной покорности судьбъ и всякому выше его поставленному человъку. Тогда казалось, что этоть человъкъ, съ сизымъ носомъ и съ испитымъ лицомъ, созданъ исключительно для исполненія однихъ только приказаній и живеть на свъть какъ-то механически, безъ участія какихъ-либо духовныхъ силъ. Яковъ Ивановичъ сидълъ и писалъ, писалъ какъ чернильный perpetuum mobile... Секретарь распекаль его за неграмотность, — Яковъ Ивановичъ молчалъ и не позволялъ себъ возражать даже въ тъхъ случаяхъ, когда секретарь былъ неправъ: изучая къ экзамену грамматику, Яковъ Ивановичь иногда могь поспорить въ этомъ дѣлѣ съ секретаремъ; но зачъмъ? Богъ съ ними! если начальство хочеть писать слово "вышеуказанное" отдельно; воть такъ: "выше-указанное",-надо исполнять "у всякаго начальника своя грамматика; когда секретаремъ былъ Ефимъ Николаевичъ, они приказывали писать "указанное выше", думалъ Яковъ Ивановичъ и переписывалъ помаранную бумагу сызнова. Яковъ Ивановичъ былъ воплощенная покорность и смиреніе.

Только по двадцатымъ числамъ мъсяцевъ, выпивши по случаю получки жалованья водки больше обыкновеннаго, Яковъ Ивановичъ позволялъ себъ ворчать и браниться, и то лишь дома, въ своей семьъ, у самовара... Со дна души Якова Ивановича поднималась тогда досада на весь міръ, и онъ начиналъ жаловаться и ругать каторгой жизнь и критиковать свое начальство.

— Яковъ Ивановичъ, —ворчалъ онъ, —все стерпитъ. Нечего его жалътъ. Гни его въ дугу, плюй ему въ морду! Развъ Яковъ Ивановичъ человъкъ? Скотина! Пишущая скотина... Ей-Богу! И всъ вы, —говорилъ онъ членамъ семъи, — скоты: жратъ ваше дъло и больше ничего... Мое дъло—писать, ваше дъло—жратъ... да!

Но на другой день утромъ Яковъ Ивановичъ уже былъ тише воды, ниже травы. Выпивъ живой воды, — такъ называлъ Яковъ Ивановичъ воду съ примѣсью нашатырнаго спирта, — онъ шелъ, какъ ни въ чемъ не бывало, на службу, и никто бы не сказалъ, что вчера только этотъ человѣкъ позволялъ критиковать дѣйствія начальства.

— Надо быть болваномъ, чтобы не понять такой простой вещи, — резонерствовалъ секретарь по поводу какого-нибудь промаха со стороны Якова Ивановича.

Яковъ Ивановичъ слышалъ, но молчалъ. Онъ только ниже нагибался къ столу, почти ложился на бумагу и еще усерднъе скрипълъ перомъ.

- Подай-ка еще огурчикъ!
- Слушаю, Яковъ Ивановичъ!..

Яковъ Ивановичъ уже кончалъ полбутылку. Склонившись надъ рюмкой водки, онъ въ сотый разъ переживалъ ужасъ своего пораженія, припоминалъ мельчайшія подробности этого несчастья и терзалъ себя упреками...

Извъстно, что странъ свъта—четыре, а онъ, дуракъ, сказалъ: пять...

— А сколько частей свъта? — спрашиваютъ.

Извъстно, что частей свъта пять, а онъ, дуракъ, сказалъ: четыре. Такъ было по географіи, а по исторіи—еще хуже. Понявъ свой неудачный отвъть о стра-

нахъ и частяхъ свъта, Яковъ Ивановичъ, какъ онъ самъ выражался, соскочилъ съ рельсовъ и сталъ трястись—по шпаламъ.

- A какого французы въроисповъданія?—спрашивають.
 - Республиканскаго.
 - А вы? Единодержавнаго?
- Такъ-съ. Монархическаго, сморозилъ Яковъ Ивановичъ.

Захохотали громко и весело всѣ три экзаменатора, потомъ пошентались о чемъ-то между собою, и одинъ изъ нихъ, самый молодой, въ очкахъ, сказалъ, пристально разглядывая носъ Якова Ивановича:

— Нѣтъ, вамъ придется еще подучиться, а потомъ-милости просимъ къ намъ!

Яковъ Ивановичъ вспыхнулъ, какъ огонь при вътръ, и дрожащимъ голосомъ произнесъ:

— Вы, милостивый государь, спросите меня еще! Пожилому человъку долго ли спутаться?

На голомъ темени Якова Ивановича выступили крупныя капли пота отъ чрезмърнаго напряжения всъхъ чувствъ и способностей. Онъ выпулъ изъ кармана носовой платокъ, отеръ имъ свою лысину и, принужденно смъясь, добавилъ:

— Какъ же человъку не знать, какого онъ въроисповъданія?.. Помилуйте! Спутался... Взволновался немного...

Все изъ старой головы вылетѣло. А вѣдь какъ зналъ? Разбуди среди ночи и соннаго спроси: главные города, чѣмъ каждый замѣчателенъ, сколько жителей, рѣки съ притоками и всю эти чертовщину,—все могъ разсказать...

Наканунъ экзамена Яковъ Ивановичъ долго не могъ заснуть: цари не давали ему покоя; онъ перечислялъ ихъ по порядку въ памяти, этихъ безчисленныхъ царей римскихъ, англійскихъ, французскихъ, — и сби-

вался. Приходилось вставать съ постели, зажигать ламиу и рыться въ учебникъ.

- Что ты, Яша?—испуганно спрашивала жена, разбуженная возней и свътомъ лампы въ неурочное время.
- Кали-гула, Калигула, гула, автоматически повторяль Яковъ Ивановичъ, залъзая снова на кровать.
- Никакъ ужъ съ ума сходишь?
- Память стала, мать, измѣнять. Эхе-хе! Два пробило ужъ... — шепталъ, позѣвывая, Яковъ Ивановичъ.

Теперь, видя свою неудачу, Яковъ Ивановичъ сдѣлалъ послѣднее усиліе и въ надеждѣ на "царей" жалобно попросилъ:

— Вы, господа, попробуйте еще! Долго ли спутаться? Спросите хоть про римскихъ царей и тому подобное...

Но, когда Якова Ивановича спросили про римскихъ царей, онъ потерялъ послъднюю позицію: подавленный цълымъ сонмомъ завертъвшихся въ его памяти именъ царей разныхъ странъ и народовъ, Яковъ Ивановичъ палъ подъ этимъ бременемъ.

- Вы все перепутали. И потомъ: не Калугила, а Ка-ли-гу-ла! Надо еще подучиться, а потомъ приходите,—сказали Якову Ивановичу.
- Господа! мнъ уже сорокъ первый годъ отъ роду... Семья!—простоналъ Яковъ Ивановичъ, готовый расплакаться, какъ школьникъ.
 - Нельзя. До свиданья.

Припоминая теперь все это, Яковъ Ивановичъ бранилъ себя и экзаменаторовъ, особенно того изъ нихъ, который, какъ замътилъ Яковъ Ивановичъ, пристально смотрълъ на его носъ.

- Эхъ, Яковъ Ивановичъ! башка твоя, какъ ръшето: ничего не держится, — шепталъ онъ по своему адресу, а затъмъ обращался къ экзаменаторамъ:
- Развъ вы, господа, не видите, что человъкъ кушать хочетъ? Какой вамъ убытокъ, если меня въ чинъ

произведутъ? Никому никакого вреда, одна польза бъдному семейству... Да и зачъмъ мнъ знать всъхъ королей?.. А на носъ мой смотръть нечего, молодой человъкъ! Поживи съ мое, такъ, можетъ быть, и твой носъ будетъ не лучше... Эхъ, Яковъ Ивановичъ, выпей-ка! Чортъ съ ними!

И Яковъ Ивановичъ выпивалъ. Когда вся водка была выпита, онъ всталъ и нъсколько неровнымъ, хотя ръшительнымъ шагомъ, пошелъ вошъ изъ "Плевны", бросивъ на ходу хозяину заведенія:

— Запиши, Егоръ Васильевичъ!

На душѣ Якова Ивановича стало немного получше, а потому и внѣшній видъ его измѣнился въ ту же сторону: блинъ фуражки не лѣзъ на глаза, а загибался къ затылку, козырекъ не скрывалъ не только глазъ. но и лба, перерѣзаннаго, какъ большая дорога — колеями—глубокими морщинами, пальто было распахнуто и трепетало полами...

На службѣ хуже кія изсохъ я,—ну, хоть брось! А между тѣмъ другіе все лѣзутъ врозь да врозь...

вполголоса баскомъ весело гудѣлъ, какъ шмель, Яковъ Ивановичъ, шагая по тротуару мимо освѣщенныхъ оконъ магазиновъ. Онъ шелъ, самъ не зная куда, но, во всякомъ случаѣ, не домой: если бы съ экзаменомъ было благополучно,—другое дѣло, а теперь не хотѣлось, да было и неловко что-то... Колька спроситъ: "выдержалъ, папаня"? а папаня провалился по всѣмъ статъямъ...

Въ числъ многочисленнаго потомства у Якова Ивановича имъется сынъ, гимназистъ перваго класса, Николай. Когда, въ прошломъ году, онъ шелъ на экзаменъ — изъ приготовительнаго въ первый, Яковъ Пвановичъ, благословляя его, напутствовалъ такими словами:

— Ну, братъ, не сплошай! Не будь болваномъ и не осрами отца; въ нашемъ роду дураковъ не было...

Николай выдержаль, а воть онь, Яковъ Ивановичь, оскандалился. Откровенно говоря, Якову Ивановичу всего больше и было совъстно теперь передъ этимъ мальчикомъ. Сегодня, уходя въ гимназію, сынъ тоже напутствовалъ отца:

- Папаня, ты сегодня придешь къ намъ держать экзаменъ?
 - Сегодня.
- Главное—Василій Якимычъ изъ исторіи и географіи... Онъ любить, чтобы не думать, а говорить сразу... Смотри, не сръжься!
- Богъ не выдасть, свинья не съвстъ. Ты коль изъ латинскаго не схвати! Я не успълъ спросить-то тебя,— отвътилъ онъ.

Надо сказать, что Яковъ Ивановичъ помогалъ сыну изучать не дававшійся ему латинскій языкъ; дѣло это было нелегкое: Якову Ивановичу приходилось самому учить задаваемые уроки по латинскому, что давалось ему такъ же съ громаднымъ трудомъ и съ страшной скукою.

Когда Яковъ Ивановичъ шелъ по Москательной улицъ, его окрикнулъ чей-то голосъ:

— Якову Ивановичу! Куда?

Яковъ Ивановичъ оглянулся. Черезъ дорогу шелъ къ нему сослуживецъ Ивановъ, длинный, какъ жердь, сухой и поджарый. Онъ шагалъ крупно, нагибаясь впередъ всёмъ корпусомъ; коротенькое пальто и узкія брюки Иванова еще болѣе усугубляли впечатлѣніе протяженности этого человѣка. Подъ-мыцикой у Иванова было воткнуто что-то, завернутое въ платокъ.

- Иду себъ, отвътилъ смущенно Яковъ Ивановичъ, подавая руку сослуживцу, а ты что тащишь?
 - Гитара. Өедька именинникъ, такъ музыку тащу.
- И какъ ты этихъ именинниковъ отыскиваешь? Въдь вчера, никакъ, былъ на именинахъ?
 - Да что, братъ, скучно... выпить хочется, а двадца-

тое было давно уже... Только на именинахъ и выпить теперь... Пойдемъ! Пулечку раздавимъ, ерофеича хватимъ...

- Меня онъ не звалъ, въ раздумьи промычалъ Яковъ Ивановичъ, которому вдругъ захотѣлось побыть въ веселой безалаберной и безпечной компаніи холостыхъ чиновниковъ, которые, несмотря на свои пятнадцати-рублевые оклады, ухитряются все-таки не грустить и не жаловаться на судьбу.
- Наплевать! произнесъ Ивановъ и, подхвативъ Якова Ивановича подъ руку, повлекъ его на именины къ Өедькъ. При этомъ Ивановъ задълъ грифомъ гитары проходившую мимо барыню и испугалъ ее внезапно раздавшимся аккордомъ музыки...
 - Пардоне-съ! —извинился Ивановъ.
- Тяжело на душъ что-то, пожаловался дорогой Яковъ Ивановичъ:—выпить поэтому простительно.
- Еще бы! Двадцатое было давно, и до двадцатаго далеко... Самое двусмысленное положеніе,—игриво замътилъ Ивановъ.
- У меня по другой причинъ, грустно сказалъ Яковъ Ивановичъ, которому захотълось вдругъ подълиться съ къмъ-нибудь своимъ горемъ, и хотя спутникъ не поинтересовался, по какой именно причинъ тяжело на душъ у Якова Ивановича, но тотъ пояснилъ:
- Не выдержаль я экзаменъ-то. Спутали живодеры! Развъ у нихъ есть къ людямъ жалость? Никакой!.. Да! Теперь, значить, безконечное томленіе... Нужда и брань, ссоры и всякая пакость... И Колькъ плохо... Всякая кляуза, сосущая человъка, какъ піявка... Хотъли двинуть, а теперь все пропало...—говорилъ Яковъ Ивановичъ упавшимъ тономъ, и блинъ его фуражки снова трясся надъ глазами, и вся фигура его опять какъ-то обвисла и съежилась...
 - Подумать только, тихо и печально говориль

онъ, — что такое, напримѣръ, Калигула и прочее?.. На кой мнъ чортъ? а между тъмъ вся карьера разбита окончательно...

. — Наплевать, Яша! — весело произнесъ Ивановъ.

На окраинъ города, на грязномъ дворъ, въ покривившемся деревянномъ флигелькъ, изъ оконъ котораго открывался печальный видъ на помойную яму, съ кучами загрязненнаго всякими отбросами снъга вокругъ, въ двухъ небольшихъ комнаткахъ и кухнъ проживало семейство чиновника Якова Ивановича Козырева. Это проживаніе было похоже на оборонительную войну.

Старуха-мать, съ сильнымъ кашлемъ и шопотомъ молитвъ; болъзненная жена, олицетворение печали и жалобы, съ постояннымъ упрекомъ и страхомъ въ оттъненныхъ синевою глазахъ; мальчикъ-гимназистъ въ коротенькихъ брючкахъ и стоптанныхъ ботинкахъ, съ худымъ, серьезнымъ не по возрасту личикомъ, долбящій въ уголку латинскія слова; самъ Яковъ Ивановичь, изучающій съ тоской исторію Иловайскаго; сестра Якова Ивановича, чахоточная довушка, изъ силъ выбивающаяся, чтобы какъ-нибудь облегчить тяготы родныхъ, таскающая съ рвки воду, собирающая на постройкахъ щенки; плачущія больныя діти, - всь вмьств они производили впечатлвние чего-то барахтающагося и безсильно и медленно гибнущаго въ неравномъ бою съ людскими несправедливостями, напастями и хронической нуждой... И тымь рызче бросалась вы глаза эта нужда, чёмъ сильне женщины семьи старались прикрыть ее своими незамысловатыми средствами: какой-нибудь бѣлой скатертью съ дырочками и неотстирывающимися ржавыми пятнами, дешевенькой ситцевой занавъсочкой, старомодной шляпкою, зонтикомъ безъ ручки и худыми перчатками... Всв эти средства только еще болве оттвияли убожество, стыдливо прикрывающее отъ постороннихъ людей свои дыры и лохмотья,

— Погодите, получу регистратора, — поправимся! — ободряль себя и близкихь людей Яковь Ивановичь каждое двадцатое число, когда оть тридцати рублей получаемаго имъ жалованья, за уплатою долговъ въ лавочку, ближайшій кабачокъ и за погашеніемъ "внутреннихъ займовъ", сдъланныхъ въ теченіе мѣсяца у своихъ сослуживцевъ, оставалось рублей 18—20, изъ которыхъ 8 рублей слѣдовало отдать за квартиру, рубля на два купить дровъ, а на остальные 8—10 рублей кормиться, одѣваться, обуваться, освѣщаться, однимъ словомъ, проживать всѣмъ обитателямъ флигеля.

— Hà, Маша!..

Жена брада отъ Якова Ивановича деньги и, устремляя свой грустный взоръ куда-то далеко за предѣлы жилья, вздыхала и оставалась неподвижною. Тамъ, куда устремляла свой взоръ Маша, были: новые сапожки Колѣ, проектъ передѣлки стараго бурнуса, резиновыя галоши мужу, на платье дѣвочкамъ... Все это теперь уплывало вдаль, къ слѣдующему двадцатому числу, чтобы затѣмъ отодвинуться еще далѣе.

- Хоть бы тебѣ рублей десять прибавили!—неожиданно высказывала Маша свою завѣтную мечту, отрывая взоръ отъ разбитыхъ плановъ. Яковъ Ивановичъ сердился:
- Я тебъ сто разъ говорилъ, что прибавить не могутъ, а могутъ только убавить; надо выдержать экзаменъ на чинъ, и тогда другое дъло!.. Что болтать пустяки? Я получаю высшій окладъ...—отвъчалъ Яковъ Ивановичъ.
- Хоть бы поскоръе выдержалъ ты, Яша, этотъ
- Загорѣлось!.. Скоро, да не споро. Это вѣдь не пирогъ состряпать... Думаешь, что это такъ, пустяки, все равно, что плюпуть?.. Ошибаешься, матушка...

— Знаю, Яша... Что дълать? Не сердись, я въдь понимаю, что ты ничего не можешь сдълать, что ты стараешься...

Яковъ Ивановичъ смягчался. Баба, что съ нея взять? Отъ добраго сердца ноетъ...

- Терпи, казакъ, атаманомъ будещь! восклицалъ Яковъ Ивановичъ и, дружески хлопнувъ жену рукою по худому костлявому плечу, заискивающе произносилъ:
- Пошли-ка, мать, за полбутылочкой! Нынче я всъ до послъдней копъечки тебъ принесъ... И въ "Плевну" не ходилъ... Воздержался, мать... Не гръхъ...

Жена долго рылась въ "мелкихъ" и, наконецъ, выдавала Фенъ (сестръ мужа) двугривенный на покупку водки.

— Сейчасъ, братецъ, сбѣгаю, — кротко говорила чахоточная дѣвушка, въ глазахъ которой всегда сохранялось выраженіе боязни за свою неумѣстность, опасеніе, что она въ тягость роднымъ...

Яковъ Ивановичъ потиралъ руки, говорилъ, что у нихъ сегодня что-то холодновато, какъ-то особенно горбился и присаживался къ накрытому столу.

Сегодня во флигелѣ было совсѣмъ особенное настроеніе; со стороны можно было подумать, что здѣсь именинникъ, —такъ величаво и торжественно чувствовали и вели себя обитатели.

Имениника однако не было, а дѣло заключалось въ томъ, что Яковъ Ивановичъ ушелъ сдавать экзаменъ, и всѣ находились подъ впечатлѣніемъ этого чрезвычайнаго событія; хотя не всѣ понимали, что такое это значило, но всѣ чувствовали, что сегодня совершается нѣчто важное, долженствующее произвести коренной переворотъ въ жизни семьи, что съ этимъ переворотомъ связаны: повышеніе по службѣ и прибавка жалованья, давно желанный новый салопъ, можетъ быть, новая квартирка, побольше и почище этой

и, вообще, много, очень много хорошаго, что оставалось до .cuxъ поръ только фантастическими замыслами...

Но Яковъ Ивановичъ ушелъ въ десять часовъ утра и запропалъ. Его ждали объдать, но стемнъло уже, а его не было, и пришлось пообъдать безъ отца. Якова Ивановича ждалъ приборъ и не одинъ приборъ, а еще и водочка: жена понимала, что Яшъ трудно тамъ, что онъ страшно устанетъ и захочетъ съ устатку выпить; жена вспоминала и разсказывала, какъ Яша вскакивалъ ночью съ постели, зажигалъ лампу и шелестилъ листочками книгъ...

— Экъ, какъ его, бъднаго морятъ тамъ! — восклицала она, нетерпъливо прислушиваясь, не стукнетъ ли защелкой сънная дверь.

Феня нъсколько разъ выбъгала съ тою же цълью за ворота на улицу, но тоже безрезультатно.

— Нѣтъ. Пропалъ, — говорила она, обивая о порогъ свои ноги, облѣпленныя мягкимъ февральскимъ снѣгомъ.

Даже шестидесятилѣтняя старуха-мать тревожилась; кашляя сиплымъ овечьимъ кашлемъ, она поминутно безпокоила учившаго уроки внука:

- А ну-ка, Коля, посмотри, много ли часовъ? Мальчикъ сердился:
- Какая ты, бабушка, безпамятная! Я тебъ толькочто сказаль, что седьмой чась.

Маленькіе стѣнные часики, торопливо стукая бѣгавшимъ по стѣнкѣ маятникомъ, пробили 7, 8 и 9, а Якова Ивановича не было. Всѣ истомились. Время шло такъ медленно-медленно; было скучно и дѣлалось страшно. Жена вздыхала все чаще, Феня говорила шопотомъ и ходила на цыпочкахъ, Коля дремалъ, положивъ голову на раскрытую латинскую грамматику... Казалось, въ комнатахъ витаетъ невидимый призракъ чего-то недобраго, и всѣ обитатели флигеля это чувствовали, но боялись высказать другъ другу. Наконецъ, въ полночь, когда всѣ, кромѣ жены Якова Ивановича, спали, и въ тишинѣ ночи стоялъ дружный храпъ, свистъ и сопѣніе, на крыльцѣ кто-то тяжело завозился. Слышно было, что человѣкъ съ большимъ трудомъ управляетъ своими ногами...

Конечно, это и быль Яковъ Ивановичъ.

Дремавшая чуткою тревожною дремою, жена Якова Ивановича подняла съ подушки голову, вперила въ темноту ночи свои глаза и прислушалась.

Отчаянный стукъ въдверь заставиль ее моментально соскочить съ кровати и опрометью кинуться въ сѣни.

- Кто тамъ?
- Калигула!.. Отпирай, мать!—пробасилъ за дверью ньяный голосъ.
 - Не кричи, Яша, нехорошо...
 - Колька спить?
- Конечно, спитъ. Ему завтра въ гимназію... И тебъ въдь на службу!.. Какъ не совъстно, Яша? Мы ждали-ждали...
- Вотъ потому-то я и не приходилъ, что мнѣ было совъстно... Не понимаешь? Эхъ, бабы! Провалился я, мать, не выдержалъ... И наплевать, чортъ съ ними, съ разными тамъ Калигулами да Каракаллами, чтобы имъ не на что было опохмелиться! Я и такъ проживу. Проживемъ, мать? а? бормоталъ Яковъ Ивановичъ, стараясь снять пальто и будучи не въ состояніи сдѣлать это...

— Ахъ, Господи!.. Дай сюда руку!.. вотъ такъ!..

Сильно пошатываясь, Яковъ Ивановичъ ввалился въ полутемную комнату. Жена подняла фитиль лампы и, при свътъ ея, увидала совершенно пьяное лицо мужа, съ безсмысленными и оловянными глазами, всклокоченнаго и краснаго, и сердце ея сжалось отъ страха, и вся она сдълалась еще безотвътнъе, молчаливъе и печальнъе, какъ-то постаръла вдругъ и осунулась...

Раза два-три въ годъ Яковъ Ивановичъ запивалъ

основательно, и теперь лицо у него было именно такое, какое бывало при началѣ такихъ случаевъ; теперь этотъ запой былъ страшенъ по возможнымъ послѣдствіямъ, такъ какъ онъ не совпадалъ съ неприсутственными днями Рождества или Пасхи, какъ случалось ранѣе, и потому могъ повлечь за собою потерю Яковомъ Ивановичемъ мѣста...

- Ахъ, мать! Никакъ и водочки приготовила? Умница, люблю за это! Вотъ я хвачу съ горя и лягу... И всъхъ этихъ Калигулъ забуду,—заговорилъ Яковъ Ивановичъ, увидъвши на столъ бутылочку и рюмку.
- --- Не пей, Яша! ты уже довольно выпилъ. Завтра идти на службу... Репутацію потеряешь...
- Плевалъ я на репутацію. У нашего брата извъстная репутація: красный носъ... Смотрятъ на носъ... Развъ они цънятъ мое стараніе? Что вотъ этотъ столъ, что Яковъ Ивановичъ, со всъми вами, дурами старыми и молодыми... Сказала тоже: репу-тація!.. На той недълъ вонъ секретарь меня болваномъ назвалъ. Вотъ она, репутація! Конечно, я смолчалъ... Жрать хочется всъмъ... Однако надоъло ужъ! Плюютъ и утираться не даютъ... А ты —репутація!.. Ну-ка, выпьемъ!..

Дъло было илохо: такъ невъжливо и злобно Яковъ Ивановичъ говорилъ о начальствъ только при запояхъ; по двадцатымъ числамъ критика была слабъе и не носила столь страстнаго характера, —тогда больше фигурировала "проклятая жизнь".

Прячась за пологомъ кровати, жена прислушивалась къ ръзкимъ словамъ Якова Ивановича, къ бульканью наливаемой имъ водки, утирала шалью слезы и крестилась, мысленно взывая къ Богу о помощи. Ей хотълось громко заплакать, закричать, выбросить водку, словомъ, принять какія-нибудь ръшительныя мъры, чтобы остановить начинающійся запой...

Проснулась Феня. Она сейчасъ же поняла, что братецъ вернулся пьянымъ; прислушиваясь къ его без-

связному бормотанію, Феня плотнѣе прижималась къ стѣнкѣ, стараясь сдѣлаться какъ можно меньше и незамѣтнѣе. Пьяный братецъ бывалъ иногда безпощаденъ въ своихъ упрекахъ въ дармоѣдствѣ и ругательствахъ, и потому дѣвушка боялась чѣмъ-нибудь напомнить ему о своемъ существованіи: она даже не смѣла кашлять и зажимала себѣ ротъ угломъ подушки.

Однако, сверхъ обыкновенія, Яковъ Ивановичъ быль мягокъ и не безобразничалъ. Наткнувшись на учебники сына, сложенные столбикомъ на окошкъ, Яковъ Ивановичъ взялъ латинскую грамматику.

— А ну-ка, гдѣ мы съ Николаемъ Яковлевичемъ остановились? — сказалъ онъ, перелистывая книгу. — Вотъ. Глаголъ sum... Sum, es, est, sumus, estis, sunt... Теперь имперфектъ... Fui, fuisti, fuit... Ха-ха-ха! Собачій языкъ... а? Слышишь, мать? fuit?.. На этомъ проклятомъ языкъ и Калигула разговаривалъ... Вѣчная ему память. Выпью-ка за него рюмочку!.. Вотъ такъ! хорошо! Э-э, а Каракалла? Каракаллѣ обидно... Виноватъ, господинъ Каракалла, и за васъ рюмочку выпью!

Когда блъдный разсвътъ приближающагося утра бросилъ печальный взоръ свой въ окна флигеля, Яковъ Ивановичъ дремалъ, уронивъ голову на руки, а руки—на латинскую грамматику.

Измученная перспективой возможныхъ несчастій и бъдъ, Марья Петровна заснула въ самомъ неудобномъ положеніи, со свѣшенными съ постели ногами въ башмакахъ и красныхъ чулкахъ, съ лицомъ, спрятаннымъ подъ подушку. Огонь лампы, слабый и неувѣренный, умиралъ въ сѣрыхъ полусумеркахъ разсвѣта. На чугунно-литейномъ заводѣ монотонный, безконечно долгій призывной свистокъ прорѣзалъ сонный воздухъ спящаго еще города своимъ грустнымъ гудѣніемъ.

Когда этотъ свистокъ, понизивъ тонъ, замолчалъ, а потомъ снова затянулъ свою пъсню, Яковъ Ивановичъ поднялъ съ рукъ голову и оглядълся вокругъ,

припоминая и соображая что-то. Затъмъ онъ потянулся къ бутылочкъ, но та оказалась пустой.

- Пустота пустоть и всяческая пустота!—прогудѣль Яковъ Ивановичь.
- Fui, fuisti, fuit... произнесъ онъ, остановивши взоръ на раскрытой латинской грамматикъ, вотъ тебъ и fuit!.. Эхъ, Колюшка! думалъ тебя на ноги поставить, въ люди вывести, да нътъ, жила коротка, не вытягивается...

Недавно директоръ вызывалъ Якова Ивановича въ гимназію и говорилъ, что ученику неудобно ходить въ совершенно худыхъ, какъ у нищаго, башмакахъ, при чемъ удивлялся, зачѣмъ отдаютъ въ гимназію своихъ дѣтей тѣ родители, которые не имѣютъ достаточныхъ средствъ къ этому.

- Теперь лѣзуть въ гимназію даже тъ, кому уѣзднаго училища вполнѣ достаточно...
- Такъ-то такъ, ваше превосходительство, да вѣдъ каждому родителю хочется получше жизнь дѣтямъ своимъ устроить, человѣкомъ сдѣлать,—сконфуженио возразилъ Яковъ Ивановичъ.
- Э, батенька! Теперь ремесленники живуть лучше насъ, людей образованныхъ... Вонъ мой портной, напримъръ. Да вы никогда не узнали бъ, что это—портной. Одъть лучше насъ съ вами, възолотыхъ очкахъ, держитъ себя корректно... Будь у меня дъти, я никогда бы не отдалъ ихъ въ гимназію...
- Шутить изволите,—виновато улыбаясь, сказалъ Яковъ Ивановичъ; но директоръ сдълалъ серьезное лицо.
- Мив, батенька, не до шутокъ. Такъ вотъ-съ: панталончики надо сыну новыя, г. Козыревъ, и ботинки тоже... Иначе неудобно ему являться сюда, — серьезно сказалъ онъ, пристально вглядываясь въ носъ Якова Ивановича. Потомъ слегка кивнулъ ему головой и поверцувшись, заговорилъ съ проходившимъ мимо надзирателемъ.

Все это припоминалось теперь Якову Ивановичу. Остановившись около сундука, на которомъ, поджавъ ножки, спалъ подъ женскимъ салопомъ мальчикъ съ востренькимъ носикомъ, съ такимъ желтымъ личикомъ, напоминавшимъ какую-то птичку, Яковъ Ивановичъ печально покачалъ головой и сказалъ:

— Теперь, братъ, мы съ тобой пропали!.. Куда ужъ памъ, Николай Яковлевичъ, съ суконнымъ рыломъ въ калачный рядъ?..

Яковъ Ивановичъ утеръ кулакомъ остановившіяся въ его пьяныхъ глазахъ слезы...

— Вотъ тебъ, братъ, и fuit!—ласково, сквозь слезы, пошутилъ онъ и, махнувъ рукой, отошелъ...

Тихо пробрался онъ въ кухню, напился прямо изъ ведра воды, потомъ осторожно, руками, напялилъ на ноги худыя галоши, набросилъ на плечи пальто, а на голову—фуражку и вышелъ...

— Марья Петровна! Машенька! братецъ убѣжали! съ ужасомъ прохрипѣла, закашлявшись, Феня.

Марья Петровна вскочила съ постели, нѣсколько мгновеній стояла растерянно на мѣстѣ, но, взглянувъ туда, гдѣ долженъ былъ сидѣть мужъ и гдѣ его пе было, испуганно вскрикнула:

- Ama! Ama!
- Братецъ сейчасъ убъжали, повторила Феня.

Марья Петровна опрометью кинулась въ съни, выскочила на крыльцо и съ мольбой и отчаяніемъ закричала:

— Яша! Яшенька! вернись, голубчикъ! опомнись! Но Яша, не оборачиваясь, отмахнулся рукою отъ этихъ отчаянныхъ воплей и скрылся за воротами...

Всѣ, кто знаетъ Якова Ивановича, удивляются и, недовѣрчиво покачивая головами, восклицаютъ: "не можетъ быть!.."

Однако все это произошло именно такъ, какъ разсказываютъ очевидны.

Было часовъ около одиннадцати дня, и палата работала, такъ сказать, полнымъ ходомъ. Эта огромная бюрократическая машина, съ ея колесами, винтиками и шестернями въ человъческомъ образъ, въ серьезнодъловомъ молчаніи скрипъла перьями, шелестила бумагой, пощелкивала косточками счетъ, и этотъ своеобразный смъшанный шумъ былъ похожъ на шелестъ листвы при вътръ и проливномъ дождъ. Изръдка въ этотъ шумъ врывался сухой трескъ электрическаго звонка, начальственный окрикъ, робкій кашель "мелкой сошки" и громкій, на всю комнату—людей высокостоящихъ...

Секретарь — это не особенно большая, но тъмъ не менъе весьма существенная пружинка въ механизмъ учрежденія — давно уже быль на мъстъ и не разъ, взглядывая на пустой столъ съ задвинутымъ стуломъ, задавалъ вопросъ:

— А Козыревъ еще не пожаловалъ?

Никто не отвѣчалъ. Секретарь начиналъ выпускать остроты:

— Все еще экзаменъ держитъ... Профессоръ химіи, составитель кислыхъ щей...

Многіе чиновники спѣшили смѣяться навстрѣчу этимъ остротамъ, и секретарю было пріятно, что онъ такъ ядовито и удачно бросаетъ свои замѣчанія.

- Въроятно, на радостяхъ запилъ...
- Онъ не выдержалъ,—несмѣло подсказалъ чей-то голосъ съ дальнихъ столовъ.
 - Ну, такъ-съ горя!-произнесъ секретарь.

Въ этотъ моментъ Яковъ Ивановичъ вошелъ въ комнату, въжливо поклонился секретарю и направился на свое мъсто. Всъ замътили, что Яковъ Ивановичъ шелъ твердой походкой, не на цыпочкахъ, какъ ходилъ обыкновенно при начальствъ, а полными ступнями, и

даже пристукиваль довольно громко каблуками своихъ сапогъ. Подойдя къ столу, Яковъ Ивановичъ съ громомъ выдвинулъ стулъ и сълъ, положивъ ногу на ногу.

- Нельзя ли, г. Козыревъ, ходить потише!—съ оттънкомъ неудовольствія замътилъ секретарь, не отрываясь отъ газеты.
- Можно-съ, развязно отвътилъ Яковъ Ивановичъ.
 - Вы все еще, г. Козыревъ, экзамены держите?
- Закончилъ-съ. Провалился!.. Въкъ живи, въкъ учись, а дуракомъ умрешь, отвътилъ Яковъ Ивановичъ.
 - Вфрно, г. Козыревъ, смфясь, бросиль секретарь.
- Пословица эта, Николай Николаевичъ, относится ко всѣмъ людямъ безъ изъятія, возразилъ Яковъ Ивановичъ, роясь въ выдвинутомъ ящикѣ стола, при чемъ какъ-то особенно громко кашлянулъ и игривымъ взоромъ окинулъ сослуживцевъ.
- Потрудитесь не кашлять такъ громко!—съ сердцемъ бросилъ секретарь.
- Постараюсь... по возможности... И даже—не чихать-съ!
 - Прошу не разсуждать.
 - И это можно-съ.

Секретарь покраснъть и насупился. Онъ быль такъ обезкураженъ дерзкимъ поведеніемъ Якова Ивановича, что растерялся и не зналъ, что ему дълать...

Сослуживцы Якова Ивановича какъ-то сократились, сдълались особенно усердными и спрятались за спины другъ друга, словно боялись, что вотъ-вотъ сейчасъ раздастся выстрълъ, которымъ непремънно убъетъ когонибудь изъ нихъ.

Секретарь громко стучалъ прессъ-бюваромъ и со скрипомъ подписывалъ бумаги, дълая энергичные росчерки съ кляксами и колоніями чернильныхъ точекъ.

А Яковъ Ивановичь чувствоваль себя совершенно

независимо: онъ плевалъ на полъ, сморкался громко, даже чрезмърно громко, а чихнувъ, вызывающе произнесъ:

- Виноватъ! не въ силахъ бороться съ установленными Богомъ законами природы-съ.
- Секретарь продолжалъ молчать: онъ, повидимому, притворялся, что не замъчаетъ вызывающаго поведенія Якова Ивановича. Когда Яковъ Ивановичъ, спустя полчаса, подалъ ему начисто переписанную бумагу, секретарь впился въ нее глазами, что-то сердито перечеркнулъ, исправилъ и отбросилъ въ сторону:
 - Г. Козыревъ!
 - Я здъсь.
 - -- Подите сюда, а не "здъсь"!

Яковъ Ивановичъ не побѣжалъ, какъ случалось раньше, а медленно, съ достоинствомъ, приблизился.

- Я вамъ, кажется, десять разъ говорилъ, что "копъйка" пишется черезъ "ъ", а "вышеуказанное"—отдъльно?
 - Изволили говорить...
 - Перепишите!
 - Не могу-съ.
 - Что такое?..
- Я написалъ правильно. Относительно "копѣйки" точныхъ правилъ еще не установлено и предоставлено писать ее и такъ, и этакъ-съ... А что касается слова "вышеуказанный", то оно написано правильно: никакого тире не полагается...
 - Что-о?
- Я такъ обученъ. Грамматика для всѣхъ одна, спокойно сказалъ Яковъ Ивановичъ.
- Молчать! закричалъ секретарь, раздраженіе котораго перешло, наконецъ, границы всякаго терпѣнія.
- Этакого закона нѣть. А есть такая статья, по которой кричать на чиновниковъ, хотя и не имѣющихъ чина, возбраняется... Позвольте Ш-й томъ, я вамъ отыщу эту статью...

На мгновеніе стало такъ тихо, необычно тихо, словно даже сами ствны палаты замерли отъ испуга, услыхавъ эти чрезмърно смълыя для тридцати-рублеваго чиновника слова, Сослуживцы Якова Ивановича отъ избытка страха, любопытства и удивленія, казалось, совстив перестали дышать... О, въ ихъ сердцахъ горъла теперь самая преступная радость!.. Одни радовались, просто, ръдкостному скандалу, который дасть неизсякаемый источникъ чиновничьимъ пересудамъ и сплетнямъ, а другіе, такіе же забитые, такіе же безличные чернильные perpetuum mobile, какимъ былъ до сихъ поръ Яковъ Ивановичь, торжествовали по иной причинъ: вотъ и нашелся, наконецъ, человъкъ, который прямо и громко высказаль то, что набольло у всьхь этихъ perpetuum mobile на душъ, и что таилось и пряталось отъ начальства подъ страхомъ за кусокъ хлѣба... Въ глазахъ этого сорта людей Яковъ Ивановичъ былъ героемъ, и изъ среды этихъ именно людей, когда секретарь ношелъ жаловаться, послышалось боязливое восклицаніе шопотомъ: "молодецъ, Яша!"

Яковъ Ивановичъ чувствовалъ на себъ взоры сослуживцевъ, слышалъ это "молодецъ, Яша!" и почерпалъ въ семъ дальнъйшее мужество и стойкость.

— Да что тутъ? Молчалъ, молчалъ, да и будетъ! Всему бываетъ конецъ. Я, братцы, не могу, не могу больше. Горько мнъ, братцы, и обидно... За человъка, братцы, обидно!..

Гитаристъ Ивановъ соскочилъ съ мѣста и, подойдя къ Якову Ивановичу, началъ убѣждать его наплевать и уйти домой спать.

- Я не боюсь,—заявилъ Яковъ Ивановичъ: —кричать на себя никому не позволю... Что онъ, въ самомъ дѣлѣ? Поломался надъ человѣкомъ и довольно. Надо честь знать.
 - Г. Козыревъ! Къ управляющему!
 - Ну, такъ что же? И пойду! Не испугался. Яковъ Ивановичъ ръшительно двинулся въ кабинетъ.

Начальникъ былъ углубленъ въ какую-то бумагу и долго не обращалъ вниманія на присутствіе Якова Ивановича. Яковъ Ивановичъ кашлянулъ разъ, другой, а потомъ нашелъ необходимымъ обратиться къ членораздъльной рѣчи:

- Я здъсь, ваше превосходительство! Что прикажете?
 - Погодите!
- Торопиться некуда, вслухъ подумалъ Яковъ Ивановичъ.

Начальникъ вскинулъ глаза на Якова Ивановича, поискалъ въ памяти фамилію этого чиновника, но, не найдя ея, опустилъ взоры снова на бумагу и заговорилъ какъ-то, между прочимъ, занятый совершенно другой мыслью:

- Что вы тамъ безобразничаете?.. а?..
- Ничего подобнаго! возмущенно воскликнулъ Яковъ Ивановичъ.
 - Говорите дерзости секретарю и...
- Это называется "дерзость"! Позвольте объяснить, жестикулируя руками, страстно заговорилъ Яковъ Ивановичъ, приближаясь къ столу управляющаго. Секретарь принуждаетъ меня нарушить грамматику. Я себъ этого не позволю. Это разъ! А, помимо изложеннаго, какъ же я, напримъръ, могу не чихать, если сама природа говоритъ мнъ: "чихай, Яковъ Ивановичъ!" Какъ же, равнымъ образомъ, я могу не разсуждать, когда Господь создалъ меня по образу и подобію...
- Прошу не разсуждать, а—молчать, когда съ вами говорять,—строго оборваль управляющій.
- Это ужъ какой разговоръ, ваше превосходительство!
 - Вы пьяны?
- Есть немного, но веду себя совершенно трезво, убъжденно отвътилъ Яковъ Ивановичъ и взглянулъ на потолокъ, на стъны...

- Потрудитесь выйти вонъ!
- Позвольте спросить: зачѣмъ, напримѣръ, ругать человѣка болваномъ, когда онъ дожилъ до сорока лѣтъ? Неужели я при крещеніи названъ болваномъ?
 - Выйдите вонъ!-повторилъ начальникъ.
- Я уйду, но позвольте спросить: могли бы ваше пр—во отказаться отъ чиханія, если бы это было воспрещено даже циркуляромъ господина министра внутреннихъ дёлъ?..

Начальникъ подавилъ пальцемъ пуговку электрическаго звонка. Вошелъ секретарь.

— Позовите курьера! Пусть выведуть.

Начальникъ небрежно показалъ пальцемъ на Якова Ивановича и углубился въ бумаги.

— Уйду! Самъ уйду... Ахъ вы... Калигулы!—растворивъ дверь кабинета и обернувшись назадъ, громко и со смѣхомъ сказалъ Яковъ Ивановичъ, и вышелъ...

Прошла недѣля. Яковъ Ивановичъ "остепенился" и сдѣлался опять смиреннѣйшимъ въ мірѣ существомъ, неспособнымъ обидѣть даже мухи... Съ покорностью выслушивалъ онъ теперь жестокіе упреки жены, совѣстился сестрицы и только вздыхалъ и кряхтѣлъ, избѣгая всякихъ объясненій. Ему было стыдно смотрѣть въ глаза окружающимъ, и онъ по цѣлымъ часамъ просиживалъ у дальняго окна, разсматривая гравюры "Крестнаго Календаря" и съ тревогой и болью прислушиваясь къ стонамъ и жалобамъ Марьи Петровны на нужду и на то, что "послѣдніе гроши пропиваются въ то время, когда Колѣ запретили ходить въ гимназію до тѣхъ поръ, пока не будутъ сшиты новыя брючки и башмаки".

На службъ Яковъ Ивановичъ еще не былъ.

— Не доставало только, чтобы выгнали! — роптала жена. — Да какъ и не выгнать? — думала она вслухъ и такъ громко, чтобы эти думы слышалъ Яковъ Ивановичъ:—цълую недълю носа въ палату не показываетъ... Я... я бы такого чиновника на порогъ не пустила...

Этого именно и боялся Яковъ Ивановичъ. Смутно припоминая свой послъдній визить въ палату и объясненія съ управляющимъ, Яковъ Ивановичъ только глубже вздыхаль и внимательнъе разсматривалъ картинки "Крестнаго Календаря".

Была суббота. Яковъ Ивановичъ пошелъ ко всенощной въ Ивановскій монастырь. Стоя въ притворѣ, въ полусумракѣ неосвѣщенныхъ сводовъ и колоннъ, у самой стѣнки, Яковъ Ивановичъ усердно молился въ этомъ уединеніи, располагающемъ къ покаянному настроенію. Здѣсь Яковъ Ивановичъ чувствовалъ себя такимъ ничтожнымъ и маленькимъ, и все земное казалось ему такимъ же. Прислушиваясь къ грустному, монотонному пѣнію псалмовъ монахами, Яковъ Ивановичъ думалъ о томъ, что все — суета суетъ, и что всѣ мы, люди, умремъ со всѣми нашими печалями и радостями... Крѣпко прижималъ онъ сложенные въ крестъ пальцы къ холодному лбу, поднималъ глаза подъ самый куполъ и потомъ сокрушенно склонялъ голову.

И на сердце Якова Ивановича опускалось спокойствіе, онъ забывалъ о томъ, что дома нѣтъ ни чаю, ни сахару, и что Колѣ не на что купить новыхъ брючекъ; въ сердцѣ его тихо разгоралась искра спасительной надежды на Бога и на то, что Онъ спасетъ и помилуетъ...

Когда народъ, толкаясь, выходилъ изъ храма и Яковъ Ивановичъ медленно илылъ въ волнъ православныхъ христіанъ къ выходнымъ дверямъ паперти, кто-то сказалъ ему въ самое ухо;

Калигула! Здорово, брать!

Яковъ Ивановичъ испуганно обернулся. Это былъ гитаристъ Ивановъ. На улицѣ Ивановъ взялъ Якова Ивановича подъ руку, и они пошли вмѣстѣ.

- Какъ ты ихъ отдълалъ?... Молодчина! Ей-Богу! Они и сейчасъ не прочихаются. Секретарь шелковый сталъ...
- Ничего не помню...—глухо отвътилъ Яковъ Ивановичъ:—что я тамъ натворилъ?

Тогда Ивановъ, съ веселымъ смѣхомъ и жестами, началъ разсказывать подробно, даже съ прикрасами, всю эту исторію, а Яковъ Ивановичъ слушалъ, ужасался и не вѣрилъ, чтобы все это могло случиться съ нимъ.

-- Пропалъ, -- произнесъ онъ, когда Ивановъ замолчалъ.

Тотъ сообщилъ, что еще не все потеряно, что приказа объ• его исключении со службы не было и что можно все уладить.

— Пусть жена идеть къ секретаршѣ и попроситъ... А то самъ иди. Наплевать!.. Чортъ съ нимъ! Ты ихъ достаточно отдѣлалъ...

Все спокойствіе, слетъвшее на душу Якова Ивановича въ храмъ, исчезло, и опять на душъ его стало тревожно и скверно, опять закопошились, какъ гады, страхъ, заботы, раскаяніе... Когда Ивановъ, простившись, пошелъ своей дорогой, и Яковъ Ивановичъ остался одинъ, онъ окончательно упалъ духомъ, и въ туманъ его сознанія нъсколько разъ вставала "Плевна".

Въ "Плевну" онъ однако не пошелъ: превозмогъ слабость.

Вернувшись домой и напившись чаю, Яковъ Ивановичъ сказалъ женъ:

— Давай-ка, мать, почитаемъ библію!...

Они читали библію, читали исторію Іова, и Яковъ Ивановичъ говорилъ:

— Вотъ, мать, это—страданія... А мы съ тобой что?.. Слава Богу!.. Ночью горѣла передъ образомъ лампадка, и Яковъ Ивановичъ, лежа въ постели, смотрѣлъ, какъ на потолкѣ трепетали красноватыя и синія тѣни отъ разноцвѣтныхъ граней лампаднаго стаканчика, смотрѣлъ, вздыхалъ и думалъ, какъ теперь быть...

Коля сладко похрапываль; жена, уткнувшись головой подъ подушку, спала такая маленькая, какъ дъвочка; сестра, надрываясь, кашляла и, успокоившись, устало шептала: "Господи, Господи!"

Яковъ Ивановичъ прислушивался ко всему этому и думалъ: "ахъ вы, бъдные мои!"

На другой день онъ всталъ очень рано, чистилъ въ кухнъ свое платье, штиблеты и пальто, брился передъ маленькимъ кругленькимъ зеркальцемъ, въ которомъ отражались только клочки его физіономіи, что-то зашивалъ... Все это онъ дълалъ тихо, чтобы не разбудить родныхъ

Не пивши чая, пошель онъ въ соборъ къ объднъ, а оттуда пошель къ секретарю. Войдя по широкой лъстницъ во второй этажъ, Яковъ Ивановичъ долго стоялъ у двери и въ неръшительности смотрълъ на мъдную дощечку съ фамиліей. Наконецъ, онъ перекрестился и тихо дернулъ за ручку звонка. Долго не отпирали, и онъ хотълъ идти назадъ, но, услыхавъ что идутъ отпирать, застылъ на мъстъ.

Долго Яковъ Ивановичъ ждалъ секретаря въ передней. Наконецъ, появился секретарь. Онъ жевалъчто-то и разглаживалъ усы.

- Николай Николаевичъ! Не губите!
- Что вамъ нужно?
- Не губите! Простите! Пожалъйте жену, ребятишекъ! Что хотите дълайте, только не губите! Богомъ прошу, Христомъ! Затменіе какое-то нашло... видитъ Богъ, что и самъ не помню, что говорилъ и дълалъ, дрожащимъ голосомъ, со слезами на глазахъ, заговорилъ Яковъ Ивановичъ.

- Не могу.
- Николай Николаевичъ!

Яковъ Ивановичъ намѣревался бухнуться въ ноги, но секретарь удержалъ его:

- Полноте! Что вы унижаетесь?.. Я-не Богъ.
- -- Простите! Четверо дътей...
- Хорошо. Завтра переговоримъ съ управляющимъ.
- Николай Николаевичъ!
- Но съ условіемъ: если **чт**о-нибудь подобное повторится...
- Никогда! Никогда! Да развъ я подлецъ какойнибудь? Развъ я не цъню, Николай Николаевичъ? Господи!..
 - Ну, хорошо... Приходите завтра... Посмотримъ...
- Благодарю васъ, Николай Николаевичъ! Господь видитъ вашу доброту и вознаградитъ ее! съ пророческимъ паеосомъ воскликнулъ Яковъ Ивановичъ и вышелъ за дверь...

Здъсь онъ быстро перекрестился и пошелъ съ лъстницы...

на стоянкъ

— Эка благодать Божья! — прошепталь стоящій на баржѣ вахтенный, Кирюха, снялъ картузъ, восторженно посмотрёлъ въ бездонную глубь усыпанныхъ звездами синихъ небесъ, медленно провелъ ладонью руки по своей курчавой головъ и полной грудью вдохнуль влажный весенній воздухъ... Пріятная лінь, особая весенняя лівнь здороваго человінка, когда избытокъ силы просится наружу, и сладостная нъга разливается по тѣлу, заставила Кирюху потянуться и расправить кръпкіе мускулы и тряхнуть русыми кудрями... На толстыхъ губахъ парня скользнула улыбка пріятнаго самочувствія и довольства... Набросивъ небрежнымъ движеніемъ руки картузъ на затылокъ, парень зъвнулъ и, присввъ на тяжелый отвъсъ баржевого руля, замурлыкалъ протяжную задушевную пъсенку. Сердечнымъ теноркомъ, словно подъ сурдинку, тянулъ Кирюха свою пъсню и смотрълъ въ закутанную серебристою пылью лунныхъ лучей даль Волги, на зубчатый контуръ убъгавшихъ невъдомо куда горъ, на повисшую надъ ними гряду бълоснъжныхъ клубившихся облаковъ, на водяной просторъ и ширь...

Да, кругомъ была дъйствительно благодать!

Волга, облитая голубоватымъ блескомъ луннаго свъта, словно задремала, околдованная чарами неясныхъ весеннихъ грезъ, и тихо, ласково и любовно гладила своими струями и крутой берегъ, и высокіе борта

стоявшей на якоръ баржи. Луна блистала ярко въ вышинъ надъ лъсомъ Жегулевскихъ горъ, серебрила листву молодой зелени на вершинахъ, но словно боялась заглянуть внизъ подъ кручу громоздившихся горъ, туда, гдв висвли густыя сумерки, гдв длинныя, несуразныя тыни легли на воду и спрятали прижавшуюся къ берегамъ баржу... Тамъ, дальше, серебрилась переброшенная луною чрезъ ръку искристая дорожка, а здъсь было темно-темно, и лишь яркія звъзды, меланхолически смотръвшія съ голубыхъ небесь на землю, еще ярче отражались въ затвненной горами рвчной поверхности и дрожали вокругъ баржи синими огнями, гасли и вспыхивали, какъ электрическія искры, ослъпительно яркія, большія, синія... Изр'єдка, когда, Богъ въсть откуда, прилеталъ на своихъ крыльяхъ безпечный весенній вътерокъ, — лъсъ вздрагивалъ серебрившейся на лунъ листвою, и легкіе невнятные вздохи весны неребъгали съ утеса на утесъ, скатывались въ темную бездну и здёсь не то прятались въ прибрежныхъ кустахъ оръшника, не то тонули въ слегка зарябившейся ръчной заводи, не то убъгали дальше, на противоположный берегъ, вмъстъ съ серебристою дорожкою дуннаго свъта... Съ напоенной ароматомъ цвъта черемухи и нахучей березы прохладою вътерокъ приносилъ откуда-то отрывки несмѣлой соловьиной пѣсни, журчаніе сбъгавшаго съ горъ по овражку ручья и еще какіе-то странные, таинственные шумы и шорохи... Въ лугахъ по лощинамъ и долинамъ горъ перекликались коростели, на озерахъ и болотинахъ дребезжали лягушки...

Весенняя ночь была полна луннаго свъта, тъней и звуковъ,—и пъсня Кирюхи, грустная, задумчивая, одинокая, такъ гармонировала съ этими голосами ночи, съ этимъ меланхолическимъ блескомъ яркихъ звъздъ и луннымъ свътомъ, съ широкой равниною дремлющей ръки и съ тъмъ общимъ флеромъ грусти, которымъ окутала звъздная весенняя ночь уснувшую землю...

- ...Чужа даль дальняя-а-а —вотъ старо-о-нушка-а-а... вытягивалъ Кирюха, подперевъ рукою голову, и ему было грустно и жалко себя, одинокаго, затеряннаго среди ночи, задумчиво смотръвшей и на воду, и на горы, и на Кирюху...
- Эхъ! Маринушка! выкрикнулъ парень, неожиданно обрывая пъсню, и смолкъ... Прислушиваясь къ голосамъ ночи, Кирюха уловилъ привычнымъ ухомъ характерный шумъ плывущей лодки. Пристально вглядываясь въ серебристую дымку далекаго горизонта, онъ скоро различилъ скрипъ веселъ объ уключины, а затъмъ увидълъ и сверкавшія на лунныхъ лучахъ весла, блиставшія и исчезавшія въ легкомъ голубоватомъ туманъ надъ поверхностью широкой водяной равнины.
- Видно, наши ѣдутъ,—бросилъ вахтенный и тихо побрелъ съ кормы на носъ баржи.

Тонкая мачта тянулась высоко и, казалось, упиралась въ самое небо. Висъвшій на ней фонарь мигалъ на подгорнихъ сумеркахъ красноватымъ огонькомъ и дрожалъ на водъ узкой полоской.

Кирюха посмотрълъ на мачту, на фонарь, на брошенную имъ узкую ленточку отблеска на темной водъ... Чтобы засвидътельствовать о своемъ бодрствованіи, онъ взялъ въ руки колотушку и со всего размаха стукнулъ ею въ чугунную доску... Стукнулъ разъ, другой, третій... а потомъ началъ выбивать не то какой-то сигналъ, не то тактъ пъсни, съ правильными интервалами, дробью, съ moderato и pianissimo...

Мелодичный звонъ металла, казалось, отскакиваль отъ прибрежныхъ горъ и, сливаясь съ собственнымъ эхомъ, несся далеко-далеко по поверхности ръки и заполнялъ окрестность своей гармоничной музыкой.

Когда Кирюхина музыка замерла въ горахъ и ущельяхъ, ръзко выдълился ритмическій стукъ колесъ приближавшагося парохода, глухой и торопливый... Въръчной излучинъ показывались и исчезали за темнымъ

профилемъ горы красный и зеленый огии кожуховыхъ фонариковъ... Стукъ колесъ слышался все отчетливъй и отчетливъй, а потомъ вдругъ выдвинулся изъ-за горы и словно застылъ на мъстъ и самый пароходъ. Корпусъ его гордо поднимался надъ водою и, бълый, блистающій огнями, разръзалъ своимъ носомъ и будоражилъ колесами волжскую гладь...

Кирюха всталь къ борту, широко разставиль ноги и устремился взоромь на быстро скользившій по поверхности и выраставшій пароходь, который, казалось, надвигался съ какой-то суровой рѣшимостью прямо на баржу и грозиль уничтожить ее вмѣстѣ съ Кирюхой... Кирюха не могъ пропустить нароходъ безъ замѣчанія; продолжительное одиночество породило въ немъ желаніе съ кѣмъ-нибудь перекинуться словомъ:

— Эй!.. Пра-хо-о-одъ! — пустилъ Кирюха высокимъ теноромъ.—Пра-х-о-дъ!.. Ось-то въ колесъ-ъ!..

При этомъ Кирюха замахалъ картузомъ и подмигнулъ пароходу.

Но пароходъ совершенно игнорировалъ Кирюхины остроты. Онъ прошелъ почти вплоть дѣловымъ серьезнымъ образомъ, съ шумомъ, стукомъ и пыхтѣніемъ, мимолетно и презрительно взглянулъ на парня своими яркими электрическими огнями, пахнулъ ему въ лицо дымомъ, перегрѣтымъ паромъ и нефтью и удалился, оставляя за собою длинную ленту дыма изъ трубы и серебрившійся хвостъ взбудораженной воды, расходившійся изъ-подъ кормы на двѣ стороны... Прошелъ и закачалъ на волнахъ и баржу, и Кирюху съ все возраставшею силою.

Навъсъ баржевого руля заскрипълъ жалобнымъ стономъ, протянутая съ кормы на берегъ "чалка" закачалась и стала хлопать о воду, а волны сердито захлестали въ бортъ и окатили Кирюху мелкой водяной пылью.

Пароходъ убъжалъ, а ръка стала глухо шумъть, сер-

дито наскакивая на береговую отмель и хмурые утесы... На волнахъ фосфорическимъ блескомъ заиграли лучи луннаго свъта, и ночь словно испугалась и притихла, выжидая, когда Волга снова успокоится и задремлетъ...

Но воть и опять все стихло... Опять несмѣло свистнуль въ горахъ замолкнувшій было соловушекъ, опять въ лугахъ "задергали" коростели, на болотахъ задребезжали лягушки, а Кирюха снова ударилъ въ чугунную доску,—и мелодичная музыка его снова полетъла и въ высь, и въ даль...

- Налягъ! налягъ!..

Сидъвшіе на веслахъ баба съ сбившимся съ головы платкомъ и мальчуганъ безъ шапки изо всъхъ силъ заработали веслами... Лодка круто свернула, юркнула подъ корму баржи и прижалась къ борту. Быстрое теченіе ръки звенъло подъ ея носомъ водяными струями и рвало изъ рукъ Кирюхи принятую имъ "чалку".

— Зачаль! Зачаль проворнъй, —кричалъ стоявшій на руль водоливъ, и голосъ его, грубый и зычный, гулко прокатился въ прибрежныхъ горахъ.

Съ шумомъ грохнулась по борту баржи висячая лъстница, изъ лодки полъзли пассажиры.

Первымъ выскочилъ на палубу подростокъ лѣтъ 14, извѣстный на баржѣ подъ именемъ Жучка. Безъ шапки, босой, суетливый, онъ хлопнулъ дружески Кирюху поспинѣ и звонко закричалъ:

— Рыбы привезли! Гдв у насъ котель-отъ?...

За Жучкомъ поднялась здоровая молодая баба, "водоливиха". Оправляя сбившійся платокъ, она привътливо улыбнулась Кирюхъ и украдкою обожгла его своимъ мимолетнымъ взглядомъ... Самъ водоливъ, Семенычъ, не торопился: онъ снялъ навъсный руль со шииля, весла—съ уключинъ и бросилъ ихъ на дно лодки, подалъ Кирюхъ кулекъ съ рыбой, потомъ, припавъ къ борту, умылся, перекрестился и тогда уже съ достоинствомъ поднялся на палубу баржи.

- Благополучно?—спросиль онъ, разглаживая широкую бороду.
 - Слава Богу!..-отвътилъ Кирюха.
- "Рыцарь" съ Черновскими баржами не проходилъ?
 - Не видать было что-то...
- Въ понедъльникъ насъ "Храбрый" возьметъ... Буксиръ припасайте...

Въ окнѣ миніатюрной будки водолива вспыхнуль огонекъ, полоса упавшаго изъ окна свѣта легла на черныя просмоленныя доски палубы, на свернутый "косякъ" толстаго каната и на край зіявшаго чернымъ отверстіемъ открытаго люка. Изъ растворенной двери каюты водолива вылеталъ звучный молодой голосъ Марипы и звонкій отрывочный альтъ мальчугана... Баржа ожила: ея населеніе закопошилось, и даже куры въ деревянномъ рѣшетчатомъ ящикѣ на кормѣ проснулись и, присоединившись къ общему оживленію, безнокойно закудахтали на своихъ насѣстахъ...

А соловьиная пѣснь не смолкала, и весенняя ночь продолжала говорить на своемъ поэтическомъ языкѣ свѣта, тѣней и звуковъ... Луна поднялась выше и то кокетливо пряталась въ бѣлыхъ облакахъ, золотя ихъ по закраинамъ, то снова выглядывала и появлялась торжественно надъ горами,—и рѣка отвѣчала ей веселой улыбкою... Порой далекій протяжный свистокъ проносился по рѣкѣ, и тяжелое пыхтѣніе буксирнаго парохода висѣло въ ночномъ воздухѣ, длинный хвостъ баржей тянулся за нимъ и огоньки мачтъ на фонѣ пебесной синевы мѣшались со звѣздами...

Марина стояла у пылавшаго очага и варила уху въ большомъ чугунномъ котлъ. Красноватый отблескъ пламени играль на ея молодомь, веселомь лиць, дрожаль тынями на полныхь засученныхь по локоть рукахь, на высокой груди,—и Кирюха, стоя въ тыни, у наружной стынки каюты, искоса посматриваль черезь окно на красивую женщину... Марина временами вскидывала глаза на окно, оправляя безпорядочно падавшіе съ головы на щеку волосы; отъ игравшихь на лиць ея свыта и тыней глаза Марины казались большими и острыми и такъ лукаво щурились на окно, что сердце Кирюхи вздрагивало и билось сильные...

Водоливъ, мужъ Марины, лежалъ тутъ же на лавкѣ; онъ лежалъ въ жилеткѣ съ разстегнутымъ воротомъ рубахи, упершись длинными ногами въ стѣну, и дремалъ подъ шипѣніе котла съ ухой и подъ трескъ горящихъ дровъ и сырой бересты. Загорѣлыя, мускулистыя руки Семеныча лежали на животѣ, а широкая борода съ легкой сѣдиною покоилась на богатырской груди. Семенычъ дремалъ и грезилъ: ему чудилось, что не вода бурлитъ въ котлѣ, а то пароходъ "Храбрый" выпускаетъ пары, принимая на буксиръ баржу его... Капитанъ "Храбраго", когда-то такой же, какъ онъ, водоливъ, кричитъ и ругается въ рупоръ, стоя на мосткахъ трапа:

- Отпусти-и! Отпусти, лѣша-а-ап! Водоливъ, горе! несется по Волгѣ.
- Отвертывай! Отвертывай! кричить Семенычъ Кирюхъ. А Кирюха зря мечется по борту...

Семенычъ грубо ругается въ просонкахъ... Марина пытливо смотритъ то на окно, то на мужа, лукаво ухмыляется и вдругъ исчезаетъ... Чуткая ночь вздрагиваетъ: теплая женская грудь мимолетно прижимается къ груди пария, чей-то голосъ шепчетъ любовно: "приду!" жгучій поцѣлуй остается на толстыхъ губахъ Кирюхи, — и снова все исчезаетъ... Опять ночь грустно смотритъ своими задумчивыми звѣздами, попрежнему надрывается въ чащѣ нагорныхъ зарослей соловушекъ, по-

скринывають въ лощинахъ коростеди... А Кирюха стоить ошеломленный на палубъ безъ картуза, съ широко раскрытыми глазами, и не можетъ понять: сердце ли его такъ громко стучитъ въ груди, или то пароходъ хлонаетъ о воду своими плицами...

- Кирилла! несется изъ каюты зычный окрикъ водолива.
- Есть!—едва переводя духъ, отзывается Кирюха, пятись дальше отъ водоливной каютки, и тяжело отдувается.
- Погляди лодку! Пассажирскій бѣжитъ... Не Лександра ли Мелькурьевскій... Не оторвало бы!..
- Будь спокоепъ!—стараясь быть хладнокровнымъ, выговариваеть Кирюха и, садясь на борть, безсильно опускаеть трясущіяся оть волненія и страха предъ водоливомъ руки и безсмысленно смотритъ на искряцуюся подъ высокимъ бортомъ воду...

"Чорть, а не баба", шепчуть толстыя губы Кирюхи, а Марина уже давно стоить въ дверяхъ каюты и, облокотясь обнаженной рукою на смолистый косякъ, смотрить въ небо...

Слишкомъ ярко блестить, сегодня луна надъ горами, и не видно на небъ темныхъ тучекъ... Ночь коротка... Скоро смолкнутъ соловушки, и хотя спрячется луна и померкнутъ звъздочки на небъ, но золотая зорька заблеститъ на востокъ и стыдливымъ румянцемъ окраситъ горизонтъ, и облака, и воду...

- Марина! Что зазъвалась? Убъжитъ уха-то!— брюзжитъ Семенычъ.
- Погодь! Пароходъ бъжитъ...—не оборачиваясь, досадливо отвъчаетъ Марина, а сама смотритъ въ ту сторону, гдъ на фонъ небесной синевы ръзко рисуется фигура сидящаго на борту Кирюхи съ низко опущенной на грудь головою...

Въ чугунномъ котлъ клокочетъ кипящая уха; рыба съ побълъвшими глазами прыгаеть, какъ живая, и,

кажется, все еще норовить ускользнуть отъ своихъ мучителей. Семенычь съ кряхтѣніемъ поднимается на лавкѣ и, спуская на полъ свои тяжелые сапожищи, сладко потягивается.

- Что-то сонъ клонитъ, Марина!.. Скоро у тебя уха-то?
- Посивла!.. Выспишься... твоя ночка-то!—бросаеть Марина.

Худой и блѣдный Жучокъ, съ тонкой шеей и длинными руками, лежитъ, прикурнувъ па рогожкахъ около мачты. Въ ожиданіи ухи, опъ прилегъ здѣсь, долго смотрѣлъ на небо и звѣзды, разрѣшая самостоятельно тайны мірозданія, и заснулъ безпечнымъ, мирнымъ сномъ усталаго ребенка... Луна скользитъ лучами по его худому личику, придавая ему зеленоватый оттъпокъ, вѣтерокъ треплетъ жиденькіе бѣлые волосы, ноги бѣлѣютъ, какъ новые деревянные кругляши...

- Жукъ! Кирилла! Гдъ вы, дьяволы?.. Идите уху хлебать!—звонко кричить Марина.
- Ко-ко-ко!..—тревожно отвъчаетъ на кормъ пътухъ, заботливо охраняющій свое семейство.

Жучокъ вскакиваетъ на ноги, на мгновеніе останавливается на м'вств, чешется и собирается съ мыслями,—потомъ въ припрыжку несется по палубв. Кирюха идетъ медленно, пехотя, словно уха для него—плевое д'вло...

Вынесли "на волю" столъ. Жучокъ принесъ фонарь и повъсилъ его на стънку будки Ночные мотыльки замелькали вокругъ огня крылышками и стали биться о стекло. Майскій жукъ прогудълъ громкимъ басомъ, хлопнулся гдъ-то близко и смолкъ...

Марина припесла котелъ съ ухою и бросила на столъ партію желтыхъ деревянныхъ ложекъ... Котелъ задымился вкуснымъ ароматнымъ наромъ... Номолились на востокъ и усълись за столъ. Семеньчъ стукнулъ ложкой по котлу и самъ первый отвъдалъ ухи:

- Сладка живеть... удалась!—одобриль онъ, разглаживая бороду.
- А ты думаль, плохо сварю?!—хвастливо замѣтила Марина и тоже потянулась съ ложкой...--За ней—Кирюха и, паконецъ, томившійся долгимъ ожиданіемъ Жучокъ.

Вли молча, торжественно, словно совершали какое-то священнодъйствіе, и строго соблюдали очередь... Ожидая своего череда, Жукъ думалъ, что лучше всъхъ теперь Семенычу, который первый опускаетъ въ котелъ свою ложку; но потомъ сообразилъ и успокоился: можно начать счетъ съ него, Жучка, и тогда онъ на всю уху будетъ первымъ... "Это—какъ считать!"

Семенычъ вытащилъ изъ-за голенища бутыль съ водкой, вышибъ объ руку пробку и поставилъ на столъ.

Марина украдкою подарила Кирюху ласковымъ взглядомъ, и ложка въ рукахъ того задрожала отъ смущенія...

Луна давно уже спряталась за лѣсомъ, въ горахъ. Ночь потемнѣла. Съ юго-запада торопливо побѣжали тучки... Предразсвѣтный вѣтерокъ зарябилъ рѣчную поверхность... Соловушки допѣли свои пѣсни, только неугомонные коростели продолжали поскрипывать съ еще большимъ одушевленіемъ.

Высокія Жегулевскія горы громоздились чудовищными великанами надъ баржею. Вотъ въ свѣжемъ насыщенномъ испареніями воздухѣ пролетѣла съ почлега стая галокъ въ глубокомъ молчаніи, да дикая утка просвистѣла крыльями высоко надъ головою...

На баржѣ спали.

"Вахтилъ" Жукъ. Онъ жался отъ сырости и, чтобы согръться, безпрерывно барабанилъ въ чугунную доску. Это былъ самый бдительный "вахтельный" на всей Волгъ, очень подозрительный ко всякимъ непонятнымъ

ему звукамъ и шорохамъ и воображающій, что безъ "вахтельнаго" могуть утащить чуть ли даже не самую баржу...

Побрякавъ въ доску, Жукъ протяжно выкрикивалъ перенятое имъ на большихъ судовыхъ караванахъ "слушай!" и мужественно шагалъ на корму, огибалъ по борту всю баржу и снова стучалъ въ чугунную доску... Усердіе Жука удивляло даже самого Семеныча.

— Колоти поменьше! Воровъ-мартышекъ не испугаешь, а только доску расколотишь! — шутилъ надъ Жукомъ Семенычъ, но въ душѣ, какъ старый, любящій дисциплину волжанинъ, преклонялся предъ его добросовъстностью. Другой, какъ услышитъ, что водоливъ храпитъ, такъ и самъ, приткнувшись гдѣ-нибудь подъ бортомъ, дремать станетъ... Жукъ не такой: онъ знаетъ, зачѣмъ на вахту поставленъ... Чуть слышно свистнетъ начальство, а Жукъ ужъ отвѣчаетъ:

— Есть!..-и бъжить къ Семенычу.

Можеть быть, причиной такой добросовъстности со стороны молодого матроса была отчасти также и строгость, крутой нравъ Семеныча. Отъ него Жучокъ всетаки теребачки и волосянки видывалъ и былъ свидътелемъ, какъ однажды Семенычъ ругалъ свою молодую жену и грозилъ убить: "къ дереву *) привяжу и изобью, какъ собаку",—кричалъ тогда Семенычъ, и глаза его горъли подъ насупившимися бровями звърской яростью, губы тряслись, а на лбу налились кровью синія жилы...

— Слуш-а-ай!—слабо звучаль подъ горами дътскій голосокъ, и чугунная доска жалобно плакала подъ ожесточенными ударами "вахтельнаго"...

А слушала одна только почь, да горы, да еще Марина, тревожно настораживавшая уши и сверкавшая въ темнотъ почи своими большими глазами...

^{*)} Къ мачтъ.

Было яркое весеннее утро, и Волга лѣниво катила свои глубокія воды, разомлѣвъ подъ горячими лучами солнышка. Чистое небо смотрѣлось въ рѣчную зеркальную гладь и сообщало ей нѣжно-голубоватый оттѣпокъ. Жегули блистали яркой зеленью, красиво оттѣпявшей желтые и бурые выступы сткосовъ... Бѣлыя чайки рѣяли въ програчномъ воздухѣ и трепетали надъ водой крыльями. Даль задернулась голубоватой дымкою, и вся природа улыбалась яркому, горячему солнышку...

День былъ воскресный, и население баржи принарядилось въ лучшія одежды. Семенычъ надёль новые смазные сапоги, выпустиль изъ-подъ жилетки шерстяную рубаху малиноваго цвъта съ горошкомъ, намазалъ голову скоромнымъ масломъ и устроилъ на ней правідльный проборъ на двъ стороны: нацъпилъ цъпочку съ брелоками и держалъ объ руки по преимуществу въ карманахъ своихъ плисовыхъ штановъ. Марина щеголяла въ синемъ шерстяномъ плать и въ накинутой на плечи шелковой желтой шали съ зелеными цвътами по угламъ: въ ея рукъ былъ неразлучный посовой платочекъ съ подсолнухами, которые она, обыкновенно, грызла по праздникамъ съ утра до вечера, скаля свои бълые зубы. Она поджимала сегодня какъ-то неестественно свои алыя губы и манерничала, говорила со всъми на "вы" и старалась походить на тъхъ щеголихъ-мъщанокъ, которыхъ часто видъла на пристаняхъ у большихъ городовъ.

Кирюха, при всей своей бъдности, не желалъ отставать отъ людей; онъ надълъ кумачевую рубаху, подпоясался подъ животомъ "авонскимъ поясомъ" съ молитвою: "На Тя, Господи, уповахомъ", и спряталъ свои босыя ноги въ Богъ въсть какъ попавшія къ нему глубокія барскія кожаныя галоши. Только Жучку не было чъмъ ознаменовать праздникъ...

Кирюха сидъль на носу баржи, на бревенчатомъ об-

рубъ якорнаго ворота и наигрывалъ на вятской гармоникъ "Матаню", тихонько подпъвая:

У Матани—черный глазъ, Онъ горитъ, что твой алмазъ...

и при этомъ разумѣлъ расфранченную и малодоступную теперь "водоливиху"...

Семенычъ съ женой молча и торжественно возсъдали рядышкомъ на лавочкъ, около дверей своей каюты: онъ, сцъпивъ на животъ руки, крутилъ свободными большими пальцами въ разныя стороны и тупо смотьль на свои повые сапоги; она устремила свои съве глаза въ синеватую дымку далекаго горизонта и вызла проворно и настойчиво съмечки, искусно выщая ихъ зубами и откидывая языкомъ шелуху. Порина выглядъла величавой и добродътельной, хотя розовое ушко ея и лукавое сердце прислушивались къ Кирюхиной музыкъ и понимали, про чей это глазъ, перуступающій по игръ алмазу, распъваеть на носу парень...

Синъвшій далеко на горахъ лѣсъ дремаль въ сладкой истомъ и грезиль о чемъ-то несбыточномъ... Бѣлое облачко повисло въ глубокой бездонной синевъ и замерло, любуясь съ безпредъльной высоты на ликующее утро. Черная лодочка, поставленная поперекъ рѣки, плыла но самой ея срединъ, предоставленная волъ теченія... Въ лодочкъ краснъла яркимъ пятномъ фигурка рыбака, собиравшаго съти... Время отъ времени серебрилась игравшая на солнышкъ рыба... Въ прибрежныхъ кустахъ радостно щебетали птицы... Длинноногій куликъ-чернышъ грустно свистълъ, пролетая черезъ ръку къ далекой песчаной отмели... Бълый дымокъ парохода курился съ затуманенной дали.

Никому не хотѣлось говорить: всѣмъ хотѣлось иѣжиться на горячихъ лучахъ весеняго содица и млѣть отъ вѣявшей въ душу свободы, приволья... Семенычъ посматривалъ то на свой сапогъ, то, щурясь, останавливалъ глаза на водъ. Марина затуманеннымъ взоромъ смотръла въ синъющую даль. Кирюха лъниво наигрывалъ "Матаню", пълъ "подъ сурдинку" и тоже смотрълъ куда-то въ пространство...

Одинъ Жукъ не поддавался чарамъ и грезамъ весны: онъ сидълъ подъ баржей въ лодкъ и ждалъ, когда на его булавочную удочку съ бичевкой вмъсто лесы и хворостиной вмъсто удилища клюнетъ, наконецъ, глупый язь или, по крайней мъръ, сумасшедшая чехоня...

Воть откуда-то вътерокъ допесъ хоровую пъсню... Голоса сливались въ довольно стройный аккордь, только высокій дребезжащій теноръ обособлялся и оді ноко замираль и таллъ въ роздухъ.

Семенычъ подошелъ къ борту и сталъ вглядыватьс въ ту сторону, откуда прилетала пъсня.

— Дай-кось беноклю, Мариша!

Марина осторожно, подобравъ платье, просунулась въ узкую дверь каюты, перегнулась и достала съ косяка бинокль въ шагреневомъ футляръ.

— Получите! — сказала она, невозмутимо поплевывая шелухою подсолнуховъ, и, ткнувъ бинокль въ руку мужа, ношла "разгуляться" по баржъ.

Сперва она пошла на корму, потомъ вернулась, прошлась мимо мужа и снова повернула къ кормъ: отсюда она перешла къ другому борту и двинулась по направленію къ носу. Проходя мимо Кирюхи, она повела бровью, сверкнула бълками глазъ и, замедляя шагъ, спросила:

- Что же вы перестали въ гармонью играть?
- Прискучило, Марина Петровна... Въ лѣсокъ бы разгуляться, на травушкѣ-муравушкѣ поваляться... вполголоса отвѣтилъ парень, восхищенный красотою своей "зазнобушки".
 - Чиста краля! —прибавилъ онъ.
 - А сегодня ночка темная будеть, подумала

вслухъ Марина, пропуская мимо ушей комплиментъ Кирюхи, и пошла дальше, не оборачиваясь.

Кирюха понялъ. Онъ заигралъ на гармоникъ веселый мотивъ и съ удалью, но негромко, заиълъ:

Ночка темная на землю упадеть, Ярки звъздочки погаснуть въ небесахъ, Ясны оченьки засвътять во потьмахъ... Ахъ, да сударушка, сударушка моя, Чернобровая, похожа на меня!..

И при этомъ потряхивалъ русыми кудрями и въ тактъ музыкъ притопывалъ тяжелой галошею...

А по ръкъ уже отчетливо и громко неслась хоровая пъсня.

Большая лодка, съ крашеными бортами; перервакта наискось широкую гладь Волги, и три пары весель дружно вздымались и опускались, блистая на солнышкъ.

- A въдь это—гости къ намъ!—произнесъ Семенычъ, не отрывая глазъ отъ бинокля.
 - Чьи? дай поглядъть.
 - Съ Карповской баржи... Филиппъ съ женой...
- Отколь это взялись?.. Протри беноклю-то!..—недовърчиво произнесла Марина.
- -- Да они подъ Ставрополемъ стоятъ, нарохода ждутъ тоже...

Лодка приближалась, пъсня звучала громче, долетали уже отдъльные голоса, смъхъ... Вотъ съ лодки замахали платочкомъ.

- Опи!--выкрикнулъ Семенычъ, помахалъ руками и пронзительно свистнулъ.
- Есть—глухо отвѣтилъ голосъ Жучка изъ-подъ баржи, а потомъ и самъ Жучокъ вскарабкался на палубу, худой и поджарый.
 - Гръй самоваръ! Провориъй! Гости...
 - Духомъ!..

По баржевой мачть поползъ комомъ свернутый

флагъ, потомъ вдругъ развернулся и выономъ зангралъ въ воздухѣ,—то Кирюха привътствовалъ гостей.

Марина уже была въ каюткъ, вертълась передъ зеркаломъ и лукаво ухмылялась, довольная собой и своимъ платьемъ.

- Кирилла! Знаешь, братецъ, что?—спросилъ Семенычъ, уперевъ въ бока руки и смотря въ землю.
 - Что скажешь?
- Сладка наливочка у насъ есть, а вотъ водченки надо бы раздобыть...
- Что же, можно,—отвътилъ Кирюха, лѣниво почесывая за ухомъ.—На лодкъ—далеко, долго прокаталажишься. Горами—надо... Жучокъ смахаетъ...

Обсудивъ дѣло, порѣшили отправить въ деревню, что затерялась въ лощинѣ между горъ, верстахъ въ лвухъ отъ мѣста стоянки, Жучка, котораго и снабдили пустымъ штофомъ. Кирюха перевезъ мальчугана съ баржи на берегъ и подробно разсказалъ, какъ идти и гдѣ искать броду чрезъ бурлившую въ глубокомъ оврагѣ, за первой горой, рѣченку.

Жукъ вскарабкался на самую кручу, чтобы обозрѣть окрестность и опредѣлить направленіе своихъ изысканій... Съ баржи онъ казался пигмеемъ: что-то маленькое, жалкое и ничтожное шевелилось въ зелени и ползло по желтымъ откосамъ, осыпая по пути гальки и песокъ... Напуганный ястребъ сорвался изъ-подъ Жука и, распластавъ свои крылья, повисъ надъ водою... Жукъ лукнулъ въ него камнемъ, но хищникъ только слегка дрогнулъ крыльями и началъ плавно кружить въ воздухѣ...

Жукъ смотрѣлъ на открывшуюся предъ его глазами величественную панораму, на необъятную водную равшину, на окутанныя сизымъ туманомъ горпыя вершины и на голубой океанъ развернувшихся небесъ... Смотрѣлъ и думалъ: "Гдѣ-то тамъ, далеко-далеко, за рѣкою, за лѣсомъ, за синими горами есть копецъ земли, и тамъ

по отлогому небу сходять на землю святые ангелы и уводять съ собою души умершихъ праведниковъ къ Господу..." И бълоснъжное облачко, что пряталось за синимъ гребнемъ далекихъ горъ, казалось этому маленькому человъчку свътлой одеждою ангеловъ, забытой ими на томъ мъстъ, гдъ кончается земля...

Предназначенная для водки бутыль вдругъ выскользнула изъ рукъ Жука и со звономъ покатилась внизъ, подпрыгивая на буграхъ и ямахъ, а за ней покатился комомъ и самъ очнувшійся отъ чаръ фантазіи босой мечтатель...

Прежде чѣмъ сдѣлаться водоливомъ, Семенычъ прошель суровую школу волжской рабочей карьеры.

Началь онъ свою службу въ крючникахъ и лѣтъ пять, какъ вьючное животное, гнулся съ утра до ночи—а иногда и до свѣту—подъ тяжелыми кулями, мѣшками, тюками, бочками и ящиками... Подрядчики — хитрый народъ: они знають, какъ и чѣмъ кого работать больше заставить: на однихъ покрикивають, другихъ штрафами донимають, а третьихъ "лаской" берутъ.

На "ласку" и Семенычъ падокъ былъ.

Бывало, страшно посмотрѣть на тюкъ. Крючники почесываются, не зная, съ которой стороны подойти къ нему. А время не теритть: пароходъ дрожитъ подъ парами, два свистка подалъ: капитанъ то и дѣло кричитъ съ трана приказчику: "Готово?"

- Ну! мелюзга! Никто, поди, не возьметь одинъ?—выкрикиваеть хитрый подрядчикъ. А у падкихъ до похвалы, до ласки сейчасъ и гордость поднимается... Какъ это-мелюзга? по какому случаю мелюзга?!.
- Вали, робя!—храбро заявляеть, выходя впередь, Семенычь.
- Гдѣ тебѣ!.. Нѣтъ ли кого посильиѣе? .—посмѣивается подрядчикъ.

— Клади, робя! Не такую тягу нашивали...—бахвалится Семенычь, которому хочется своей богатырской силою похвастаться.

Нъсколько человъкъ хватается за кладь, съ дружной пъсней поднимаютъ ее на воздухъ, а Семенычъ смъло идетъ подъ грузъ, низко нагибаетъ свою широкую спину съ "съдломъ", широко разставляетъ ноги и ждетъ... Вотъ насъла тяга на спину — хрустнули косточки, придавила—вздохнуть нельзя... Лицо Семеныча кровью налилось, на толстой шеъ жилы вздулись, какъ веревки, на раскрытой волосатой груди—потъ выступилъ, ноженьки трясутся...

— Съ Богомъ! — напутствуютъ товарищи.

Семенычъ тихо шагаетъ по скрипящимъ мосткамъ; поги у него словно деревянныя, въ колѣняхъ не гнутся и, какъ жерди, подпираютъ громадину...

— Сторонись! Груша!..—сипло кричить, не глядя на людей, крючникъ.

А подрядчикъ вслухъ удивляется:

— Ну, и силища проклятая! быкъ, а не человѣкъ!... А тому и любо: радъ стараться изъ-за чести...

Съ ранней весны до глубокой осени ходилъ Семенычъ въ крючникахъ, работалъ изъ-за куска хлѣба и старался "изъ чести", а на зиму отправлялся въ затоны "на зимовки"—чернорабочимъ... Нѣсколько лѣтъ плоты по Камѣ гонялъ, на желѣзныхъ караванахъ сторожемъ плавалъ, потомъ въ матросы попалъ сперва на баржу, а послѣ—на буксирный. Матросъ изъ него вышелъ отмѣнный, хозяева дорожили имъ. Другихъ на зиму разсчитывали, а его на зимовки брали,—надежный человъкъ...

Хлебнулъ-таки Семенычъ горя около Волги-матушки, по зато она и въ люди его вывела: Семеныча водоливомъ назначили... А водоливъ—какое ни на есть начальство. Конечно, лестиве было бы въ лоцмана понасть, потому что плохъ тотъ лоцманъ, который не на-

дъется въ капитаны на буксирный попасть. Однако Семенычь и тъмъ доволенъ, что Богъ далъ: оно хоть и не видно, да сытно... Изъ Нижняго съ ярмарки онъ панскаго товарцу забиралъ, въ Казани—татарскаго мыла прихватывалъ, въ Самаръ — пуховыхъ платковъ оренбургскихъ, — и все это везъ въ низовья и на стоянкахъ по селамъ и слободамъ съ большимъ барышемъ продавалъ, а изъ Астрахани везъ въ верха — арбузы, дыни, виноградъ, айву, помидоры, красную рыбку, тайкомъ за безцънокъ отъ "вольныхъ ловцовъ" перекупленную, — и тоже копъечку зашибалъ. За навигацію сотню жалованьемъ получалъ, да столько же торговлей своей промышлялъ. Зимой тоже зря не болтался: на зимовки брали и двънадцать рублей на хозяйскихъ харчахъ отваливали...

За семь лѣтъ своей службы водоливомъ Семенычъ успѣлъ сотни три скопить, кромѣ добра всякаго изъ одежи, и на сорокъ шестомъ году жизни жениться падумалъ: высмотрѣлъ себѣ "кралечку" въ Покровской слободѣ, подъ Саратовомъ, Марину, мѣщанскую дочь, молодую дѣвку, бойкую... Говорили тогда Семенычу сродственники:

-- Опасайся: не по лътамъ берешь! Въ слободъ баба балуется, дъвка вольничаетъ...

He послушался совътовъ: крѣпко приглянулась дъвка веселая.

- Пятнадцать годовъ по Камѣ и Волгѣ плаваю, всякой бабы и дѣвки достаточно видѣль... Ну, а такой не подвертывалось, не случалось...
 - Ой, опасайся, борода!...

На себя Семенычъ кръпко падъялся: какъ, молъ, такого молодца не полюбить? И ростомъ вышелъ, и съ лица—ничего, и копъечка на черпый день припасена... Воля у мужика была желъзная, нравъ крутой, гордый, повелительный.

[—] Со мной въдьма поживетъ, — шелковая станетъ! —

хвастался Семенычъ передъ сродственниками за бутыл-кой вина.

Въдьма, можетъ быть, и дъйствительно притихла бы, поживъ съ своенравнымъ волжскимъ богатыремъ... да вышло, что Покровской слободы баба похитръй другой старой въдьмы будетъ... Конечно, слобода подгородная, богатая, народъ гладкій, смълый и вольный... даже дъвка и та всякое смиреніе и кротость давно растеряла...

И дъйствительно, только одиу навигацію Семенычь съ молодой женой проплаваль, а опасаться ужъ сталъ. Такъ баба дъльная, работящая, другого мужика за поясъ заткнеть, веселая, проворная, ласковая, а что касается скромности,—оказалась недохватка. Любить съ молодыми матросами языкъ почесать, зубы поскалить, и смълость для мужней жены—неподходящая...

Вздумалъ ее Семенычъ уму-разуму поучить, да не таковская была: кричалъ, какъ хотълъ, ругалъ, какъ только могъ хуже, даже руку заносилъ...

Но ударить не пришлось. Сразу и освчка вышла.

"Поиграла" молодуха на стоянкъ съ чужимъ матросомъ: онъ ей бровью моргнулъ, она его ладонью по спинъ вытянула,—вотъ и вся игра. Однако Семенычъ полагалъ, что мужней женъ это—дъло неподходящее, и, когда свечеръло, а пародъ притихатъ сталъ, водоливъ жену ругать началъ. Другая баба смолчала бы, а эта: онъ ей—слово, она ему два... Взбъленился Семенычъ, глаза кровью налились, губы затряслись. Занесъ руку и хотълъ Марину на отмашь хватить. А та, какъ кошка, изъ-подъ руки юркнула да къ борту, ногу за бортъ перекинула и кричитъ!

— Ударь! Попробуй!...

Трудно было Семенычу съ собой совладать, однако взялъ себя въ руки. Съ такой бабой кулакомъ, видно, не приходится... Плюнулъ Семенычъ и въ каюту ушелъ. Отъ злости и досады самоваръ на палубу вышвырнулъ

и легъ... Все ждалъ, когда шальная баба спать на положенное ей мъсто придетъ.

Такъ до свъту у борга и просидъла...

- Марина! Подь сюда! Я тѣ ничего не сдълаю,— нѣсколько разъ говорилъ Семенычъ, подходя къ двери.— Смотри! зорька играетъ, свътло будетъ скоро. Люди увидятъ, нѣшто хорошо?
- Сыми образъ, вынесь къ дверямъ да поклянись, что бить не будешь!..

Долго Семенычъ отъ клятвы воздерживался: все рука чесалась, все надъялся "поучить"... Но не дождался, строптивый...

Когда солнышко яркимъ свѣтомъ изъ-за горъ брызнуло и птички въ кусточкахъ запѣли, Семенычъ выпесъ изъ двери Матерь Божію, сказалъ: "пальцемъ не трону!" перекрестился, приложился и ласково произнесъ:

— Богъ тебя простить! Иди, шельма, спать!..

Сейчасъ же пришла, метнулась на постель и своей мягкой рукой грубую шею Семеныча обвила...

— У-у! дьяволъ! — буркнулъ тотъ...

Долго пировали на баржъ... Четыре самовара вынили, уху стерляжью варили, мужики водочки, а бабы красной сладкой вишневочки выпили; пъли пъсни, смъялись. Кирюха неустанно пищалъ на гармоникъ, а нодвынившій Филиппъ все покушался "барыню" плясать, да илохо слушались ноги: помнется на мъстъ, постукаетъ тяжелымъ саногомъ, и вдругъ хмъль отшибетъ его въ сторону и спутаетъ...

— Нътъ... Старъ становлюсь... Ухъ! душа зашлась... — говоритъ Филиниъ, отдуваясь, садится на лавку и вытягиваетъ ноги.

Кирюха смотрѣль-смотрѣлъ, да какъ сорвется съ мѣста... Сбросиль съ ногъ тяжелыя господскія галоши, пустился въ присядку, затрясъ русыми кудрями... Самъ на гармоникъ играетъ, удалецки гикаетъ и подпъваетъ:

Ахъ, барыня ты моя, Сударыня ты моя, Сдълай милость—не сердись— Лицомъ бълымъ повернись...

У Марины щеки загорѣлись, глаза заискрились, ножка въ козловомъ башмачкѣ притопывать каблучкомъ съ подковкою стала... Не стерпѣла Марина: поднялась и пошла павой выхаживать, плечомъ поводить и платочкомъ помахивать.

Гости похваливають. Семенычь, глядя на свою молодую жену, удовольствие чувствуеть... Даже Жучокъ, лежавшій поодаль на животь, осклабился и босой ногой началь по палубъ пристукивать...

Только рябая, широколицая и курносая Өекла, жена Филиппа, не смъялась,—Өеклу зависть брала: перещеголяла ее водоливиха и платьемъ, и серьгами, и обращеніемъ...

- А вы, Өекла Егорьевна, что не пройдетесь за канпанію—спрашиваеть, подсаживаясь къ гостью, Семенычь.
- Гдъ ужъ намъ супротивъ вашей супружницы? обидчиво отвъчаетъ Өекла, складывая руки крестикомъ.

Время шло къ вечеру. Солнце пряталось за горами и золотило прощальными лучами гребень Жегулей. Отъ горъ упали на воду длинныя тѣни. На горизонтѣ стала сгущаться голубая дымка вечерняго тумана. Изъ лощинъ и овраговъ полилась волнами прохлада. Сильнѣе запахло березой, черемухой и громче откликнулось въ горахъ эхо пароходныхъ свистковъ... Золотомъ, пурпуромъ подернулась уже кое-гдѣ гладкая поверхность рѣки, и облака на западѣ стали все сильнѣе розовѣть и золотиться...

Гости собирались домой.

20

Подгулявшіе матросы поскакали въ лодку, чтобы оправить ее, черпакомъ воду отлить, сердитой Өеклъ на лавочку сънца положить...

Хозяева кланялись и просили посидѣть. Захмелѣвшій Филиппъ, пожалуй, не прочь былъ бы и еще выпить, но Өекла твердила: "много довольны, благодарствуемъ!" и такъ сердито взглядывала на мужа, что тотъ волей-неволей поддерживалъ:

- Нътъ... Много довольны на угощеніи... Къ намъ милости просимъ!..—И кланялся.
- А ты собирайся, будеть кланяться-то!.. Видишь, подувать стало...
 - Эге-ге-ге! Смотри, ночью дождь хватить...
- Далеко, успокоительно отвѣтилъ Кирюха, посмотрѣвъ въ небо.
- Да намъ что? Мы вотъ вывдемъ на стрежень, вздернемъ парусъ и засмаливай!

Спустя нъсколько минутъ лодка съ гостями отдълилась отъ баржи, шесть веселъ дружно ударили по водъ, заскрипъли уключины, и зазвенъла подъ острымъ носомъ лодки вода золотая...

- Счастливо оставаться!
- Будьте благополучны!

Проводили гостей. На баржѣ сразу стихло, и всѣмъ немного скучно стало...

— 0, Господи!—прошенталъ Семенычъ, позѣвывая, перекрестилъ ротъ и пошелъ въ каюту отдохнуть.

Марина долго сидѣла на лавочкѣ и смотрѣла на тускнѣющій вечеръ, на синѣющія вдали сказочными замками горы, на багровый отблескъ спрятавшагося солнца, на мерцающій на плотахъ огонекъ, на алую, какъ кровь, воду... И Маринѣ казалось, что гладкая поверхность рѣки уносить ее съ собою далеко-далеко, на любимую родину, туда, гдѣ прошли золотые дни дѣвичьихъ грезъ, первой сердечной тревоги, первыхъ стыдливыхъ поцѣлуевъ.

Весело теперь въ слободъ! Каждый день, какъ только сядетъ солнце и въ воздухъ разольется весенняя прохлада, а на огородахъ "задергаетъ" коростель; какъ только на темно-голубыхъ небесахъ зарумянятся причудливыя облака, а надъ ухомъ затрубитъ комаръ, — со всей слободы собираются на лужокъ къ церкви дъвки да молодыя бабы, парни да малые ребята, и хороводная пъсня несмолкаемо стоитъ надъ селомъ. То протяжная и грустная, то веселая, удалая, она далеко разносится звонкими дъвичьими голосами среди стихающей природы... Долго, почитай до свъта, не смолкаютъ пъсни, долго на лужкъ не кончаются игры и пляски, долго надъ слободой носится веселый говоръ и беззаботный смъхъ...

Но воть хороводъ смолкъ. Говоръ и смѣхъ — все рѣже и тише, и громче разносится лай собаки... Гдѣ-то одиноко попискиваетъ еще гармоника, но и та скоро обрывается... Слобода спитъ глубокимъ сномъ...

Только не спитъ Марина: черезъ плетень сада смотрятъ на нее ненаглядныя очи молодца, цѣлуютъ уста горячія...

Заныло сердечко водоливихи отъ дорогихъ воспоминаній, всплакнуть захотѣлось... Подперши рукой подбородокъ, она тихонько запѣла:

Гдѣ ты, милый, скрылся, гдѣ тебя иска-а-ть... Заставилъ крушиться, плакать, горева-а-ть.

А съ ръки подувалъ вътерокъ.

Вотъ солнце потухло, и облака померкли. Тучки ползли, словно изъ-подъ земли, толпились на горизонтъ... Луна тусклымъ пятномъ смотръла черезъ облачную гряду. Волга потемнъла. Мелкой рябью побъжалъ по водъ вътеръ. Забытый на мачтъ флагъ затрепеталъ и забился. Скрипнулъ навъсъ тяжелаго руля... Сорвался съ высоты прибрежныхъ горъ рыхлый камень и булькнулъ подъ обрывомъ... Съ шумнымъ говоромъ про-

летьли грачи на ночевку... Тамъ и сямъ по Волгь загорълись огоньки судовъ. На плотахъ запылалъ костеръ—сплавщики ужинъ начали готовить... По берегу, подъ горами, расползалась темень и надвигалась на баржу... Отдаленный громъ прокатился глухимъ раскатомъ въ Жегуляхъ, и шорохъ дождя побъжалъ по горамъ, а густой туманъ сталъ заволакивать перспективу... Съ плота доносилась перекличка рулевыхъ рабочихъ, протяжная, тяжелая, уносимая вътромъ навстръчу опускавшейся почи, похожая на стонъ больного человъка...

Къ ночи разгулялась непогода. Вътеръ кръпчалъ и гналь темныя волны на берегь, трепаль мачтовыя снасти и шумълъ въ горахъ лъсомъ. Темныя тучи двигались по небу уродливыми массами и, вползая все выше, заволакивали остатокъ синъющаго просвъта... Волны все сильнъй наскакивали на бортъ баржи и, разбиваясь съ шумомъ, рушились, уступая мъсто новымъ натискамъ. Чугунная доска покачивалась и, стукаясь краемъ о мачту, гудъла, какъ отдаленный набатный колоколъ. Прятавшаяся за баржей лодка качалась, жалась къ борту и все тревожнее постукивала въ него носомъ. Руль и каютка водолива скрипъли досками... Разръзаемый мачтовыми снастями, уныло свистыль вытеры... Изръдка горизонтъ вспыхивалъ заревомъ молніи и на мгновеніе освіщаль черную водяную равнину сь бізлъвшими на ней гребнями волнъ, угрюмыя горы и прижавшуюся у берега барженку, послушно покачивавшуюся изъ стороны въ сторону, одинокую, заброшенную...

На вахтъ стоялъ Кирюха.

Когда вспыхивало зарево молніи, фигура "вахтельпаго", въ куцомъ тулупчикъ, съ треплющимися подъ картузомъ волосами, казалась безпомощной и миніатюрной. Жукъ давно уже забрался въ трюмъ. Маленькое кругленькое окошко "подводной каюты" онъ закрылъ щиткомъ, и отыненая волна не могла уже сюда забрасывать воду. Въ самомъ углу здъсь были устроены нары. Жучокъ разостлаль на нихъ рогожку, легъ и прикрылся кафтаномъ Кирюхи. Въ бортъ, надъ самой головой Жучка, хлестали волны. Временами казалось, что вотъ-вотъ сейчасъ бортъ проломится и сердитыя волны съ неудержимою силою хлынутъ въ трюмъ... Иногда удары ихъ были настолько сильны, что вся баржа вздрагивала, а Жучокъ испуганно приподнималъ голову, смотрълъ въ темноту и прислушивался: не льетъ ли гдъ вода?..

Здѣсь было совершенно темно, и лишь полузакрытый люкъ бѣлесоватымъ пятномъ дрожалъ въ темнотѣ надъ головою Жука, да порой одинокая звѣздочка заглядывала на Жучка и быстро исчезала.

Надо бы уснуть: послѣ полуночи Жучку придется Кирюху смѣнить, на вахту становиться, а сонъ не идетъ... При каждой вспышкѣ молніи Жукъ открываетъ глаза: поперечные скрѣпы баржи, какъ ребра гигантскаго скелета, рисуются передъ нимъ, синій отблескъ молніи дрожить, ослѣпляя эрѣніе, а потомъ вдругъ покатится громъ и начнетъ грохотать въ Жегуляхъ такъ, что сердце упадетъ...

— Боже милостивый! Спаси и помилуй!—набожно крестясь, шенчеть Жукъ.—Что это? Неужто—вода ворвалась?!.

Жучокъ вскакиваетъ, спускаетъ съ наръ ноги и вслушивается...—Нътъ... Слава Богу!.. Это—дождь, дружный, проливной, зашумълъ по водъ и запрыгалъ по палубъ.

То сильнъй онъ шумитъ, то ослабъваетъ, словно подумаетъ немного да опять поръшитъ ударитъ... Гдъ-то протекаетъ палуба... "Такъ-такъ-такъ-тукъ" прыгаютъ въ трюмъ капли воды, все чаще, чаще, чаще и, наконецъ, сливаются въ безпрерывную струйку...

"Воть такъ же протекала крыша у нихъ съ тятень-

кой въ хибаркъ, когда они жили подъ Царицынымъ. И ночь такая же страшная была... Такъ же молнія дрожала"...

И память рисуеть предъ Жучкомъ прошлое: образъ погибшаго на Волгъ отца встаетъ передъ нимъ въ темнотъ ночи...

Они съ тятенькой "мартышками" были; жили вдвоемъ на берегу Волги подъ Царицынымъ въ убогой хибаркѣ; стѣны и полъ жилища ихъ были земляные, а крыши совсѣмъ не было, и вмѣсто нея былъ одинъ потолокъ, крытый старыми досками, ставнями, палками, всякой дрянью и мусоромъ. У нихъ была лодка-душегубка, шесты сосновые, бичевка съ грузомъ и крюкомъ, багоръ, топоръ и ружье съ некрашенымъ березовымъ прикладомъ, т. е. полное обзаведеніе "промысла вольнаго"... Жили они вольно и весело, какъ вообще живутъ всѣ "мартышки"...

Царицынъ-городъ живой, бойкій, торговый; здісь много пристаней: пароходная, лъсная, нефтяная, соляная; Волга кишмя-кишить пароходами, плотами, барками, додками, и по всему берегу гулъ и стонъ идетъ: стучать колесами, свистять и пыхтять пароходы; вздыхають локомотивы и гремять буферами длинные повзда съ нефтью, солью, лъсомъ; ухаютъ "поповки", перекачивающія изъ баржей въ баки нефть; рабочіе безостановочно въ разныхъ концахъ поютъ свой "ой разокъ, да воть разокъ, еще махонькій разокъ!" Бабы-грузчицы у соляныхъ амбаровъ визжатъ, поютъ и ссорятся... Стукъ, громъ, бряканье, крики, говоръ, смъхъ... Жизнь кипить пестрая, шумная у великой ръки, тысячи народа около нея въ потъ лица кормятся, богатъють проныры и степенные купцы... Не плохо живется здѣсь и "мартышкъ" исправному, съ обзаведеніемъ да со сметкою...

Коротка зима здѣсь, и трудно "мартышкѣ" всего какихъ-нибудь три-четыре мѣсяца. Вскроется рѣка, заблестятъ на солнышкѣ обломки оковъ ледяныхъ, — и "мартышка" просыпается отъ зимней спячки и крестится, оправляетъ свою лодочку, чинитъ свои доспѣхи и съ трубочкой на берегу посиживаетъ, щурясь отъ яркаго весенняго солнышка. Со льдомъ не мало всякаго добра къ морю Каспійскому плыветъ: дрова, поднятыя вешней водой, корчи, вырванные льдомъ, лодки поломанныя, бревна, а порой и цѣлый дощаникъ или затопленная барженка тихо движется. Тутъ только посматривай!..

Скользить, ныряеть между льдинами душегубка-лодочка съ отчаяннымъ "мартышкою", и все, что годится, онъ либо къ себъ береть, либо за корму причаливаеть. Проворнымъ, смълымъ надо быть, умъть по льдинамъ прыгать и холодной воды не бояться; глазъ тоже зоркій требуется... Иной разъ одно бревнышко уловится и то—спасибо: три-четыре цълковыхъ еврей-маклеръ дасть, а попадается лодка — всю пятишну выручишь...

Весной въ половодье и осенью бури выручають, хорошій заработокъ "мартышкъ" даютъ. Разгуляется, защумитъ ръка и вездъ бъдъ натворитъ: разорветъ, разобьетъ плоты, оторветъ лодку, сброситъ мостки, будку баржевую, иной разъ заборъ цълый,— и все это несетъ съ собой и по берегамъ раскидываетъ...

Затишье только кореннымъ лѣтомъ бываетъ, и если "мартышка" не оставилъ добра про запасъ, —то ловитъ рыбку, дикихъ утокъ на озерахъ за Волгой пострѣливаетъ, а то шныряетъ на своей лодочкѣ ночью между судами по караванамъ и пристанямъ и гдѣ что плохо лежитъ — присматриваетъ...

Вольный человъкъ — "мартышка", гордый, заносчивый, отчаянный, любитъ водочки выпить; кланяться ни купцу, ни приказчику не станетъ и на черную работу не пойдетъ; никакого начальства знать не хочетъ: "Одно, говоритъ, у меня начальство—Волга-матушка: она меня

и накормить, и водочки поднесеть, и зам'ьсто матери убаюкаеть!"

Вотъ такой же отчаянный человъкъ былъ и тятенька у Жука. Выпьетъ,—такъ ему море по колъна; никакая буря его не испугаетъ, если зоркій глазъ добычу услъдить хорошую...

Однажды весной, въ половодье, ночью, вотъ такъ же, какъ теперь, непогода бушевала на Волгъ, вътеръ свистълъ и волны хлестали. Ночь темная была, молнія синимъ огнемъ блистала и громъ грохоталъ въ тучахъ, нависшихъ надъ ръкою и городомъ...

Сидъли они съ отцомъ въ своей хибаркъ. Отецъ выпивши былъ... Хотъли поужинать да спать ложиться варили на очагъ раковъ... Дождь лилъ, какъ изъ ведра, словно небеса прорвало, и съ потолка такъ же вотъ, какъ теперь, водица струилась...

Вышель отецъ посмотръть, что на Волгъ дълается, и при яркомъ блескъ молніи запримътиль, что дощаникъ несеть опрокинутый. Жадность человъка обуяла, — поймать захотълось.

- Тятенька! седни и такъ много наудили... Брось!— говорилъ сынишка, когда отецъ, вернувшись въ хибарку, за весла схватился.
- Ты доваривай раковъ-то, а я сейчасъ ворочусь!.. Этакого осетра нельзя безъ вниманія оставить... Господи, благослови!..

Вышель, съль въ свою душегубку и пропаль въ темнотъ ночной... Не вернулся тятенька раковъ ъсть... Унесъ вътеръ удалую голувушку на стрежень, захлестнула волна лодочку, и погибъ человъкъ безъ покаянія...

Бушуетъ непогода. Покачивается и скрипитъ рулемъ баржа. Волны быютъ въ борта, и шумятъ, и хлещутъ...

И чудится Жуку, что въ ночной темнотѣ слабо, чуть слышно, носится уносимый вѣтромъ жалобный крикъ человѣка о помощи...

— Господи! Спаси и помилуй!

Неотпътая душа долго по землъ скитается, скорбитъ и тоскуетъ по земной юдоли своей...

Кто знаеть, быть можеть, то грѣшная душа потонувшаго тятеньки носится надъ своей могилою-Волгою и стонеть, скорбить передъ вѣковѣчною разлукою съ людьми и землей?.. Можеть быть, она ищеть сына родного, проститься съ нимъ хочеть и зоветь его?!.

— Господи! Спаси и помилуй! Помяни его во царствіи Своемъ!..

Дождь пролилъ, притихъ. Усталъ, ослабѣлъ вѣтеръ. Ураганомъ пронеслась непогода надъ Жегулями, и на востокѣ робко выглянула небесная синева, а на ней мигнула одинокая звѣздочка. Но по небу еще безпорядочно ползали тучи, громоздились въ горныя цѣпи, разрывались и плыли за Волгу, гдѣ перекатывались глухіе раскаты грома и гдѣ вспыхивало и дрожало зарево молніи...

СТУДЕНТЫ ПРІВХАЛИ.

I.

Дъло было въ началъ восьмидесятыхъ годовъ. Если для жителей различныхъ центровъ слово студенть давно уже потеряло всякую привлекательность, очистилось отъ поэтическихъ прикрасъ и утратило свой туманный, но задумчивый ореоль, которымь это слово, подобно имени какого-нибудь богатыря древняго эпоса, было окружено "во время оно"; если съ этимъ словомъ въ сознаніи мирныхъ, благодушныхъ и благонамфренныхъ гражданъ центра теперь связывалось неизбъжное представление о небрежно одътомъ, полусытомъ, пожалуй, лохматомъ, но ужъ непремънно неопытномъ молодомъ человъкъ, который во всякую минуту готовъ надълать непріятностей начальству или нарушить установленный порядокъ, -- то для обывателей захолустнаго увзднаго городка Сердянска это слово сохраняло еще тогда полную свою невинность...

Сердянцы имъли весьма туманное представленіе объ университетахъ: послъдніе представлялись имъ какъ бы громадными фабриками, гдъ выдълывались доктора, судебные слъдователи, учителя и другія лица, получающія приличное содержаніе и сразу скачущія въ титулярные совътники. Естественно, что обстоятельство это внушало къ студенту, можно сказать, неподобающее уваженіе, а вмъстъ съ тъмъ заставляло сердянскихъ обывателей удивляться и той фабрикъ, которая въ какихъ-нибудь четыре-пять лътъ сообщаетъ молодому человъку столь чудесныя свойства. Что творится въ этой фабрикъ,—сердянецъ не зналъ; какъ тамъ изъ одного молодого человъка приготовляютъ доктора, а изъ другого — слъдователя,—ему было неизвъстно. Но обыватель справедливо полагалъ, что дъло это—нелегкое.

— Легко сказать, восемь лътъ въ емназіи, да четыре въ универстеть!—восклицаль онъ съ благоговъйнымъ ужасомъ и задумчиво добавляль:—Да-а, наука-съ!...

Сердянскіе обыватели, не будучи въ состояніи понять, какимъ образомъ, напримъръ, изъ сына мъстнаго священника, Петеньки, который еще на памяти у всъхъ бъгалъ босикомъ и даже, съ позволенія сказать, безъ штановъ, можно было приготовить слъдователя,—были склонны признавать здъсь нъчто чудесное, почти фантастическое.

- Батюшкинъ-то сынокъ-съ, слъдователемъ!—замъчалъ одинъ обыватель.
- Полторы тысячи *одного* жалованья! добавляль другой.
- Да-а,—задумчиво заканчивалъ третій,—воть оно, что значить образованьице-то! Полторы тысячи!.. Нау-ка-съ великое дѣло!..

Такъ разсуждали люди степенные, отцы семействъ. Матери смотръли гораздо проще; здъсь наука совершенно игнорировалась, никто не восклицалъ, что она великое дъло; напротивъ, на нее смотръли какъ на какого-то непріятеля, съ которымъ борется учащійся сынокъ, какъ на рядъ непріятностей, лишнихъ трудовъ и мученій, которые приходится встрътить на пути къвыходу "въ люди"... [Наука представлялась матерямъ сильнымъ врагомъ, съ которымъ дъти борются въ теченіе многихъ лътъ, и побъда надъ которымъ награждается хорошимъ мъстомъ. Сердянскія матери высчитывали по пальцамъ, сколько лътъ еще остается ихъ му-

ченикамъ-дъткамъ до окончанія гимназіи, а потомъуниверситета, сколько они будуть впослёдствіи получать жалованья въ годъ, вычисляли, сколько это составить въ мъсяцъ, а находились и такія любознательныя, что узнавали даже, сколько придется на день!.. Дъвицы опять смотръли по своему. Для дъвицъ студенть представлялся идеальнойшимъ женихомъ, выйти замужъ за котораго казалось такъ же заманчивымъ, но недостижимымъ, какъ выиграть, не имъя билета, 200 тысячь, или, по крайней мфрф, сдфлаться исправницей, т. е. первою дамою во всемъ городъ. Дъвицы считали студента первосортнымъ кавалеромъ, "душкою", отъ котораго всегда пахнетъ духами, который умфетъ смфшить до слезъ, разсказывать самые занятные анекдоты, танцовать мазурку и вообще--такимъ интереснымъ молодымъ человъкомъ, съ которымъ очень-очень весело... Почему такъ думали сердянскія дівицы, — сказать весьма затруднительно. До сихъ поръ онв не имвли счастія видъть въ своемъ обществъ кавалера-студента. Пріъзжаль, года два тому назадь, въ Сердянскъ студенть ветеринарнаго института, который бы долженъ былъ окончательно разочаровать мъстныхъ дъвицъ, такъ какъ не удовлетворялъ созданному идеалу ни въ одномъ изъ указанныхъ положеній... Но дівицы не разочаровались: онъ почему-то не считали его студентомъ, говоря: "это какой студенть! ветеринарный!... Не настоящій!.."

Теперь вы поймете, съ какимъ нетерпѣніемъ и тревогою въ Сердянскѣ ожидались свои студенты. Нынѣшнимъ лѣтомъ должны были пріѣхать туда два вновь испеченныхъ студіоза: сынъ мѣстнаго почтмейстера; Гавринька (такъ всѣ его звали гимназистомъ) и еще другой сынъ... (представьте себѣ, чей сынъ!..) сынъ проживавшей на Бутыркахъ бабы-садовницы!.. До сей поры мѣстный "бомондъ" не ожидалъ ничего хорошаго отъ сына "бабы" и гнушался его сообществомъ. Теперь,

когда Наумъ Григорьевъ, окончивши курсъ въ гимназіи съ золотою медалью, сдълался студентомъ, — ему простили плебейское происхожденіе и ждали съ такимъ же нетерпъніемъ, какъ и сына почтмейстера.

Кончался май мѣсяцъ, а студенты не появлялись. Мѣстное дамское общество ежедневно прогуливалось на пристани и встрѣчало пароходы. Пароходы тыкались къ конторкамъ и, просвистѣвши подъ рядъ три раза, уходили прочь. Но въ Сердянскѣ никто не высаживался. Нетерпѣніе возрастало съ каждымъ днемъ. Барышни уходили съ конторокъ грустными и вымещали недовольство на своихъ постоянныхъ мѣстныхъ кавалерахъ — фельдшерѣ и секретарѣ полиціи, которые съ каждымъ днемъ казались имъ все болѣе и болѣе скучными, теряли свой интересъ и престижъ, и которые рѣшительно не могли придумать уже, чѣмъ бы разсмѣшить своихъ дамъ... Почтмейстеру надоѣли съ разспросами о сынѣ, и онъ начиналъ уже сердиться.

"Какое имъ дѣло? Мой сынъ, а не ихъ!" ворчалъ старикъ, не успѣвая удовлетворять любознательность дѣвицъ. Зато почтмейстерша съ удовольствіемъ сообщала всѣ подробности о своемъ Гавринькѣ.

- Экзаменты... чай, измучился, бѣдненькій... Онъ у меня вѣдь слабенькій и безъ того-то, а тамъ еще... Охъ, дѣти, дѣти!..
 - Онъ по докторской части у васъ?..
- Да, самый мучительный факультеть: кости, кишки, жилы... всякая свое названіе имъеть, —бъда да и только!..
- Лягушекъ потрошатъ,—вставляетъ секретарь полиціи.
- Фи! Фи! какія гадости вы, Степанъ Ксенофонтычь, говорите!—вскрикивають, состроивъ гримасы, барышни.
- "Гадости"!.. Зато послътисяча двъсти въ годъ!.. Вонъ онъ, эти гадости-то!—сурово замъчаетъ почтмейстеръ, и всъ замолкаютъ, примиряются съ "гадостями".

Но вотъ, въ одинъ прекрасный вечеръ, когда одна

изъ пароходныхъ конторокъ была биткомъ набита сердянскимъ культурнымъ обществомъ и сильно засорена шелухою подсолнечныхъ сѣмечекъ, съ приставшаго парохода слѣзли двое молодыхъ людей въ больщихъ сапогахъ, широкополыхъ шляпахъ, съ массивными дубинками подъ мышками и чемоданами въ рукахъ...

На конторкъ поднялась страшная суматоха. Закачались въ воздухъ пестрые зонтики, запрыгали цвъты на дамскихъ шляпкахъ... Пронесся гулъ общаго восторга... "Пріъхали! Пріъхали!" "Гдъ?"—"Вонъ, вонъ!" Звонкій хохоть, привътствія, восклицанія, десятки жадныхъ глазъ впились въ нъсколько смущенныхъ молодыхъ людей, неловко проталкивавшихся чрезъ плотную массу волнующейся публики.

Почтмейстеръ стоялъ солидно и старался скрыть то внутреннее удовольствіе, которое онъ испытывалъ тайно, при видѣ столь торжественной встрѣчи сына... Но почтмейстерша, несмотря на то, что мужъ сердито подергивалъ ее за платье, забыла все на свѣтѣ: влекомая къ своему Гавринькѣ непреодолимою силою материнскаго чувства, она работала локтями на обѣ стороны, позабывши всякую вѣжливость, визжала, махала зонтикомъ надъ головами публики и кричала во все горло:

— Гаврюша! Гаврюша! Я здъсь!.. Господи, какъ исхудалък. Гаврюша!

Какъ бы вторя почтмейстершъ, громкимъ визгливымъ даемъ заливалась замъшавшаяся въ толиъ моська... Потомъ загудълъ пароходный свистокъ. Съ мостковъ парохода раздавалась громкая, съ нъмецкимъ акцентомъ, ругань капитана, чъмъ-то сильно разсерженнаго.

- Гавря! Гаврюша! Сюда!.. я здѣсь!..
- Аттай нософой!.. Больфанъ!.. русски дуракъ!..
- Есть!—отвътилъ съ конторки чей-то голосъ. Студенты пріъхали!..

II.

На "Бутыркахъ", сейчасъ же позади односторонки, состоящей изъ ряда бъдныхъ невзрачныхъ домиковъ, тянулись сплошнымъ лъсомъ фруктовые сады. Въ одномъ изъ такихъ садовъ, въ маленькой однооконной хибаркъ, проживала садовладълица, солдатская вдова, Авдотья Григорьева. Садъ былъ единственнымъ средствомъ ея пропитанія, поэтому трудолюбивая баба Авдотья всецёло отдала себя на служеніе яблонькамъ и вишенькамъ. Съ ранней весны и до поздней осени она возилась въ саду: сама караулила его по ночамъ, постукивая палкой въ разбитую сковороду; сама поливала, таская воду на коромыслъ изъ-подъ горы, съ ръчки; сама окапывала и подвязывала деревья, ухаживала за больными и хилыми, выращивала "молодежь", бинтовала раненыхъ, дълала прививки, словомъ-справляла все, что требовалось для успъшнаго произрастанія кормильца-сада. Въ урожайные годы садъ приносиль около трехсоть рублей дохода, - Авдотья чувствовала себя королевой; въ неурожайные-доходъ падаль болье, чьмъ наполовину, и Авдотья грустила и всплакивала по давно умершемъ мужъ... Плакала она еще и по своемъ единственномъ дътищъ-Наумкъ, который покинуль и мать, и хибарку, и садъ, увхавъ въ "губернію".

Пока Наумка обучался въ мъстномъ уъздномъ училищъ, Авдотъъ было много легче: Наумка былъ паренекъ здоровый, коренастый и круглое лъто исправно несъ обязанности наемнаго батрака. Но потомъ Наумка уъхалъ учиться. Его смутилъ покойный ужъ теперь учитель ъхать въ "губернію" и поступить въ гимназію... Авдотья плакала, упрашивала, стращала Наумку накаваніемъ Божіимъ, но упрямый мальчишка стоялъ на одномъ: "Не отпустишь, — все равно, удавлюсь, какъ дьячокъ Рафаилъ" (въ то время пьяный дьячокъ въ

Сердянскъ повъсился, что произвело большой переполохъ между всъми православными христіанами). Нечего дълать, - уступила Авдотья: благословила своего непокорнаго Наумку, сунула въ руку на прощанье красненькую и отпустила съ попутнымъ мужикомъ въ "губернію". Сильно ныло и больло материнское сердце. Сколько ни уговариваль покойный учитель темную бабу, сколько ни убъждаль, что Наумка не пропадеть, что онъ будеть жить въ город у добрыхъ и хорошихъ людей, что Наумка умный и выйдеть на хорошую дорогу, — Авдотья ревъла и попрекала смутьяна. Только послъ, когда смутьянъ... уже спалъ непробуднымъ сномъ въ сырой землъ, безтолковая баба поняла, что ревъла понапрасну, поняла, когда ровно черезъ два года, лътомъ, Наумка домой въ сюртучкъ съ серебряными пуговицами заявился, а еще болье того, - когда Наумка сталъ ребятишекъ у мирового грамотъ обучать и по семи цълковыхъ каждый мъсяцъ домой приносить. Тутъ Авдотья уже окончательно убъдилась, что ея Наумкадъйствительно умный и дъйствительно на хорошую дорогу попалъ... Послъ Наумка уъхалъ и уже года четыре домой не навзжаль, - писаль, что съ какими-то господами все въ деревню вздить и тоже ребятишекъ обучаетъ...

Никогда Наумъ у матери денегъ не просилъ, да мягко материнское сердце: сама раза три сынку по четвертной посылала, —когда Господъ урожай яблочку посылалъ.

И вотъ теперь Наумка домой студентомъ прівхалъ... Не наглядится Авдотья на своего ученаго сына: узнать невозможно... Словно настоящій господскій сынъ... Что онъ, что почтмейстерскій — оба одинаковы: оба докторами будуть, оба все съ книжками возятся и толкуютъ между собою, какъ родные братья, умно такъ и полюбовно... Радуется Авдотья. Сердце ея такъ и стучить, такъ и прыгаетъ... Объ одномъ только жалъетъ

она, что Господь отцу не судилъ дожить до такого счастія...

Хибарка маленькая, чуть повернуться только въ ней, зато живуть они "въ тъснотъ, да не въ обидъ". Авдотья все равно въ саду, въ шалашъ ночуеть,—все воровъ въ сковороду пугаетъ; въ хибаркъ только рано поутру у печи повозится да пообъдать вмъстъ съ сынкомъ туда приходитъ... А въ хибарку теперь войдешь,—диву дашься: и на окошкъ, и на столъ, и на деревянной полкъ, и въ углу—все книги, да книги. "Господи! Сколько прочитать-то надо!.. Сколько ума-то здъсь и премудрости!" думаетъ темная баба и съ благоговъніемъ дотрогивается до переплетовъ разныхъ анатомій, физіологій и химій...

На первыхъ порахъ Авдотью сильно смущалъ человъческій черепъ, въ которомъ Наумъ папироски тушитъ: она съ ужасомъ смотръла на пожелтъвшую человъческую голову, съ зіяющими глазницами и постоянно мучилась мыслью: кому эта голова принадлежитъ:—православному или нехристю?.. Но Наумъ разсказалъ ей, будто голова эта — турецкая, съ войны привезена, — и Авдотья успокоилась... Съ этихъ поръ она только глубоко вздыхала и печально покачивала головою всякій разъ, когда взглядъ ея случайно падалъ на страшный, оскалившій зубы черепъ...

Сильный переполохъ произвело появленіе Наума на "Бутыркахъ". Здѣсь всѣ отлично помнили и знали Наума еще мальчуганомъ, когда онъ, вмѣстѣ съ другими бутырскими ребятишками, зимой въ снѣжки игралъ, по рыламъ дрался, а лѣтомъ въ рѣчкѣ на яру купался,—"березку ставилъ", "ширну-мырну, гдѣ вымырну!"—кричалъ, въ лапту зажаривалъ и въ козны лупился... Теперь его сверстники уже мужиками стали, многіе поженились и своими ребятишками обзавестись успѣли. Старые старики и старухи, молодыя дѣвки и молодухи,—всѣ Наума знаютъ и всѣ не нарадуются,

глядя на своего "бутырскаго студента". Какъ только по односторонкъ молва прошла, что Авдотьинъ сынъ по докторской части обучается, такъ просто отбою не стало: кто проситъ лъкарства, кто ребенка больного притащитъ, кто такъ, посовътоваться съ умнымъ человъкомъ зайдетъ, поговорить или спросить о чемъ-нибудь...

Наумъ охотно вступалъ съ сосъдями въ долгіе разговоры, много имъ разсказывалъ о жизни въ чужомъ, далекомъ краю, о томъ, какъ и чему ихъ въ университетъ учатъ. Часто по праздничнымъ днямъ около Авдотьинаго сада собиралась съренькая публика; здъсь были и любознательныя бабы, и убъленные съдинами старички, и подростки ребята. Усъвшись въ холодкъ подъ плетнемъ на травкъ, они внимательно слушали, что читалъ имъ Наумъ. А читалъ онъ разное: и смъшное, и грустное, и пустое, и дъльное... Читалъ про "Морозъ—красный носъ" и про "Арину, мать солдатскую", читалъ о томъ, какъ слъдуетъ ухаживать за плодовыми деревьями, какъ лъчить ихъ... Слушатели то охаютъ и вздыхаютъ, то со смъху покатываются, то вдругъ загалдятъ всей артелью...

Наумъ былъ доволенъ. Обстановка его жизни въ маленькой заваленной книгами хибаркъ ему очень нравилась. (Обстановка эта такъ напоминала одного героя изъ любимаго романа!). Наумъ любилъ праздничныя бесъды подъ плетнемъ, и копанье въ саду, и свою грязную "мамыньку"... На душъ было такъ хорошо и пріятно... До сихъ поръ Наумъ только горячился и спорилъ по вопросу о "дъятельности", а теперь онъ работалъ... А работать такъ хотълось, такая жадность овладъвала Наумомъ въ этомъ отпошеніи, что онъ не чувствовалъ полнаго удовлетворенія... Наумъ думалъ широко и глубоко и фанатически върилъ въ торжество правды и справедливости... На "Бутыркахъ" Науму было тъсно, ему страстно желалось расширить сферу своей дъя-

тельности... Наумъ мечталъ о пробужденіи и развитіи сердянскаго самосознанія, о борьбѣ съ рутиной и пошлостью, захолустнымъ невѣжествомъ, спячкой и "возмущающимъ душу индифферентизмомъ!"... Наумъ ощущалъ въ себѣ силу великую, богатырскую и, какъ витязь, вызывалъ на бой отважнаго...

Однако время шло, а мечты Наума оставались пока безъ осуществленія и только случайно, но зато рѣзко и рельефно Наумъ громиль обывательскую косность.

Помогая матери таскать въ городъ мѣшки съ яблоками, а изъ города — мѣшки съ мукою, Наумъ намѣренно норовилъ пройтись по главной улицѣ Сердянска, мимо оконъ мѣстныхъ порядочныхъ домовъ, посвистывалъ и, вообще, старался заявить полнѣйшее пренебреженіе къ мнѣнію мѣстнаго "бомонда". Наумъ видѣлъ, что босыя и грязныя ноги Авдотьи, ея полинявшій сарафанъ, а его русская рубаха и штаны въ сапоги непріятно дѣйствуютъ на "бомондъ" вообще и дѣвицъ его въ особенности. Послѣднія при подобныхъ встрѣчахъ почему-то краснѣютъ, конфузятся, стараются не замѣтить, отвернуться или прищурить глазки, а послѣ, конечно, ведутъ разговоръ въ такомъ духѣ:

- Съ какой это бабой нашъ студенть прогуливается?
 - Ахъ! развѣ вы не знаете? Вѣдь это-его мать...
 - Что вы?!..
 - -- Да. Онъ въдь-солдатскій сынъ...
 - Да неужели?..
 - Клянусь Богомъ!
 - Да что вы?
 - Я вамъ говорю...

Барышни презрительно ухмыляются, поджимая губки. Такъ полагалъ Наумъ и, къ сожалѣнію, не всегда ошибался.

Желая отмътить глупость подобныхъ воззръній,

Наумъ очень часто увлекался и впадалъ въ крайности; замѣтивъ намѣренное уклоненіе встрѣчныхъ дѣвицъ отъ поклона и разговоровъ, Наумъ останавливалъ расфуфыренныхъ барышень и начиналъ ихъ по очереди рекомендовать своей бабѣ-матери, заставляя послѣднюю протягивать свою грязную, мозолистую руку совершенно растерявшимся дѣвицамъ...

Ш.

- ... Говориль съ Ольгою?
- Говорилъ. Дѣвка славная, хотя немножко барышня...
 - Это ничего, пройдеть...
 - Конечно... Съ чего же начнемъ? Съ экономики?
 - Нераціонально.
 - Почему?
 - Multis de causis.
 - А именно?
- Кто же это начинаеть съ экономики? Прежде всего надо заставить личность критически отнестись къ себъ и къ окружающему, разбудить нравственное чувство, сознаніе долга предъ обществомъ, а потомъ ужъ... Необходимо начать съ этики,—сказалъ серьезно Наумъ Григорьевъ, встряхнувши волнистыми черными кудрями.

Товарищи лежали въ саду на лужайкъ, подъ яблонею: Наумъ вверхъ спиной, подпирая руками голову, а Гавринька—внизъ спиной съ непринужденно раскинутыми ногами.

Былъ прекрасный лѣтній вечеръ. Солнце садилось. Вѣяло прохладою. Садъ оглашался немолчнымъ чиликаньемъ и стрекотаньемъ... Вдали изъ густой зелени листвы выглядывала сѣрая крыша почтамта, съ двумя закоптѣлыми трубами, а надъ крышей возвышалась полосатая жердь съ шишкою на вершинѣ... Еще дальше

блествль куполь собора, кресть котораго, казалось, упирался въ бълую, позолоченную по краямъ прозрачную тучку...

Гавринька долго не отвѣчалъ. Онъ задумчиво сосалъ зеленый стебелекъ какого-то растенія, потомъ сразу встряхнулся, перевернулся на животъ и высказался:

- Не хватить ли намъ, братъ, что-нибудь по женскому вопросу?
 - Это дѣльно!..
- Тѣмъ болѣе, что, повидимому, намъ придется имѣть дѣло по преимуществу съ женскимъ элементомъ... Я имѣю въ виду еще двухъ субъектовъ: Наталью Михайловну (ты ее знаешь... жена этого... пьяницы-то землемѣра!) и Фимочку...
 - Гм... выборъ нераціоналенъ!..—замътилъ Наумъ.
 - Это почему?
- Multis de causis... Наталья Михайловна, кажется, довольно пустенькая барынька и въ головѣ ея "ужъ какъ вѣетъ вѣтерокъ"... А Фимочка... Неудобно... Отецъ можетъ подгадить...

Гавринька вскипятился.

- Странныя требованія! Не здоровые нуждаются во врачѣ, а больные... Наталья Михайловна искру Божію имѣетъ... Ты поговори-ка съ ней по душѣ!.. Она давно тяготится пустотой жизни, давно ищетъ... Ее некому было только направить, она такой человѣкъ...
 - Фразы. Оставь!—буркнулъ Наумъ.

Но Гавринька не унимался:

— Воспитываемъ женщину для кухни, баловъ и спальни... Воспитаніе виновато... Она не можетъ создать себѣ вполнѣ опредѣленной цѣли жизни, которая бы, такъ сказать, того...

Гавринька неожиданно смолкъ и вытянулъ шею... Онъ замътилъ, какъ чрезъ зеленую листву скользнуло что-то бълое...

- Тутъ чын-то уши, вполголоса сказалъ онъ и громко окликнулъ:
 - Кто здъсь?
- А я кричала, кричала...—пъвуче прозвучаль голосъ толстой почтмейстерши, неожиданно представшей передъ собесъдниками.—У насъ—Наталья Михайловна и Оленька... Идите въ комнаты!.. Уфъ!..
- Зачѣмъ же въ комнаты-то? Если имъ желательно видѣть насъ, могутъ прійти сюда, — небрежно отвѣтилъ Гавринька.

Почтмейстерша недоумъвающе посмотръла на сына:

— Да ты что, бълены объълся, что ли? Это чтобы дамы къ вамъ, лоботрясамъ, бъжали?! Да чему васъ тамъ обучаютъ?

Гавринька расхохотался, а Наумъ, слегка улыбнувшись, не безъ ехидства замътилъ товарищу:

- Что же ты, Гаврило, въ самомъ дѣлѣ! Поди занимай дамъ!
- Невѣжи, больше ничего! визгливо произнесла почтмейстерша и, круго повернувшись, пошла прочь...
- Однако шутки въ сторону!—началъ Наумъ, когда товарищи опять остались наединъ.—Мы съ тобою только разговоры разговариваемъ... Работать, такъ работать!.. Нечего канитель-то разводить...

Гавринька пересталъ смѣяться.

Изъ раскрытыхъ оконъ почтмейстерской квартиры доносились минорные аккорды фортеніано. Легкій вѣтерокъ шелестилъ листьями. Въ садахъ на "Бутыркахъ" грустно куковала кукушка. Гдѣто, замирая, звенѣли колокольчики...

Товарищи молчали. Наумъ былъ всецѣло поглощенъ обдумываніемъ "дѣла". Гавринька прислушивался къ аккордамъ, шелесту листьевъ и колокольчикамъ. По временамъ эти разнородные звуки сливались въ чрезвычайно пріятную для слуха гармонію и, относимые вътеркомъ, вмѣстѣ замирали, словно таяли въ безпре-

дъльномъ пространствъ... Гавриньку располагало къ лъни, къ пріятной истомъ... Хотълось пока прекратить всякія разсужденія, ничего не думать и не обсуждать, а такъ вотъ лежать на спинъ и безцъльно смотръть въ чистую небесную синеву.

Наумъ смотрълъ въ землю и покручивалъ свой терный усикъ.

- Съ чего же начнемъ? вслухъ размышляеть Наумъ.
- Съ этики...—лѣниво отвѣчаетъ Гавринька и опять щуритъ глаза и прислушивается къ аккордамъ... Наталья Михайловна играетъ... "Молитву дѣвы"... Симпатичная она... бойкая... съ искоркой... Глаза у нея хорошіе...
 - Да въдь ты предлагаль по женскому вопросу?!.
- Да, по женскому... Это все равно,—говорить Гавринька, и въ его головъ "женскій вопросъ" олицетворяется: мелькають головка Натальи Михайловны, толстая коса Ольги и бълый фартучекъ гимназисточки...
 - Вовсе не "все равно"!..-сердится Наумъ.
- Т. е. одинаково раціонально,—поправляется Гавринька и опять прислушивается къ "Молитвъ дъвы", къ кукушкъ, колокольчикамъ и шелесту листьевъ...

Гавринька сладко потягивается. Наумъ хмурится.

- Ты все-таки зря-то не болтай, —недовольно зам'вчаеть Наумъ:—не откровенничай! Нужна строгая конспирація...
- Ну, вотъ еще!.. Конечно, конспирація... легкомысленно отвѣчаетъ Гавринька и своимъ несерьезнымъ тономъ только еще болѣе сердитъ товарища.
- Начнемъ съ Милля... О подчиненности женщинъ. А тамъ можно коснуться и спеціально русской женщины, продолжаетъ Наумъ... И Гавринькъ представляется "подчиненность женщины" въ видъ домашней сцепы: отецъ ругается съ матерью, топаетъ ногами и кричитъ на женщину... а та молчитъ и плачетъ...

Кукушка кукуетъ такъ жалобно и грустно... Съ бе-

рега ръки доносятся отголоски тоскливой бурлацкой пъсни:

"Эхъ, раз-окъ,—да вотъ еще Ахъ, еще махонькій разокъ!.."

А надъ ухомъ жужжить шмель... Хорошо такъ... Не хочется говорить, думать... Хочется только лежать и смотрёть въ бездонное синее небо...

- Ты что, спишь, что ли? надъ самымъ ухомъ баситъ голосъ Наума.
 - А? Что? Я задумался!..
 - -- Слышишь бабій голось? Разговаривають...

Гавринька приподнимается на локтъ и вытягиваетъ шею...

— Вотъ вы гдѣ!.. Васъ желаютъ видѣть, а вы и не почешетесь... Хорошо! Въжливо! Мило!..:

Передъ смущенными отъ неожиданности студентами стояли, взявшись подъ руки, два женскихъ элемента: Наталья Михайловна и Ольга.

Наталья Михайловна-молоденькая барыня съ плутовскими карими глазками, съ завитой холкой на лбу и задорно приподнятымъ кверху носикомъ, — казалась олицетвореніемъ безпечности и игривости. При первомъ взглядъ на нее читатель вполнъ присоединился бы къ Науму, согласившись съ высказаннымъ имъ мнъніемъ относительно этой женщины, что въ головъ ея "ужъ какъ въетъ вътерокъ". Ольга, наоборотъ, смотръла своими сърыми глазами задумчиво, серьезно, немного грустно и мечтательно; она была причесана гладко, безъ холки, имъла толстую русую косу и держалась безъ малъйшей доли игривости. Наталья Михайловна была брюнетка, бойкая, подвижная, съ постоянною улыбкою на губахъ; Ольга-блондинка, стройная, съ лъшвыми плавными движеніями и плотно сомкнутыми губами; первая—низенькая, плотная, толстенькая; послъдняя-высокая, хрупкая...

Студенты оправились: Гавринька вскочилъ на ноги, а Наумъ сѣлъ и поправилъ поясъ на русской вышитой рубахѣ.

- Вашу лапку! обратился Гавринька къ Натальъ Михайловнъ, протягивая руку.
- Лапки у собакъ бываютъ!—отвътила Наталья Михайловна бойко, со смъхомъ. Ольга немного покраснъла.
- У собакъ четыре, а у насъ съ вами по двѣ,—вся и разница,—возразилъ Гавринька:—было время, когда наши предки ползали на четверенькахъ...
- Ну, ужъ, пожалуйста!.. Можетъ быть, ваши это ползали на четверенькахъ, а мои нътъ-съ! Что? съъли?
- Всѣ мы ползали, когда были ребятами, робко вставила Ольга и опять покраснѣла.
- Вы барышня полнокровная... сказалъ Наумъ вглядываясь въ лицо дъвушки.
 - А я? я?—пристала къ Науму барыня.
- Позвольте! Этакъ вы мнѣ рубаху изорвете!—грубо замѣтилъ Наумъ, отводя женскую лапку въ сторону.
- Я вамъ новую вышью... Хотите? Я люблю вышивать... Хотите—гладью? А?—затараторила барыня, и ея каріе глазки засмъялись и заискрились...

Гавринька пошелъ съ Ольгою, Наумъ съ Натальей Михайловной. Они направились въ комнаты, гдѣ давно уже ихъ ожидалъ тучный семейный самоваръ.

IV.

Солнце давно уже спряталось за горизонтомъ, и румяныя облачка на западъ давно поблъднъли... Смерклось. Звъзды одна за другою загорълись на темно-синемъ фонъ небесъ.

Ольга съ трудомъ отыскала Авдотьинъ садъ и не безъ робости вошла въ его низенькую калитку... Привязанный къ плетню "Шарикъ" разразился громкимъ лаемъ и со всъхъ ногъ бросился впередъ, съ явнымъ

намъреніемъ растерзать дъвушку въ клочки. Но кръпкая веревка сдержала яростный порывъ "Шарика"... Ольга вскрикнула и хотъла было уже вернуться, но въ этотъ моментъ Авдотья застукала въ сковороду, а гдъ-то въ глубинъ сада, за деревьями, раздался и знакомый голосъ Наума Васильевича:

— Не трусьте! собака привязана!..

Черезъ мгновеніе въ темнотѣ обрисовалась высокая фигура бутырскаго студента. Ольга пошла навстрѣчу.

- Вы одна?
- Одна!
- Глъ же Наталья Михайловна?
- Я ждала ее (хотъла вмъстъ идти), но не дождалась... Я думала, она у васъ уже...

Ольга остановилась съ видимымъ колебаніемъ: идти ей дальше или распрощаться...

- Куда же вы? Идемъ!..—сказалъ Наумъ и рѣшительно зашагалъ вглубь сада.
- Какъ-то неудобно... Одной... Неловко... заговорила дъвушка, неръшительно шагая за Наумомъ.
- Воть еще, пустяки какіе! Что я вась съѣмъ, что ли?.. Не бойтесь,—я не австраліецъ... Останетесь цѣлы и невредимы.

Наумъ расхохотался, и его басистый хохотъ гулко разнесся по темному саду... Дъвушка тоже засмъялась... Впереди, между деревьями, блеснулъ огонекъ, черезъминуту выросла передъ ними и самая хибарка... Ольгъ вспомнилась сказка про бабу-ягу и ея избушку на курьихъ ножкахъ.

— Входите!.. Наклонитесь, а то башечку ушибете!— предупредилъ Наумъ, растворяя дверь въ избу. Ольга наклонилась больше, чѣмъ требовали обстоятельства, и вошла. За нею вошелъ и Наумъ. Дѣвушка не безъ любопытства осмотрѣлась вокругъ.

Небольшой столъ у единственнаго окна быль забросанъ книгами, газетами и бумагами; среди нихъ свътился зеленый абажуръ кургузой лампочки; свътъ ея падаль на желтый корешокъ переплета, на бълую страницу раскрытой книги и на кость черепа... На одной стънъ болталось ружье и ягташъ, на другой — гардеробъ Наума. Въ одномъ углу лежалъ свернутый цилиндромъ войлокъ—постель Наума, а въ другомъ— скребки, лопаты, грабли и какія-то палки...

Странное впечатлъние произвела на Ольгу эта обстановка. Чъмъ-то новымъ, совствиъ непохожимъ на все, что до сихъ поръ приходилось ей испытывать, повъяло на провинціальную барышню въ этой оригинальной избушкъ... Чувство удивленія перемъщалось съ любознательностью и отъ неодушевленныхъ предметовъ обратилось на Наума... Ольга странно смотръла по сторонамъ и вопросительно переводила взоры на Наума... Передъ ней встала вдругъ какая-то загадка, къ которой дъвушка не знала, какъ подойти. Загадка эта стояла всюду, даже и самъ Наумъ предсталъ теперь предъ нею совстмъ въ иномъ свътъ, получилъ новый интересъ... Онъ олицетворялъ собою теперь отвлеченное понятіе о студентъ, съ его внутреннимъ міромъ и особенностями. Въ эту минуту Ольга думала, что такъ живутъ непремънно всъ студенты, что всъ они должны быть завалены книгами, всв лохматые, всв непохожіе на остальныхъ людей, - нестудентовъ...

Ольга была мало похожа на другихъ сердянскихъ барышень. Она училась въ епархіальномъ училищъ, провела нѣсколько лѣтъ въ губернскомъ городѣ, интересовалась книгами и теперь не могла удовлетворяться мѣстными интересами узко-женской спеціальности: новыми шляпами, платьями и сплетнями съ романической окраскою, чѣмъ питалось большинство мѣстныхъ дѣвушекъ. Ольга скучала, но скучала не такъ, какъ скучали вообще сердянскія дѣвицы; тѣ тосковали, томясь жаждою супружества, она тосковала безпредметно: ея натура инстинктивно требовала большей содержатель-

ности отъ жизни, а жизнь была такъ однообразна, такъ тиха и неподвижна, какъ стоячая лужа дождевой воды... Отецъ Ольги былъ дьякономъ одной изъ двухъ городскихъ церквей, мать — попова дочка "съ домашнимъ образованіемъ"... Родители большаго, какъ выдать свою Олю за семинариста, будущаго дьякона, не желали для дочки и повыситься въ санъ — для себя...

Ольгѣ было скучно, невыносимо скучно. Она тайно завидовала каждой проѣзжей парѣ съ колокольчиками и съ неизвѣстнымъ путникомъ, который куда-то и зачѣмъ-то ѣдетъ; завидовала всѣмъ, кто уѣзжаетъ изъ Сердянска на пароходѣ... "Господи! Хоть бы куда-нибудь уѣхать!" съ тоской восклицала дѣвушка, возвращаясь послѣ проводовъ легкаго парохода домой, и, съвши подъ окномъ, смотрѣла въ заманчивую даль, за Каму, гдѣ зубчатою стѣною поднимался лѣсъ, убѣгавшій далеко, далеко и исчезавшій въ голубоватой дымкѣ лѣтняго вечера...

И воть теперь, въ маленькой и тъсной хибаркъ, передъ Ольгой раскрылась вдругъ какая-то невъдомая, новая "даль", заманчивая "даль", куда такъ хотълось взглянуть, куда тянуло, манило, куда рвалось сердце, и которая все-таки оставалась совершенно туманной...

Ольга подошла къ столу и съ какой-то жадностью стала разсматривать книги... Раскрывши одну изъ нихъ, она прочитала эпиграфъ:

Милый другъ! я умираю Оттого, что былъ я честенъ; Но за то родному краю, Върно, буду я извъстенъ...

Дъвушка закусила палецъ — задумалась... Потомъ прочитала еще разъ эпиграфъ и спросила: "Какъ это понять: "умираю оттого, что былъ честенъ"?.. Развъ можно умирать отъ честности?.."

Глаза Наума загорфлись, и онъ съ одушевленіемъ

сталъ объяснять Ольгъ, что значатъ эти слова, и разсказывать, какъ умираютъ люди отъ того, что были честны...

- Много людей гибнеть потому только, что они честны,—закончиль Наумъ,—но, увы!..не всегда за это они дѣлаются извѣстными родному краю...
 - А развѣ вы не читали эту книгу?
- Нътъ... Дайте мнъ ее! я хочу узнать, какіе люди умирають отъ честности?
- Съ удовольствіемъ... А что покажется непонятнымъ, —спросите... можетъ, сумъю растолковать...

Часъ времени прошелъ незамътно для обоихъ. Ольга закидывала Наума вопросами, а онъ не умълъ коротко отвъчать. Увлечется, уйдетъ въ сторону, забудетъ, съ чего началъ разговоръ и распространится... А Ольга тоже забудется: она заслушается Наума: ужъ больно интересно и хорошо говоритъ. Случайно тема бесъды остановилась на "цъли жизни"... Ольга откровенно созналась, что у ней нътъ никакой такой особенной цъли и что живетъ она просто потому, что родилась... Наумъ долго смъялся. Потомъ онъ замолкъ и сталъ серьезнымъ и строгимъ, какъ требовала того серьезность задътой темы. И опять потянулась цълая лекція о жизни вообще, задачахъ и цъляхъ честнаго человъка, его нравственномъ долгъ и отвътственности...

- Правда, правда, Наумъ Васильевичъ! Я чувствую, что это правда. Но какъ же иначе? Что дѣлать?
- Разъ человѣкъ приходить къ выводу, что такъ жить нельзя, ищетъ выхода...
- Я понимаю, но какъ? Кудаидти? Что нужно дѣлать? Голосъ Ольги дрожалъ. Въ глазахъ дѣвушки, довѣрчиво устремленныхъна студента, свѣтилась просьба— помочь, научить, разсказать; въ тонѣ ея голоса, мягкомъ, нѣжномъ, заискивающемъ, полномъ уваженія къ собесѣднику, слышались и жалобы, и жажда новой, невѣдомой жизни, и недовольство собой, и горькое сознаніе своей безпомошности...

- Что дълать? переспросиль Наумъ послъ продолжительной паузы и хмуро отвътиль:
- Прежде всего надо сдълаться полезнымъ обществу человъкомъ... А для этого нужны знанія... Стало быть, прежде всего надо учиться...
- Это правда, правда... Но если нътъ средствъ? Если не на что учиться?
- Такъ разсуждаетъ только тотъ, кто или вовсе не хочетъ учиться, или боится труда.

Губы дъвушки конвульсивно вздрогнули. Она замолчала. Замолчалъ и Наумъ.

Въ это время Авдотья застукала палкою въ разбитую сковороду, и Ольга вспомнила, что она въ гостяхъ, что ее давно уже ждутъ дома и что мать, въроятно, сильно тревожится... Она испуганно вскочила съ табурета и засуетилась, отыскивая шляпу.

- Такъ и не состоялось сегодня наше чтеніе!—сказалъ Наумъ.—Когда же соберемся? и гдъ? Ко мнъ не придутъ, а у Гаврилы помъшаютъ... Нельзя ли у васъ?
 - Н... нътъ, у меня мамаща... неудобно....
- А... а! понимаю... Увидите Наталью Михайловну, скажите, чтобы она относилась къ дѣлу немного подобросовъстиве...
 - Хорошо. Вы меня проводите?

Наумъ взялъ изъ угла суковатую палку, набросилъ на затылокъ шляпу и растворилъ передъ Ольгою дверь:

- Пожалупте!-только не стукнитесь!

Опять залаяль "Шарикъ". Опять сонная Авдотья забрякала въ сковороду.

На небъ мерцали тысячи звъздъ.

V.

Гавринька велъ свою линію. Какъ человъкъ, принадлежащій къ мъстному "бомонду", онъ имълъ дъло по преимуществу съ представителями этой категоріи. Посовътовавшись съ Наумомъ, Гавринька затъялъ устройство спектакля въ пользу бъдныхъ студентовъ. Эта мысль была встрвчена общимъ восторгомъ и настолько сочувственно, что предложение услугъ въ качествъ сценическихъ силъ сильно превысило необходимость въ нихъ. Оказывалось, что всъ дъвицы Сердянска были страстныя любительницы театра, прекрасныя артистки. Всвив имъ хотвлось играть. Зато большой недостатокъ ощущался въ мужскомъ персопалъ. Эта неравномърность поставила Гавриньку въ большое затрудненіе, такъ какъ онъ никакъ не могъ подыскать вполнъ подходящую пьесу, т. е. такую, гдѣ было бы одиннадцать женскихъ ролей и одна мужская. Затруднение увеличивалось наличностью еще нѣкоторыхъ другихъ условій: такъ, необходимо было, чтобы въ пьесъ не было ни одного поцълуя между мужчинами и женщинами и, кромъ того, чтобы въ ней не было ни горничныхъ, ни нянекъ, ни мъщанокъ, на амплуа которыхъ не находилось актрисъ, а чтобы больше фигурировали графини, баронессы или, по крайней мъръ, офицерши, и непремънно молоденькія, а не старухи...

Гавринька метался, какъ угорѣлый, рыская по обывательскимъ книгохранилищамъ и отыскивая подходящую вещицу... Но увы!.. Вездѣ ему попадались подъруки только однѣ приложенія къ "Нивѣ", къ "Лучу", къ "Живописному Обозрѣнію", сборники переводныхъромановъ и повѣстей.

Между тъмъ въсть о предстоящемъ спектаклъ, събыстротою телеграфнаго сообщенія, облетъла всъ порядочные дома, взволновала ихъ обитателей и создала неисчерпаемый источникъ болтовни, сплетенъ, интригъ, ссоръ и крупныхъ педоразумъній. Одна мамаша обижалась за дочку, потому что студентъ упрашиваетъ ее меньше, чъмъ другую, капризничающую дъвицу, другая мамаша подозръвала какой-то заговоръ противъ своей со стороны нъкоторыхъ участниковъ, третья кричала

Маничкъ: "Не позволю вихляться съ фельдшеромъ!" Дочки, всъ безъ исключенія, принялись уже приготовляться къ предстоящему событію: шили новыя платья, совъщались, соревновали, завидовали, злились, а многія даже не разъ и поплакали... Отцы ворчали на женъ и дочерей... Словомъ, поднялась такая кутерьма, какой не было уже въ Сердянскъ съ того времени, когда жена столоначальника, во время танцовальнаго вечера въ клубъ, плюнула въ физіономію женъ акцизнаго надзирателя, заподозривъ послъднюю въ шашняхъ съ своимъ мужемъ.

Долго мучился Гавринька. Наконецъ, ему удалосьтаки отыскать пьесу, въ которой было шесть женскихъролей, три—мужскихъ, только два поцълуя и одна горничная.

Лучшаго не было...

Какъ же быть? Куда дѣвать пять остальныхъ дѣвицъ, которымъ не хватало ролей? Какимъ образомъ выключить поцѣлуи, на которыхъ построены цѣлыя сцены? Какъ поступить съ горничной?..

- А чортъ съ ними!—сказалъ съ досадою Наумъ на общемъ совъщаніи:—роли двъ подбавимъ, сами присочинимъ, а остальныхъ по боку!..
- А какъ же насчетъ цълованія? Въдь Марья Егоровна (исправница) и Въра Григорьевна, да и всъ другія, и слышать не хотять, если ихъ дочкамъ придется цъловаться!..
- Уговоримъ... Скажемъ, что цъловать будутъ въ воздухъ...
 - Не согласятся, не повърятъ...
- А тогда воть что: въ роляхъ не напишемъ, а на сценъ, когда будетъ нужно, лизнемъ да и кончено!.. Тамъ послъ пускай бъсятся...
 - А какъ дълаться съ горничной?
 - Ахъ, шутъ ихъ дери! пиши "бонна"!..

Такимъ образомъ, были устранены главныя препят-

ствія и Гавринька приступиль къ перепискѣ ролей и раздачѣ ихъ по рукамъ.

Но здѣсь-то и крылась погибель добраго дѣла. Фимочка, дочь исправника, и Фаничка, дочь воинскаго начальника, были обижены и возмущены до глубины души: первой досталась по жребію одна изъ безтолковыхъ ролей, присочиненныхъ Гавринькой, а второй—роль "бонны", черезчуръ ужъ смахивавшей на горничную.

- Что же это за глупая роль!.. Только и есть: пей чай, "здравствуйте" да "прощайте"!.. И только въ одномъ дъйствіи!..—заявила Фимочка на первой же репетиціи въ клубъ.
- Очень благодарна!.. Какая это "бонна"! Развъ бонны подаютъ чай?..—роптала Фаничка.
- Ну, выкинемъ это, чай можно и не подавать!—сказалъ Наумъ изъ маленькой суфлерской будочки.
- А это что: "барыни дома нѣтъ-съ?" Какая же это бонна?! Лакейская роль!.. Нѣтъ ужъ мерси, играйте сами!—отвѣтила Фаничка, сдѣлала реверансъ Науму и сказала подругѣ:
 - Не больно нужно! Наплевать, Фима, пойдемъ!

И онъ, взявшись подъ руки, красныя отъ чувства оскорбленной гордости и самолюбія, побросали свои роли и удалились изъ клуба...

— Ну, и съ Богомъ!—крикнулъ Наумъ вслъдъ обиженнымъ...

Гавринька обратился съ просьбою принять свободныя роли къ оставшимся за штатомъ артисткамъ. Но тъ съ негодованіемъ отвергли предложеніе.

— Когда некому стало играть, такъ понадобились и мы? Больно нужно! Наплевать!—обиженно отвътили онъ Гавринькъ.

Всѣ артисты разбѣжались, остались лишь двое: фельдшеръ и секретарь полиціи. Но и тѣ въ ожиданіи второго дъйствія пребывали внизу, въ билліардной, и стукали шарами...

— Намъ не скоро!.. Успѣемъ!.. Еще одну партію въ пять шаровъ!—кричалъ фельдшеръ, когда Гавринька пытался извлечь артистовъ на сцену...

Наумъ долго сидълъ въ будочкъ и ждалъ... Но, наконецъ, и у него лопнуло терпъніе.

— Какого лъшаго! У меня ноги свело!—сказалъ онъ и вылъзъ изъ будочки.

Репетиція не состоялась и была отложена.

Гавринька растерялся. Онъ видѣлъ, что съ каждымъ днемъ положеніе дѣлъ ухудшалось, — недовольство росло, ропотъ усиливался. Обиженныя, при посредствѣ третьихъ лицъ, усовѣщевали играющихъ подругъ плюнуть, подвергали ихъ ѣдкимъ насмѣшкамъ и колкостямъ, сочиняли компрометирующія сплетни и различныя небылицы. Негодованіе однихъ и восторженное ликованіе другихъ создало два враждебныхъ лагеря.

Во главъ оппозиціи стояли двъ первостатейныхъ особы города: исправникъ и воинскій начальникъ, родительская гордость которыхъ была затронута извъстнымъ уже читателю обстоятельствомъ. Доброе дъло стояло на краю гибели, такъ какъ исправникъ неожиданно отыскалъ циркуляръ, которымъ возбранялось студентамъ устраивать спектакли съ денежными сборами. Почтмейстеръ, по просъбъ сына, ходилъ лично къ исправнику ходатайствовать; но тотъ, хотя и принялъ гостя радушно, хотя и угостилъ его какой-то особенной настойкой съ сорока травъ, пьесы все-таки не разръшилъ, ссылаясь на то, что онъ, исправникъ, "не о двухъ головахъ" и что "у него также — своя семья, дъти"...

Почтмейстеръ обидълся. Онъ намъревался было уже послать телеграмму "куда слъдуетъ" съ просьбою разръшить возникшее недоразумъніе. Но возмутившійся Наумъ, по своей горячности и непоколебимой въръ въ

торжество правды и справедливости, испортиль въ конець все дъло...

Наумъ рѣшительно влетѣлъ въ квартиру исправника и еще болѣе рѣшительно сталъ чего-то требовать... Тотъ сперва опѣшилъ, а потомъ возвысилъ голосъ. Наумъ тоже закричалъ. Исправникъ назвалъ его невѣжей. Наумъ попросилъ быть поосторожнѣе и т. д.

Объясненіе окончилось крупной руганью и угрозой со стороны возмущеннаго Наума—предать эту исторію на судъ общественнаго мнѣнія, сдѣлавши ее достояніемъ гласности.

Ну, а послѣ этого все рухнуло: клубъ, гдѣ старшинствовалъ оскорбленный исправникъ, наотрѣзъ отказался дать подъ спектакль свой шестиоконный залъ...

Такъ телеграмма и осталась въ проектъ...

- Ахъ, онъ молокососъ этакій! "Предамъ гласности"!—жаловался исправникъ, бесъдуя съ воинскимъ начальникомъ и будучи не въ силахъ забыть столкновенія съ дерзкимъ студентомъ.—"Гласности"!.. Я тебя научу въжливости!..
- Мало ихъ муштруютъ. Распущенность! Никакой дисциплины,—сочувственно замътилъ воинскій начальникъ.
- Распущенность!—подтвердиль исправникь,—полнѣйшая распущенность!.. Помилуйте, они туть чорть знаеть что дѣлають: завели какія-то общества, книжки дѣвчонкамъ дають... Я васъ вижу, молодцы, насквозь!

VI.

[—] Наумъ Васильевичъ! Опять у Натальи Михайловны несчастіе... Опять дерется... Онъ ее убьетъ, а заступиться некому... Пойдемте!.. Пожалуйста!..—задыхаясь отъ волненія, проговорила неожиданно вбѣжавшая въ хибарку Ольга...

[—] Опять напился?

-- Да, пьяный... онъ ее убьетъ... Скоръй... скоръй!.. Наумъ грозно кашлянулъ, набросилъ на плечи пальто, а на голову шляпу и, мимоходомъ захвативши изъ угла свою суковатую дубинку, пошелъ заступиться...

При выходъ изъ садовой калитки они встрътили Гавриньку, тоже чъмъ-то, видимо, сильно озабоченнаго

и разстроеннаго.

-- Куда?.. Мнъ надо сказать два слова...

— Послъ. Сейчасъ нельзя,—отвътилъ, не останавливаясь, Наумъ...

Гавринька присоединился къ нимъ. Они шли быстро, порывисто и молча... Ольга едва поспъвала за студентами. Ея сердце сильно стукало отъ быстроты хода, а еще болъе—отъ охватившаго ея душу волненія... Наумъ кръпко сжималъ свою дубинку въ кулакъ, словно приготовлялся съ къмъ-то драться ею, сердито откашливался и отплевывался: онъ шелъ ръшительно, шагалъ широко и поводилъ бровями... Гавринька хотя и не зпалъ, въ чемъ именно дъло и куда они идутъ, но настроеніе Наума живо передалось ему. Гавринька чувствовалъ, что какое-то важное, экстраординарное событіе требуетъ ихъ немедленнаго присутствія "тамъ", гдъ имъ предстоитъ что-то непріятное, съ чъмъ придется столкнуться грудью, вступить въ борьбу...

Подобное состояніе онъ испытывалъ всегда, торопясь па пожаръ...

Гавринька не спрашиваль, что случилось, не размышляль о томъ, какое дѣло предстоить ему... Онъ твердо вѣрилъ Науму, зналъ, что если Наумъ идетъ такъ быстро и рѣшительно, значитъ, это нужно, значитъ, совершается что-то возмутительное и, значитъ, требуется кому-пибудь братская помощь...

Когда компанія перешла мостикъ и свернула въ проулокъ, Гавринька понялъ, что они идуть къ Натальѣ Михайловиѣ въ домъ, и сейчасъ же догадалея, какого сорта возмутительное обстоятельство можетъ

здѣсь совершаться... Всѣ трое, какъ-то инстинктивно, прибавили шагу...

Впереди, около небольшого домика съ палисадникомъ, толнилась группа сърыхъ обывателей... Нъкоторые, вытянувъ шею, смотрыли черезъ изгородь, другіе тъснились къ крыльцу, третьи отошли на дорогу... Изъраскрытыхъ оконъ слышался визгъ, заглушаемый хриплымъ пьянымъ голосомъ...

— Господи! что это?.. Наумъ Васильевичъ!..— зашентала Ольга плаксивымъ тономъ, — идите!..

Наумъ почти побъжалъ, за нимъ послъдовалъ и Гавринька... Ольга отошла въ сторону, съ замираніемъ сердца ожидая момента освобожденія бъдной Натальи Михайловны...

- Что же вы смотрите? Видите, слышите и молчите? выкрикнулъ возмущенный индифферентизмомъ Наумъ, проталкиваясь къ крыльцу...
- Дѣло семейное...—отвѣтилъ какой-то мѣщанинъ и тихо побрелъ прочь, испугавшись, какъ бы не понасть еще въ свидѣтели...
- Убить можеть... Какое семейное дѣло! остолопы! — мимоходомъ замѣтилъ Гавринька, и студенты влетѣли на крыльцо. Наумъ съ силою толкнулъ дверь, но она оказалась запертою. А визгъ и крики все усиливались... Наумъ во всю мочь застучалъ въ дверь своей дубинкою, а Гавринька скользнулъ въ палисадникъ и полѣзъ къ окну...
- Отоприте! Немедленно отоприте: слышите?—кричалъ Наумъ, ботая въ дверь дубиною.
- Какъ вамъ не совъстно!.. Ахъ, вы!.. А еще интеллигентнымъ человъкомъ себя называете!—кричалъ въ окно Гавринька.

Въ комнатахъ землемъра вдругъ стихло... Было слышно только, какъ кто-то тихо, подавленно плакалъ, да кто-то сердито ворчалъ и буркалъ, грузно ступая по сънямъ...

- Кто туть? Не принимаю!..—глухо сказаль хриплый голось черезь запертую дверь...
 - Отоприте! Или я...

Наумъ не договорилъ. Онъ засунулъ конецъ палки между косякомъ и дверью, злобно рванулъ въ сторону, и толкнулъ ногою... Дверь съ грохотомъ распахнулась, и Наумъ предсталъ предъ полураздѣтымъ господиномъ, съ свирѣпою отекшею физіономіей и колоссальной бычачьей шеей... Между тѣмъ Гавринька, видя крайнюю необходимость братской помощи, уже вскарабкался на подоконникъ и исчезъ, показавши публикѣ свои пятки и панталоны съ рѣзко бросавшимся въ глаза изъяномъ...

Пьяная рожа налилась кровью и посинъла. Потерявшій отъ пьянства подобіе Божіе человъкъ быль готовъ броситься на Наума, но въ этотъ моментъ позади его раздался ръзкій молодой голосъ Гавриньки:

— Какъ вы смъете драться? Живодеръ!

Пьяная рожа оторопъла: непріятель быль и съ фронта, и съ тыла...

- Позвольте, господа!.. Кто вы такіе и на какомъ основаніи врываетесь въ домъ мирныхъ гражданъ?— сурово, но смущенно спросила эта рожа...
- Мы люди и пришли заступиться за брата!— ръзко крикнулъ Гавринька, пътухомъ наступая на растерявшагося землемъра.
- Кто бы мы ни были, это вамъ все равно... А мое основаніе—отвъчать на пасиліе насиліемъ! сердито добавиль Наумъ и пристукнуль своей дубинкою...
- Студенты, вотъ кто!—присовокупилъ еще чей-то голосъ съ крыльца.

Любознательная публика успъла уже забраться на крыльцо и смъло заглядывала теперь въ съни...

— Студенты!.. А — а... любовники!.. ха-ха-ха!.. Ну, что жъ? Милости просимъ!.. Эй! Наташка! Принимай своихъ любовниковъ!.. — закричалъ землемъръ, уходя въ комнаты...

- Молчать! Вы не понимаете, что говорите!—закричаль Гавринька, сверкая глазами и сжимая кулаки.
- Наумъ Васильичъ! А ты бы его по пьяной харъто!.. можеть, опомнится...—пискнулъ бабій голосъ изъ публики...

Пьяная рожа скрылась. Наумъ и Гавринька пошли слъдомъ за нею.

Здѣсь, въ комнатахъ, произошла еще болѣе возмутительная сцена... Пьяный человѣкъ разразился страшной, площадной руганью по адресу всѣхъ присутствующихъ и многихъ отсутствующихъ. Ругалъ жену, студентовъ, почтмейстера, себя, и въ заключеніе вынесъ какую-то книгу, растерзалъ ее въ клочки, смялъ, затопталъ ногами и крикнулъ: "Вотъ вамъ женскій вопросъ! Вотъ вамъ "Судьбы женщины"!..

Наталья Михайловна сидъла растрепанная, маленькая и жалкая, забившись въ уголъ, и плакала, опустивъ свое смуглое личико на руки. Передъ ней стоялъ Гавринька съ тальмою, шляпкой и зонтикомъ. Онъ уговаривалъ ее уйти изъ дому...

-- Куда я пойду? Некуда...—сквозь слезы говорила Наталья Михайловна. Гавринька уговариваль. Онъ предлагаль ей пока идти къ нимъ въ домъ. Потомъ онъ подготовить ее въ сельскія учительницы. Онъ готовъ даже уступить ей половину своей стипендіи,— "послъ, когда будуть, отдасть"...

А Наумъ усѣлся въ кресло и молчалъ, покуривая папиросу въ то время, какъ пьяный землемѣръ продолжалъ хохотать и ругаться... Казалось, Наумъ хотѣлъ терпѣливо выслушать все, что еще скажетъ и какъ еще сумѣетъ изругаться "скотина", — такъ мысленно называлъ Наумъ пьянаго землемѣра...

Прошло минутъ десять, и землемъръ дъйствительно умолкъ. Онъ тихо убъждалъ себя въ томъ, что женъ вовсе не больно и что она только визжитъ, какъ кошка,—притворяется, устраивая скандалъ на всю улицу...

Онъ убъждалъ себя, что онъ нисколько не виновать, что ему простительно,—онъ больной человъкъ, съ которымъ надо обращаться ласково, не раздражать его и не подзадоривать... "Я знаю, что я подлецъ, что я прохвостъ, что я пьяница... Не слъдуеть!.. Я и самъ понимаю, что я погибшій человъкъ. Ну, подожди, — издохну... все равно, тогда"...—плаксиво бормоталъ онъ, ходя по комнатъ.—"Дура! Баба дура—вотъ въ чемъ—весь женскій вопросъ..."

Наталья Михайловна вдругъ вскочила съ мъста и торопливо стала надъвать тальму и шляпу...

— Дъйствительно, дура!.. Давно бы надо васъ къ чорту послать, надоъло ужъ вашей рабой-то быть... Пойдемте!..

Она мотнула хвостомъ и вышла. За ней двинулись Наумъ и Гавринька, по дорогъ подобравъ съ полу жалкіе остатки "Историческихъ судебъ женщины".

- Наташа! Не уходи! Не бросай! Ей-Богу, утоплюсь!— отчаянно кричалъ съ крыльца пьяный землемъръ...
- Врешь, не утопишься! шопотомъ отвъчала, не оборачиваясь, Наталья Михайловна.
- Наташа! Прости!.. Прости!.. Вѣдь я несчастный человѣкъ...—дрожащимъ голосомъ просилъ мужъ.—Не уходи!..

А Наталья Михайловна уже преобразилась. Она гордо шла впередъ. На ея красивомъ личикѣ уже играла игривая улыбочка... Глаза смотрѣли весело и лукаво...

- Проклятый! ущипнулъ какъ! до сихъ поръ больно...
- Эй ты! долгогривый! неистово заоралъ на всю улицу землемъръ. Мало тебъ дъяконовой дочки?.. Смотри, за двумя зайцами погонишься и одной не...

Никто не отвътилъ.

— Наташа! Вернись!.. Прости меня! Въдь я несчастный человъкъ, — дрожащимъ голосомъ крикнулъ онъ еще разъ.

Никто не обернулся...

— Наташа! Не уходи-и-и...

И полный человъкъ, опустившись на ступеняхъ крыльца, разрыдался вдругъ неутъшными слезами и, вехлипывая, сталъ биться головою о лъстницу...

VII.

Освобожденную Наталью Михайловну студенты привели въ квартиру почтмейстера. Миловидная землемърша давно уже пришла въ обычное игривое настроеніе и безпечко приводила въ порядокъ свою растрепанную прическу и кокетливый домашній костюмчикъ, позируя передъ большимъ зеркаломъ, а Гавринька все еще не могъ успокоиться и въ сильномъ волненіи ходилъ по залѣ крупными шагами; его дѣтски доброе свѣженькое лицо отражало благородный гнѣвъ, сознаніе выполненнаго долга и твердую рѣшимость дѣйствовать. Наумъ постоялъ въ дверяхъ, какъ-то недоумѣвающе посмотрѣлъ по стѣнамъ, мимоходомъ взглянулъ на стоявшую передъ зеркаломъ землемѣршу, погладилъ свои черныя кудри, вздохиулъ и вышелъ, не произнеся ни единаго слова...

— Наумъ Васпльичъ! Пойдемте вечеромъ удить! — крикнула въ окно Наталья Михайловна, случайно замътивъ уходившаго Наума.

"Дура! Какое на нее нравственное воздѣйствіе!.. Пустая трата времени", подумалъ Наумъ и, не остановившись, крикнулъ въ сердцахъ:

- У меня есть занятія болье интересныя!..
- -- Какія? Постойте же!.. Какія занятія?.. Можеть быть, и я...

Но Наумъ не отвътилъ и ушелъ.

А Гавринька все мърилъ залу своими энергичными шагами...

— Будетъ вамъ ходить-то! Устанете... — замътила

ему землемърша... Гавринька взглянулъ на Наталью Михайловну и улыбнулся... Онъ подумалъ совершенно противное тому, что думалъ Наумъ.

"Какая хорошая натура!.. Какъ она скоро забываетъ личное горе и страданіе, какъ она ум'веть прощать!.. Такія натуры способны къ самопожертвованію!"-мелькнуло въ его головъ, и никогда еще красивое личико землемърши не казалось ему такимъ милымъ, добрымъ, поэтическимъ, какъ сейчасъ... Никогда еще эти черные глазки не смотръли такъ ласково и безпомощно, какъ глазки испуганной, пойманной птички, и никогда они еще не были такъ глубоки, такъ загадочно глубоки, какъ сейчасъ... О, если бы она жила въ другой средъ, при другихъ условіяхъ соціально-экономической жизни, если бы она знала всю ложь, въ которой... О! тогда можно бы полюбить такую женщину, полюбить всвмъ существомъ своимъ!.. Тогда можно бы смъло подать ей руку, чтобы идти вмъстъ, по-братски раздъляя и горе, и радость...

А Наталья Михайловна угадала смыслъ брошеннаго на нее Гавринькой взгляда...

— Что вы такъ посмотръли на меня?... Вы—добрый, вамъ меня жалко? Да? Жалко?.. Хорошій вы будете мужъ, васъ будеть любить жепа...

Гавринька печально покачалъ головою и отвътилъ:

- Увы!.. Я никогда не женюсь. .
- Что же, въ монастырь пойдете?
- Нѣтъ, зачѣмъ въ монастырь. Нѣтъ, ты проживи въ мірѣ и сохрани душу, искру Божію!—вотъ это—достойная задача.
 - Почему же вы не женитесь?

Лицо Гавриньки сдълалось серьезнымъ, и онъ объяснилъ, почему.

-- Иногда приходится отказываться отъ личнаго счастья... Жена связываеть по рукамъ и ногамъ, за-

ставляеть человъка идти на различные компромиссы, а отсюда...

- Куда идти? въ комиссіи?..
- На компромиссы... т. е. сдълки со своей совъстью... А отсюда не далеко уже и до подлости... Вотъ, напримъръ, вашъ мужъ...
- Ну, ужъ, пожалуйста!.. Мой мужъ вовсе не подлецъ... Мы никогда подлецами не были... И съ вашей стороны безсовъстно такъ говорить... Я не ожидала, проговорила впопыхахъ Наталья Михайловна и схватилась было за шляпу. Но Гавринька удержалъ ее.
- Вы меня не поняли, не дали договорить!.. Простите ради Христа, Наталья Михайловна! Что вы!.. Я вовсе не говорю, что онъ подлецъ; я хотълъ сказать, что онъ глубоко виновать предъ вами, что, разъ онъ женился на васъ, на его совъсти...

Гавринька слукавиль. Онь именно хотьль сказать, что землемъръ — подлецъ... Теперь ему было стыдно передъ самимъ собою, и онъ совершенно спутался, ибо, хотя Гавринька мысленно и называль землемършу "дитя", но она все-таки догадалась, что выходитъ такъ: "Мужъ ея нехорошъ, а нехорошимъ сдълался потому, что женился"...

- Какой бы онъ ни быль, мой мужъ... Что же я туть виновата по вашему?..
 - Т. е. какъ вы? Напротивъ, онъ...
- И онъ не виновать, —обрѣзала Наталья Михайловна: —виновата водка —вотъ кто! Я бы давно всѣ кабаки проклятые закрыла и всѣ водочные заводы сожгла, если бы...
- Вы не знакомы съ финансовой политикой, потому такъ говорите... Знаете ли вы, сколько доходовъ приносить питейная статья?..
- А ну васъ, съ вашей питейной статьей!.. Всъ деньги только пропиваютъ... Кабатчикамъ доходы!

Гавринька непріятно поразился "незнаніемъ", но

простиль такую близорукость. "Съ повязкой на глазахъ!.." сказаль онъ въ душѣ, и внутренній голосъ добавилъ: "твой долгъ, твоя правственная обязанность снять съ глазъ эту повязку!"

Наталья Михайловна спросила, гдъ мамаша и папаша? — Отецъ въ конторъ, а мать, върно, ушла куданибудь.

Они замолчали.

Солнце садилось и косыми лучами заглядывало въ почтмейстерскій заль, а между прочимь, и на смуглую щечку сидъвшей у окна Натальи Михайловны. Свъть и тъни рельефно обрисовывали красивый профиль миленькаго женскаго личика. Оно казалось такимъ изящнымъ, словно было изваяно искусною рукою художника-скульптора... Черная прядь волнистыхъ волосъ небрежно упала на лобъ и прикрыла лукавый глазокъ. Маленькая ручка съ тонкими пальчиками казалась совствить дътской, особенно мизинчикъ, который, прихотливо оттопырившись, невольно приковывалъ къ себъ взглядъ молчавшаго Гавриньки. О чемъ думала эта милая головка, этотъ лукавый, прикрытый прядью волось глазокъ?.. Что таилось въ бездонной глубинъ его?.. Зачъмъ такъ прихотливо торчалъ мизинчикъ?.. О, конечно, не о "питейной статьъ" думала эта головка и не потому такъ красиво топоріцился мизинчикъ, что ему хотблось закрыть всв кабаки въ мірв...

Ударилъ соборный колоколъ къ вечериъ и оторвалъ Гавриньку отъ разръшенія тайнъ глубины глазокъ и мизинчика... А глазки и мизинчикъ тоже вздрогнули.— Наталья Михайловна вспомнила ужасную вещь: завтра день рожденія мужа, заквашено тъсто для пирога и можетъ перестояться или прокиснуть...

— Что же дълать?.. Господи!.. Надо идти! Какъ же я?... Гавринька повторилъ опять, что выходъ есть: готовиться въ сельскія учительницы.

— Чего вы?.. Я—не про то... Я—про пирогъ!..

И Наталья Михайловна звонко расхохоталась. Гавринька покрасивль, но тоже расхохотался...

- Какъ же быть? Надо въдь идти... Боюсь,—опять скандалить будеть...
- Плюньте на пирогъ... Пустяки!.. А, впрочемъ, если вы пойдете, я не прочь сопутствовать... Въ обиду не дамъ, будьте увърены!.. Только стоитъ ли думать о пирогъ, когда... Странная психологическая загадка: въ трудные, серьезные моменты человъку, обыкновенно, лъзугъ въ голову какіе-нибудь пустяки... Помню, у Гюго есть одна вещица, гдъ описывается послъдній день осужденнаго на смертную казнь... Вы не читали?..
- Нътъ... Вонъ и ваша мамаша идетъ!.. Накупила чего-то!.. Анна Васильевна! Здравствуйте!.. Мы tête-à-tête!..

Головка Натальи Михайловны спряталась въ стоявшихъ на окнѣ цвѣтахъ. Гавринька подошелъ къ столу и сталъ возстановлять остатки "Историческихъ судебъ женщины", имѣвшихъ несчастіе попасть землемѣру подъ пьяную руку.

Черезъ нѣсколько минутъ въ комнату вошла, переваливаясь, какъ жирная откормленная утка, толстая почтмейстерша и, бухнувшись въ кресло, воскликнула: "уфъ!"

Наталья Михайловна жалобнымъ тономъ беззащитнаго ребенка стала жаловаться ей на мужа, разсказывая всъ его звърства по отношенію къ ней и описывая его вандализмъ по отношенію къ книгъ.

- Уфъ!.. Озорникъ!.. книга-то, чай, денегъ стоитъ... Твоя она, что ли, Гавря?.. По чему учиться-то будешь!.. Новую придется...
- Обойдусь... она не особенно нужпа,—отвътилъ Гавринька. Разсказы и жалобы Натальи Михайловны уже успъли опять растрогать его мягкое, отзывчивое сердце, возмутить душу и чувствовать жажду подвига...
- Живодеръ!.. Бросить его!..хуже ига монгольскаго... Мамаша! пускай Наталья Михайловна поживеть пока

у насъ... Я подготовлю ее въ учительницы... Это невозможно,—заговорилъ онъ, шагая по комнатъ.

Почтмейстерша сразу отдохнула отъ усталости. — Эта толстуха была очень добродушна, но вмѣстѣ съ тѣмъ была, что называется у насъ, хорошая хозяйка, т. е. побаивалась, какъ бы гости не съѣли лишняго куска пирога, умѣла это сдѣлать и при томъ выдержать тонъ полнѣйшаго гостепріимства и радушія. Поэтому легкомысленное предложеніе сына сейчасъ же подсказало ей о лишнихъ расходахъ, совершенно ненужныхъ... Она вспомнила, что вся провизія вздорожала, что сахаръ—по 16, а телятина—по восьми.

— Что ты съ ума сошелъ? Зачѣмъ будетъ жить у насъ Наталья Михайловна? Только подождать, покуда протрезвится, а потомъ можно идти... Не въ первый разъ... Въ трезвомъ видѣ Антонъ Павлинычъ (землемѣръ) золото, а не человѣкъ... Не въ первый разъ!.. А гдѣ же—у насъ? Неудобно, да и сама Наталья Михайловна пе захочетъ... Да развѣ можно, чтобы законная жена мужа бросила!?. Чего городишь!..

При этомъ почтмейстерша посмотрѣла вопросительно на землемършу, —и та поспъшила отвътить:

— Конечно, конечно... Трезвый онъ прекрасный человъкъ... Проспится, будеть у меня же ноги цъловать...

Такимъ образомъ, проектъ Гавриньки былъ отвергнутъ... Гавринькъ стало грустно, и онъ тоскливо сталъ насвистывать "укажи мнъ такую обитель"... А почтмейстерша съ землемършей увлеклись разговоромъ о какой-то сарпинкъ, замъчательно дешевой и хорошенькой...

Наталья Михайловна осталась ночевать, бросивъ пирогъ на произволь судьбы. Она только пожалъла, что не успъла захватить съ собою работы... Гавринька почитересовался, что работаетъ Наталья Михайловна, и узналъ.

— Вышиваю гладью рубашку... Одному молодому человъку, который мнъ очень нравится!..

Гавринька вспыхнуль отъ мысли, что, можеть быть, этотъ молодой человъкъ—онъ, Гавринька. Но краска мигомъ слетъла съ его щекъ, когда Наталья Михайловна попросила его никому не говорить о вышиваемой рубашкъ, такъ какъ это — секретъ, и рубашка должна быть неожиданнымъ сюрпризомъ на память... Гавринька моментально сообразилъ, что не онъ—этотъ молодой человъкъ, который очень нравится Натальъ Михайловнъ, и ему стало почему-то и обидно, и стыдно, и немного грустно... Сообразилъ онъ и то, что этотъ молодой человъкъ не кто иной, какъ Наумъ... И, сказать по правдъ, въ его сердиъ зашевелилось нъчто въ родъ зависти и непріязни къ другу.

— Сантиментальности!--сказаль онъ небрежно.

Долго не спалось въ эту ночь Гавринькъ. Лежа въ постели и покуривая папиросу, онъ смотрълъ въ темное пространство и думалъ. Онъ думалъ о томъ, какая хорошая, милая женщина вышла бы изъ Натальи Михайловны при другихъ соціально-экономическихъ условіяхъ... Впрочемъ, порой въ эти думы совершенно насильственно врывались и другія. Предъ Гавринькою вдругъ вставалъ Наумъ въ вышитой гладью рубахв и говориль: "я, а не ты-тоть молодой человъкъ, который нравится этой милой и хорошей женщинь !.. " Между тъмъ Наталья Михайловна спала и видъла сонъ. Ей снилось, что ея пирогъ вылъзаетъ изъ квашни, шипитъ и топорщится, ползеть и превращается въ какое-то ужасное чудовище... Но бояться нечего: около нея стоить грозный Наумъ и, пристукивая своей суковатою дубиной, хладнокровно заявляеть: "Если ты позволишь только коснуться беззащитной женщины, — я заставлю тебя лечь опять въ квашню вотъ этой дубиной!.."

VIII.

Вышитая гладью рубашка имѣла чрезвычайно неожиданныя и серьезныя послъдствія...

Съ того дия, когда Гавринька впервые узнадъ объ этой рубашкъ, онъ сталъ все болъе и болъе убъждаться. что изъ Натальи Михайловны, при другихъ соціальноэкономическихъ условіяхъ жизни, вышла бы чудная, милая женщина, -- это во-первыхъ, а во-вторыхъ, онъ сталь все более замечать, какъ сердце Натальи Михайловны тяготъеть къ Науму. Гавринька замътилъ, что она скучаеть въ его обществъ, а ищеть Наума, что она очень часто говорить о Наумъ и спрашиваеть, и думаетъ о немъ. Однажды, напримъръ, когда все общество ръшило ъхать на "Студеный Ключъ" съ самоваромъ и пирогами, дъло разстроилось только потому, что Наумъ отказался участвовать въ пикникъ, ръзко заявивши, что онъ въ принципъ противъ пикниковъ и вояжей. За Наумомъ последоваль отказъ со стороны Натальи Михайловны, которая откровенно сказала, что "безъ Наума Васильича не стоить: ужъ вхать—такъ всъмъ!.. " Ну, а безъ Натальи Михайловны не согласились ъхать ни Ольга, ни гимназисточка Ниночка, да и почтмейстерша, принявшая было мысль о повздкв на ключь восторженно, вдругь впала въ сильнъйшую реакцію и принялась роптать на пустыя затви, сопряженныя лишь съ неудобствами и непріятностями.

— Чаю можно и въ саду напиться!.. Не все равно чай-то да пироги,—что ихъ пить да ѣсть на ключь, что дома,—вкуснѣе не будуть...

Гавринька настаиваль, но когда всё его старанія не повели ни къ чему, онъ почему-то разсердился и, взявъ съ собою краюшку чернаго хлёба, пошель на ключъ одинъ, обругавши всёхъ, не исключая и Натальи Михайловны, обидными словами.

Съ Гавринькой совершилось что-то странное: онъ не

такъ близко къ сердцу сталъ уже принимать обязанность интеллигента заботиться о саморазвитіи и на общихъ собраніяхъ, когда не было здѣсь Натальи Михайловны, частенько позъвываль, закрывая роть ладонью, несмотря на то, что Наумъ перешелъ уже къ чтенію и разбору "Исторической силы критической личности"... Вмъстъ съ этимъ отношенія между Наумомъ и Гавринькой стали заволакиваться какой-то дымкою взаимнаго непониманія и недоразум'вній. Простая задушевная искренность стала исчезать и замъняться замътною холодностью. Гавринька почему-то сталъ скептически относиться къ словамъ Наума, чего тотъ никогда прежде не замъчаль со стороны товарища, а Наумъ постепенно измъняль къ худшему мнъніе о Гавринькъ, замъчая въ послъднемъ склонность къ отлыниванью отъ чтеній и возраставшее день ото дня тягот ніе къ бабьей юбкъ. Быль случай, что Гавринька разъ совершенно задремалъ во время монотоннаго чтенія о "рычагъ прогресса", чъмъ сильно разсердилъ Наума.

- Если тебъ хочется спать, такъ лучше совсъмъ не приходить, а то брать съ собою хоть подушку!—замътиль онъ пробужденному товарищу и посмотрълъ на Гавриньку съ такимъ презръніемъ, что тотъ уже болѣе не засыпалъ, стараясь всякій разъ, когда дрема клонила внизъ его голову или одолъвала позъвота, кусать себъ языкъ и растопыривать слипавшіяся въки глазъ.

Не осталась безъ послъдствій вышитая рубашка и для Натальи Михайловны: мужъ, давно уже понявшій разръшеніе "женскаго вопроса" въ смыслъ, невыгодномъ для своихъ правъ мужа, какъ-то случайно встрътилъ Наума въ подаренной Натальей Михайловной рубахъ. Какъ ни конспирировала свою работу Наталья Михайловна, но мужъ все-таки видълъ ее и теперь вспомнилъ узоръ—"розы съ листочками"... Неосновательная ревность нашла себъ въ этомъ новую пищу, а подозръніе—основательный фундаментъ,—и землемъръ

опять нализался, какъ сапожникъ, и наскандалилъ на весь городъ...

Въ припадкъ безумія онъ бъгаль по улицамъ и кричаль: "Я ему покажу "вопросъ"!.. Я ему сверну шею! Я обоихъ заръжу!" Чуткое обывательское ухо уловило скрытый смыслъ этихъ пепонятныхъ словъ, обывательская фантазія создала изъ нихъ цълый романъ, — и сплетня стала расти, какъ снъжный комъ, который катаютъ школьники въ теплые зимніе дни, приготовляя гигантскія "бабы".

Нельзя сказать, чтобы эти сплетни были близко приняты къ сердцу Натальей Михайловной: она вполнъ усвоила уже преподанную Наумомъ науку— плевать на общественное мнѣніе; но дѣло въ томъ, что это обстоятельство повело за собою еще новыя осложненія: дьяконъ, отецъ Ольги, до котораго дошли слухи, строгонастрого запретилъ дочери водиться со студентами и грозилъ непокорной дѣвушкѣ пожаловаться исправнику, если та будетъ посѣщать "беззаконныя сборища" и читать "соціологическія книжки". Дьяконица не стращала, а только уговаривала, усовъщевала:

- Дѣло дѣвичье... Долго ли до грѣха? опозорять, обезславять... Имъ чго!.. Забава одна, развлеченіе... А послѣ ни одинъ хорошій человѣкъ на тебя не взглянеть!.. Развѣ прилично молодой дѣвушкѣ... Ну, та (т. е. Наталья Михайловна), пускай!.. Вертушка!.. Связался чортъ съ младенцемъ!.. Стыдно, Оленька!.. Грѣшно!— урезонивала дьяконица упрямую дѣвушку, но та тверлила свое:
- Глуности! Мало ли чего болтають?.. Я не върю. Ольга серьезно подумывала о поступленіи на курсы. Въ ея головъ стояль такой ералашъ, копошилось столько думъ, столько вопросовъ, что она уже перестала тосковать безпредметно и завидовать тъмъ, кто только куда-нибудь ъхалъ, безразлично куда и зачъмъ. Ольга чувствовала страшную жажду знаній, в

курсы представлялись ей единственной возможностью разръшить все неразръшимое, понять все непонятное... Тоска приняла опредъленную форму и направленіе: это была тоска, обусловливаемая сознаніемъ недостатка знаній и стремленіемъ къ образованію, но стремленіемъ съ непреодолимыми преградами...

Но—Боже мой!—какая ужасная катастрофа произошла въ домъ отца-дъякона, когда Ольга высказала свое недостижимое желаніе—поступпть на курсы!.. Отецъдъяконъ и ругался, и плевался, проклиналъ студентовъ и курсы, чуть не побилъ мать дъяконицу и свою дочь, ударялъ кулакомъ по столу и простиралъ перстъ къ небу.

— На курсы!.. Будь они прокляты!.. Еще не достаеть только, чтобы ты, моя дочь, принялась шить штаны и рубашки для кавалеровъ!.. Не допущу!.. Всѣхъ студентовъ буду вонъ гнать... чтобы и глазу не смѣли казать!.. Сбращусь къ властямъ предержащимъ!.. Тъфу! И эту землемѣршу непутную на порогъ не пущу!..

Впрочемъ, напрасно отецъ-дьяконъ упоминалъ о землемършъ: Наталья Михайловна давно уже перестала дружить съ Ольгою,—съ тъхъ поръ, какъ для нея стало ясно, что Наумъ отдаетъ той предпочтеніе. Съ этого времени между пріятельницами пробъжала черная кошка, что стало особенно замътнымъ послъ того несчастнаго вечера, когда на общемъ чтеніи Ольга нечаянно пролила чернила на облеченнаго въ подаренную рубашку Наума.

- Это свинство!—крикнула тогда Наталья Михайловна.—Я трудилась, трудилась, а ты, словно нарочно, испортила!
- Извините, Наумъ Васильевичъ! Нечаянно!—сказала Ольга...
- Ничего, песъ съ ней, съ рубашкой! Не въ этомъ дѣло, отвѣтилъ Наумъ и этимъ отвѣтомъ явно показалъ, что нисколько не дорожитъ ни подаренной рубашкой, ни памятью Натальи Михайловны...

— Очень благодарна!—обиженно замътила Наталья Михайловна. — Только все-таки по моему — свинство такъ относиться къ чужимъ вещамъ!.. Пусть вышьетъ сама, а потомъ и мажетъ чернилами... Очень даже въжливо!..

Гавринькъ было тоже обидно за Наталью Михайловну, и онъ сильно разсердился на Наума, который такъ безцеремонно невъжливъ и грубъ съ женщиной...

Вскоръ совершилось нъчто ужасное и въ семьъ почтмейстера. Отецъ Гавриньки неожиданно объявиль, что Наталья Михайловна — шлюха и что она только кружить головы молокососамъ... Дъло происходило за объдомъ и разръшилось крупною сценою между отцомъ и сыномъ...

- А тебъ рано еще за чужими женами бъгать!..
- Т. е. какъ это понять?—нахмуря брови, спросилъ Гавринька.
- А очень просто: не изволь бъгать за землемършей! А лучше загляни въ книги-то... Все, чай, изъ башки-то вылетъло!..
- Это мое дѣло!.. Вы во всемъ видите—одну гадость и пошлость! Весьма странно и прискорбно...
- Воть то-то и есть, что гадость!.. Хлыщуть, какъ мартовскіе коты, прости Господи!.. А та, шлюха, и не стъсняется... На виду у всего города...
- Пошло и... и... мерзко!--раздражение прошенталъ Гавринька:--отъ васъ-то я этого ужъ никакъ не ожидалъ!.. Оказывается, что и вы недалеко ушли...
- Молчи, дуракъ!..—крикнулъ въ гиѣвѣ почтмейстеръ.
- Если дуракъ, то въ силу наслъдственности! буркнулъ Гавринька и, не докончивъ объда, выскочилъ изъ-за стола и ушелъ вонъ изъ дому...

На другой день Гавринька быль невольнымъ свидътелемъ, какъ почтмейстеръ почти выгналъ вонъ пришедшую Наталью Михайловну, объявивъ ей, что "сыну ихъ не нужны рубашки, —своихъ много!.."

IX.

Наступиль сентябрь, а съ нимъ и хмурые дни, съ заволоченнымъ тучами небомъ, съ маленькимъ частымъ дождикомъ, грязью и скукою. Обывательскіе домики какъ-то посъръли и стали казаться совсъмъ маленькими, невзрачными... Большія болота дождевой воды преграждали пъшее сообщеніе между противоположными сторонами улицъ... Обыватели, съ засученными панталонами и подоткнутыми юбками, осторожно пробирались по деревяннымъ полусгнившимъ тротуарамъ и вытоптаннымъ тропинкамъ... Лошади съ трудомъ выволакивали телъги и тарантасы съ облипшими грязью колесами изъ рытвинъ и ямъ... Въ воздухъ висъль непріятный туманъ...

Въ одинъ изъ такихъ днеи Гавринька печально бродилъ около землемърскаго домика съ палисадникомъ. Пальто Гавриньки намокло и отяжелъло, грязныя ноги сдълались неимовърно большими отъ приставшихъ къ галошамъ комьевъ глины и чернозема и разъъзжались въ сторону, широкія поля шляпы обвисли, и съ нихъ, какъ съ крыши, спрыгивали, одна за другою, водяныя капли...

Сперва Гавринька прошель по той сторонь, потомъ—по этой, потомъ постояль на углу, и прочитавъ объявленіе "о призывъ новобранцевъ", опять пошель мимо домика съ палисадникомъ... Когда Гавринька подходиль къ землемърскому домику, онъ ускорялъ шагъ, принималь дъловой видъ и вообще старался замаскировать истинную цъль своего скитанія вокругъ да около... А цъль этого скитанія заключалась въ томъ, чтобы какъ-нибудь увидъть Наталью Михайловну. Это было ръшительно необходимо. Съ того дня, какъ почт-

мейстеръ выгналъ бъдную, ни въ чемъ неповинную женщину вонъ изъ квартиры, Гавринька потерялъ всякое спокойствіе... Его грызла совъсть, ему было и стыдно, и горько, его благородная душа скорбъла за себя, за отца и за обиженную землем вршу... Гавринька чувствоваль какой-то гнеть, — словно онъ сдълаль какую-то скверную пакость, и искаль покаянія... Да, именно-покаянія!.. Онъ хотъль высказать, что онъ туть не при чемъ, что отець — челов вкъ неинтеллигентный и позводиль себ в это по невъжеству; онъ готовъ быль искупить оскорбленіе собственнымъ униженіемъ, плакать, ціловать, какъ пьяный землемъръ, ноги у напрасно и жестоко оскорбленной женщины, готовъ былъ ползать передъ нею на колъняхъ, вообще мучился, - какъ всегда бываеть съ порядочными людьми, которыхъ случай дълаеть невольными участниками угнетенія и оскорбленія беззащитныхъ и слабыхъ. Гавринька хотълъ объясниться, т. е. выяснить все, что случилось, и хоть немного облегчить свои нравственныя мученія... Онъ разсчитывалъ встрътить Наталью Михапловну на улицъ... Быть можеть, она пойдеть куда-нибудь, -- и тогда онъ ее догонить и объяснится... Но увы! Наталья Михайловна какъ въ воду канула... Она нигдъ не показывалась, перестала даже ходить по праздникамъ къ объднъ... А это исчезновение еще болъе утверждало Гавриньку въ мысли, что бъдная женщина не можетъ очнуться послё страшнаго, возмутительнаго оскорбленія и, върно, теперь неутышно плачеть... Гавринькъ припоминается та сцена, которую ему пришлось увидъть въ день освобожденія Натальи Михапловны отъ рабства: она сидить, прижавшись въ уголку, маленькая, беззащитная, и, опустивъ головку на руки, льетъ горькія слезы... Только теперь надъ ней глумится не ньяный мужъ, а отецъ Гавриньки... А Гавринька стоитъ и молчить, не имъя мужества прекратить глумленіе... О, если бы увидъть ее, поскоръй увидъть!

Долго Гавринька ходиль, какъ тѣнь, мимо палисадника, долго мѣсиль ногами грязь и мокъ подъ дождикомъ, но его желаніе не сбывалось... А увидѣть необходимо,—черезъ три дня онъ уѣдетъ изъ Сердянска, и тогда на его совѣсти останется навѣки пятно... Какъ же быть? Развѣ рѣшиться войти въ домъ?.. Страшно... Она — добрая душа... Она умѣетъ забывать личное горе и страданіе—это такъ, но... онъ, живодеръ?! Нѣтъ, надо, во что бы то ни стало, свидѣться, объясниться,—этого требуетъ и совѣсть, и простая нравственная обязанность честнаго человѣка...

Гавринька неувъренно свернулъ къ крыльцу. Поднявшись на площадку, онъ на мгновеніе остановился, застыль въ неръшимости... Но внутренній голось сказаль ему: "какое мальчишеское малодушіе!" и Гавринька пошель дальше... Дверь не заперта... Тихо... Только часы тикають, да на подволокъ мяучить кошка... Гавринька робко шагнуль въ переднюю. Сняль галоши Кашлянуль...

- Кого надо? раздался хриплый полупьяный голосъ, и въ дверяхъ зала показалась заспанная физіономія "живодера"... Гавринька растерялся и сказаль:
 - Наталью Михайловну можно видѣть? мнѣ надо съ ней поговорить...
 - Кого? Наташку тебъ?.. Поговорить?.. А кто меня подлецомъ называетъ? А?

Глаза землемъра засверкали огнемъ дикаго бъщенства, нижняя губа затряслась...

. — Наташку тебъ? Я вотъ тебя той же палкой...

При этихъ словахъ пьяный землемъръ шагнулъ за стоявшей въ углу палкою съ набалдашникомъ. Гавринька вылетълъ, какъ бомба, изъ двери, почти спрыгнулъ съ крыльца и, не разбирая характера почвы, поспъшилъ поскоръе уйти на приличную дистанцію отъ домика съ палисадникомъ.

На крыльцо вышелъ землемъръ, державшій въ рукахъ какой-то предметъ.

— Эй! Ты! получи свои худыя галоши!—крикнулъ онъ хриплымъ басомъ, и одну за другою пустиль объ галоши въ грязь на середину улицы...

Но Гавринька быль такъ пораженъ негостепріимнымъ пріемомъ, что не хотѣлъ вернуться и спасти свои, утопавшія въ лужѣ, галоши...

Трудно описать душевное состояніе Гавриньки въ этоть памятный день... Выражаясь языкомъ поэтовъ, надо сказать, что въ душт его былъ настоящій адъ... Муки совъсти и оскорбленнаго самолюбія поперемънно терзали юношу, не давая ни минуты забвенія... Гавринька не объдалъ и не пилъ чаю, не выходилъ изъ своей комнаты и все валялся въ постели, спрятавъ въ подушкахъ свое лицо... Мать это сильно безпокоило, и она то и дъло предлагала принять сыну хины. Но это только раздражало Гавриньку. Она не понимаеть и не можеть понять того, что переживаеть онъ!.. Никто не можеть!.. Кругомъ все-чужіе люди: и отецъ, безчеловъчно оскорбляющій беззащитную женщину, и мать, которую больше безпокоить лихорадка, чёмь ужасныя муки совъсти и оскорбленнаго человъческаго достоинства... Что съ ними говорить?.. Имъ, пожалуй, все это покажется только смішнымъ... Хотілось бы повидаться съ Наумомъ и хотя передъ нимъ разъяснить всю эту "гадость", но... къ Науму онъ не пойдетъ болъе: они болъе-не друзья и даже не товарищи... Какая дружба, какое товарищество можеть быть, въ самомъ дълъ, съ тъмъ человъкомъ, который позволиль себъ выразиться, что онъ, Гавринька, началъ свою дъятельность не съ этики, а прямо съ бабьей юбки?..

Послъ этого между ними, конечно, не можетъ быть никакихъ отношеній. И за что все это? За то только, что Гавринькъ... нравится Наталья Михайловиа и что опъ выпросилъ у ней фотографическую карточку! Что

тутъ дурного? И какое ему дѣло, если бы даже... онъ и любилъ Наталью Михайловну?! Пошлость! Гадость! вездѣ гадость!

Гавринька сжималъ свою голову объими руками, брякался, какъ снопъ, въ подушку,—и слезы отчаянія и злобы оставляли на бълой наволочкъ мокрыя пятна...

- Отецъ! съ Гаврюшей что-то нехорошо... Не послать ли за фельдшеромъ?—совътовалась почтмейстерша съ мужемъ. Тотъ пошелъ провъдать.
- Гавріиль! Отопри-ка! Чего заперся?—сказаль озабоченный отець, постукивая въ запертую дверь Гавриньки.
- Оставьте меня! Я вѣдь никому, кажется, не мѣшаю!—крикнулъ раздраженно Гавринька...
 - Да отопри! Боленъ ты, что ли?..
- Боленъ, но этой болъзни не понять вамъ!.. Распечатывайте да запечатывайте свои пакеты, а меня оставьте!

Отецъ отошелъ. "Дуритъ",—сказалъ онъ женѣ: "набалбесничался всласть, вотъ и все. Будетъ ловеласничать-то... Пора и за пауку приниматься... Лоботрясы!.."

- Чего же ругаться-то! Уъдеть въдь послъзавтра и такъ!.. Ты хоть на прощаніе-то будь съ нимъ поласковъе!.. Когда теперь увидимся!..—замътила почтмейстерша, и ей стало жалко милаго Гавриньку...
- Дѣти, дѣти! Радость вы и мученье!—прошептала она со вздохомъ.

X

Была ясная сентябрьская ночь. Періодъ дождей уже окончился, небо прочистилось, и блѣдно-голубая небесная синева вмѣстѣ съ золотымъ дискомъ задумчивой луны напоминала о недавнихъ лѣтнихъ ночахъ, канувшихъ въ вѣчность... Только бодрящая свѣжесть въ воздухѣ, да затвердѣвшій грунтъ земли свидѣтельствовали о полномъ господствѣ холодной осени...

Большинство сердянцевъ уже спало безмятежнымъ

сномъ. Огни давно погасли, улицы опустъли, всюду стихло... Лишь на берегу ръки, на одной изъ пароходныхъ пристаней, еще бодрствовали: на мачтъ горълъ сигнальный фонарикъ, на конторкъ замъчалось нъкоторое оживленіе, слышалась легкая русская ругань и скрипъ мостковъ подъ ногами проходившихъ и уходившихъ съ пристани...

Здёсь ожидали запоздавшій пароходъ.

Семья почтмейстера давно уже посиживала въ миніатюрной каюткъ для чистой публики въ томительномъ ожиданіи парохода и въ грустномъ настроеніи по случаю скорой разлуки съ отъъзжающимъ въ университеть Гавринькой. Чтобы какъ-нибудь убить время, которое всегда въ такихъ случаяхъ тянется невыносимо долго, они пили чай, нъсколько разъ гуляли по конторкъ и по набережной, снова возвращались и ъли холодную телятину... Но пароходъ не торопился, и несмотря на то, что по расписанію долженъ быль въ девять часовъ отойти отъ Сердянска, не показывался на горизонтъ еще и теперь, когда часовая стрълка показывала одиннадцать.

- Не видать?—нѣсколько разъ освѣдомлялся Гавринька у матроса, выходя изъ каютки на палубу.
- Нътъ ни хрѣна!—отвѣчалъ матросъ, замухрыщатый русскій мужичокъ, и начиналъ ругать неаккуратный пароходъ скверными словами.

А "предъ-отъъздное" томленіе все усиливалось. Сидъли молча, чувствовали необходимость въ послъдніе часы говорить больше и не находили о чемъ говорить. Почтмейстерша шевырялась все въ узелкахъ и картонкахъ, въ десятый разъ ознакомляя Гавриньку съ тъмъ, гдъ и что уложено и съ чъмъ слъдуеть быть поосторожнъе; почтмейстеръ сидълъ насупившись и молча читалъ расписаніе отхода пароходовъ и таксу. Гавринька слонялся изъ угла въ уголъ. Всъмъ было скучно, и всъ завидовали находчивому Гришъ, который въ ожиданіи прощанія съ братомъ прекрасно покушаль и теперь также прекрасно спаль на лавочкѣ, обернувшись личикомъ къ стѣнѣ.

- Туть воть яйца!.. Боюсь, не въ смятку ли... Не разбей, еще бъда будеть—чай и сахаръ испортишь...
 - Ладно...
 - --- Какъ только прівдешь, сейчась же напиши...
 - Хорошо, напишу.
- Да поберегайся дорогой-то... Долго ли простудиться...
 - Конечно...

Таковъ былъ характеръ прощальной беседы между разстающимися надолго людьми.

Ръка волновалась. Холодный вътеръ слегка покачивалъ конторку, — хотълось прилечь; монотонный скрипъ досокъ, изъ которыхъ была сколочена каюта, и плесканіе валовъ въ бортъ дъйствовали усыпляющимъ образомъ. Почтмейстеръ сладко позъвнулъ и посмотрълъ на карманные часы, за нимъ позъвнула и жена... Гавринька предложилъ имъ идти домой — спатъ, такъ какъ пароходъ могъ и совсъмъ не прійти сегодня... Разбудили Гришу... Посидъли, встали, помолились Богу и, расцъловавши Гавриньку и въ лобъ, и въ губы, пошли... Гриша ревълъ, и его ревъ долго доносился до Гавриньки и щемилъ ему сердце.

Но вотъ ревъ затихъ—успокоилось и Гавринькино сердце. Гавринька остался въ каютъ одинъ. Онъ чувствовалъ теперь себя бодръе и лучше, словно присутствіе родныхъ стъсняло его свободу,—и сонливое настроеніе исчезло.

Гавринька пріободрился, подтянуль выше голенища охотничьихь сапогъ, поправиль ремень дорожной сумки, закуриль папироску и пошель прогуляться и еще разь освъдомиться,—"не видать ли"... Въ дверяхъ онъ столкнулся съ Наумомъ, который съ вещами и съ мамынькой лъзъ въ каюту...

- Виноватъ-съ!—извинился Гавринька и вѣжливо далъ дорогу вошедшимъ.
- Ничего-съ! сказалъ Наумъ, съ трудомъ протаскивая въ узкое пространство двери чемоданъ и мѣшокъ съ яблоками.

Гавринька почувствоваль себя какъ-то неловко. Онъ не ожидалъ этой встрѣчи и не зналъ, какъ теперь повести себя по отношенію къ бывшему другу и товарищу... Долго гулялъ онъ по берегу и по палубѣ конторки, отклоняя столкновеніе съ Наумомъ. Но войти въ каюту все-таки пришлось очень скоро: Гавринька прозябъ.

- Извините, я сложилъ ваши вещи со стола и съ лавки вонъ куда!.. Полагаю, какъ равноправный пассажиръ, я имълъ на это право,—встрътилъ его Наумъ.
 - -- Сдълайте одолжение!...
- Здравствуй, Гаврила Миколаичъ! Я тебя и не узнала—богатымъ быть!..— заговорила вдругъ пріютившаяся въ углу на лавкъ Авдотья.
 - Мое почтеніе!
- Что это ты совсѣмъ забылъ насъ?.. Съ кѣхъ поръ я тебя не видала?
 - -- Такъ... некогда было...
- Ну, вотъ, вмѣстѣ поѣдете, все повеселѣй будеть!..
- Да, вмѣстѣ... Конечно, веселѣе...-согласился Гавринька.

Наумъ ходилъ по каютъ въ направлении съ съвера на югъ, а Гавринька съ востока на западъ. Они старались не задъвать другъ друга.

- Не хошь ли, Гаврила Миколаичъ, яблочковъ? Анисовыя, наливныя, вкусныя! Наумъ!—угости пріятелято; чай, не жалко!—начала опять безтолковая Авдотья.
- Пожалуйста! вонъ они!—сказалъ Наумъ, показавъ рукой на мъшокъ подъ лавкой, и слегка улыбнулся.
- А ты вынь! Самому ему, что ли, подъ лавку-то лъзть?!--замътила Авдотья.

- Я не хочу... не безпокойтесь! сказалъ Гавринька, увидя, что Наумъ—въ большомъ затрудненіи, и тоже улыбнулся.
- Холодновато!—сказалъ онъ, ни къ кому не обрашаясь.
- Да, не жарко... А мит вотъ въ лътнемъ одъяніи такъ и совсъмъ свъжо! отвътилъ Наумъ.

Гавринька любезно предложилъ ему пледъ. Наумъ отказался.

Такъ, слово за слово, разошедшіеся друзья начали разговаривать, хотя все еще на "вы". Оба были очень довольны, что встръча разръшается такъ просто, обоимъ было смъшно, и хотълось положить конецъ этой комедіи, но самолюбіе заставляло ихъ выдерживать разъ принятый тонъ...

Наконецъ, Гавринька выразилъ желаніе хватить рюмку водки, чтобы согрѣться, а Наумъ одобрилъ этоть проектъ:

- Было бы не дурно! Кстати, мнѣ надо размѣнять трешну!..
 - Идемъ!—сказалъ Гавринька.
 - Куда?
 - А вонъ въ "Прогрессъ", тамъ еще огни!

Они пошли въ гостиницу "Прогрессъ", гостепріимно свътившуюся на берегу своими окнами. Выпили по рюмкъ водки и крякнули. Гавринька предложилъ выпить бутылку пива.

- Пожалуй, сказалъ Наумъ.
- Какое пьешь? спросилъ Гавринька, незамътно переходя съ "вн" на "ты".
 - Все равно...

· А за пивомъ бесъда приняла и вовсе пріятельскій характеръ:

- Тебя, говорять, землемъръ выгналъ и чуть не избилъ?..
 - Нътъ, не то, чтобы выгналъ, а принялъ дъйстви-

тельно довольно сухо... Ну, да вѣдь могло ли быть иначе?.. Развѣ можно предъявлять къ нему какія-нибудь нравственныя требованія... Живодеръ и скотина, подлецъ...

— А я слыхаль, будто выгналь... Сплетничають... Видъли, говорять, какъ ты вылетъль съ крыльца...

Гавринька вспомнилъ свои погибшія галоши, но все-таки не признался...

- Кто это говорить?.. Какъ не совъстно!.. Я дъйствительно поскользнулся (грязно было) и чуть было не упалъ... А они "вылетълъ!"... Ну, и язычки же у насъ!.
- Да, это върно, —произнесъ Наумъ и, немного помолчавъ, сказалъ:
- И со мной, брать, ерунда вышла... Представь: прихожу вчера къ Ольгъ за книгой... Никого дома нъть, она одна... Ну, сидимъ, болтаемъ... Вдругъ входитъ мать... Ха-ха-ха!.. Представь только!.. Въдь это... ха-ха-ха! Ни съ того, ни съ сего обращается ко мнъ и говорить: вотъ что, Наумъ Васильевичъ!.. если вы думаете жениться на Оленькъ, такъ другое дъло, а если такъ только, такъ нечего попустому дъвушку смущать... Ха-ха-ха!.. Дурная слава, говорить, бъжитъ, а хорошая лежитъ!.. Ха-ха-ха!..
- Неужели?
- Да... Я стою, какъ болванъ, глаза выпялилъ... Ха-ха-ха!..
 - Ну, а Ольга?
- Она кричить: "Мамаша, мамаша! что вы? Перестаньте!" и реветь...
 - Фу ты, ерунда какая!
- A дьяконица больше да больше... Вотъ, говоритъ, вамъ Богъ, а вотъ—порогъ...
 - Hy?
- Ну... ну, и ушелъ... Плюнулъ и ушелъ... Жалко книгу.—Добролюбова оставилъ...
 - Аяй! ерунда!..

- Да, братъ... Не такъ мы за "дѣло" принялись, не съ того конца...
 - Т. е. какъ это?
 - Нераціонально...
 - Почему?
 - Multis de causis...
 - А именно?

Но въ это время подходящій къ Сердянску пароходъ затянуль протяжный свистокъ, и друзья, побросавъ стаканы съ пивомъ, стремглавъ кинулись на конторку...

Гулко прогудёли три торопливыхъ свистка, прокатились громкимъ эхомъ въ прибрежныхъ горахъ, и блиставшій огоньками пароходъ, обдавая городъ Сердянскъ клубами чернаго дыма, отдёлился отъ конторки...

Вотъ прогудълъ онъ отрывочнымъ свисткомъ еще одинъ, прощальный разъ, ритмически похлопалъ плицами колесъ о воду, поплескалъ валами на песчаную отмель берега, мигнулъ зеленымъ кожуховымъ фонарикомъ—и скрылся, исчезъ...

На конторкъ еще разъ выругался матросикъ и, спустивши съ мачты спгнальный фонарь, пошелъ спать... На конторкъ стихло. Окна гостиницы "Прогрессъ" померкли.

Не угасаль только огонекъ лампы въ домѣ о. дьякона; тамъ сидѣла у окна Ольга съ раскрытою книгою въ рукахъ и, глядя черезъ окно куда-то далеко-далеко, тихо и задумчиво повторяла:

> Милый другъ, я умираю Оттого, что былъ я честенъ; Но за то родному краю, Върно, буду я извъстенъ...

СЪ НОЧЕВОЙ.

I.

— Ну, поидемъ, что ли! — выкрикнулъ кто-то подъ моимъ окномъ.

Я приподнялся со стула, выглянулъ въ окошко и увидалъ Трофимыча...

- А ты поскоръй, чтобы къ закату поспъть!
- Да куда?
- А ты знай-собирайся! Я тебя въ такія мѣста предоставлю, что и-и-и!.. Мое почтеніе! "Туба! Туба!" закричалъ вдругъ Трофимычъ на своего Фингала, который впадалъ обыкновенно передъ охотой въ игривое настроеніе, и теперь, завидя поросенка, погнался за нимъ со всѣхъ четырехъ ногъ.
 - Н-назадъ! Регардю! Кушъ, проклятый!!.

Но Фингалъ увлекся, и никакія угрозы, никакія французскія нѣжности и русскія ругательства на него не дѣйствовали. Поросенокъ растерялся, ткнулся въ подворотню, завязъ и принялся испускать ужасные, раздирающіе душу вопли. Фингалъ тянулъ его за хвость и кусалъ за ноги.

— Туба, паршивый! Регардю! Иси сюда!! — попытался было еще Трофимычъ остановить смертоубійство. Но, видя свои старанія напрасными, бросилъ на лужокъ свою двухъ-аршинную одностволку и побъжалъ на мъсто катастрофы...

Трофимычь—лѣсникъ, мой постоянный спутникъ по лѣсамъ и болотамъ. Недавно мы бродили съ нимъ по лѣсу, исколесили его по всѣмъ направленіямъ, но не подняли никакой живности, исключая горлицъ, ястребовъ и кукушекъ. Трофимычу было неловко, совѣстно предо мною: онъ наговорилъ мнѣ такихъ небылицъ о богатствахъ своего лѣса всевозможною дичью, что я за два дня предъ отправкою на охоту принялся готовиться: старательно промазалъ свинымъ саломъ охотничьи сапоги, наготовилъ массу патроновъ и пыжей... Разсказы Трофимыча объ изобиліи дичи заставили меня бояться, что не хватитъ зарядовъ... А вышло такъ, что мы воротились изъ лѣсу, не разрядивши даже своихъ ружей.

— Экое диво!—оправдывался Трофимычъ:— и куда только птица дѣвалась?!. Бывало, пойдешь по лѣсу— хлопъ да хлопъ! Безперечь тетеревей подымаешь... По энтимъ самымъ мѣстамъ, то-есть страсти, сколько ея водилось! А нынче смотри,—совсѣмъ нѣтъ. Не тѣ времена, всего меньше стало, во всемъ недостаточность.

И тогда же мы ръшили оставить лъсъ и удариться на болота.

— Постой, дай срокъ! Я тебя въ утино мѣсто свожу... Энтой дряни тамъ, то-есть—конца-краю нѣтъ... Ребятишки руками ловятъ.. Мы съ тобой столько нащелкаемъ,—страсть, однимъ словомъ—бугры! Ты уже на меня положись, потому я сызмальства охотничаю! всѣ мѣста мнѣ по здѣшнему краю хорошо извѣстны... Я тебѣ удружу... Это ты будь безъ сумленья...

Трофимычь быль страстный охотникъ. Но ему, такъ же, какъ и его Фингалу, было рѣшительно все равно: охотиться ли въ лѣсу, или шляться по болотамъ; онъ съ одинаковымъ удовольствіемъ пачкался и мокъ въ тинѣ, какъ и царапалъ въ кровь свою рожу о сучья и вѣтви густыхъ лѣсныхъ зарослей.

Сегодня Трофимычь, видимо, выполняль свое объщаніе "удружить" мнѣ—сводить на "утиное мѣсто", ибо на его ногахь, вмѣсто обыкновенныхь сапогь съ бураками, были обуты востроконечные "пимы", изъ бѣлой кожи—нѣчто въ родѣ греческихъ сандалій. Я началь поспѣшно собираться. Между тѣмъ Трофимычъ остановиль "смертоубійство". Поросячьи вопли прекратились и замѣнились жалобнымъ взвизгиваніемъ Фингала. Но вотъ и Фингалъ замолчалъ, а черезъ минуту подъ окномъ снова стоялъ Трофимычъ, весь красный, взволнованный и сердитый.

- Ишь, собачій сынь! Я тебѣ покажу безобразничать! Ты у меня будешь... Проклятущій!.. Пра-а-во... Кажинный разъ дозволяешь себѣ безобразіе... На-ко, какую манеру взяль?...—слышалось подъ окномъ ворчаніе Трофимыча.
 - Евлентій Миколаичъ!
 - -- Hy!
 - Нътъ ли у тебя, друхъ, какой веревки?
 - Зачѣмъ тебѣ?
- Да надо, для Фингала... На-ко, какую манеру взяль: ни одной свиньи не пропустить безъ того, чтобы ухо али хвость не огрызъ... Селомъ пойдемъ,—непріятностевъ много будетъ, потому—скотина... На привязь хочу взять.

Веревка нашлась.

— Фингалъ! Ну, ляпортъ иси! Иси сюда... Ну, регардю, милый!...—вкрадчиво и слащаво подманивалъ Трофимычъ побитаго Фингала, присѣвши къ землъ и похлопывая себя по колѣнкъ.

Но Фингалъ точно изучилъ своего хозяина. Теперь онъ держался на приличномъ разстояніи и, несмотря на ласковыя подмигиванія, присъданія къ земль, пощелкиванія пальцемъ и другіе пріемы Трофимыча, только виновато помахивалъ хвостомъ, но не двигался съ мъста,—и вся фигура Фингала говорила одно только:

"знаю, дескать, я хорошо всѣ эти "регардю",—не надуешь!"

II.

Было далеко за полдень, когда мы проходили черезъ попутное село Сосновку. Іюльское солнце немилосердно жгло и палило. Въ воздухъ стояла страшная духота.

Сосновка словно вымерла: на улицахъ-ни души, кругомъ тихо и сонно. Все живое попряталось куданибудь въ холодокъ... Вонъ тамъ, въ крапивъ, подъ тънью покривившагося плетня, спить глубокимъ сномъ грязная хавронья; худая и высокая кляча спасается отъ палящаго зноя подъ твнью, бросаемой на лужокъ бревенчатою ствною хлвбнаго амбара; обхлыстывая свои худые бока усъяннымъ ръпьями хвостомъ, она методично поматываетъ своею головой, словно кому-то все кланяется... Куры сидять нахохлившись, въ ныльныхъ. ямахъ, около завалинъ... Только одни воробьи не боятся жаркаго лътняго солнышка: они превесело попрыгивають по дорогъ, купаются въ пыли и, задорно чирикая, дерутся между собою... Страда въ полномъ разгаръ. Изъ села всъ ушли на поле; дома остались одни только старые да малые... Да и тъхъ не видать, -- всъ попрятались: старики полеживають въ сфияхъ или въ клъти, старухи дремлють въ избахъ, покачивая зыбки съ ребятишками, подростки разбъжались-кто въ лъсъ по грибы, кто въ луга, кто въ поле объдъ тятькъ съ мамкой понесъ...

- Палить! —проговориль Трофимычь, когда мы приближались къ винной лавкъ.
 - Да, жарко...
- А въдь ночью даже очень прохладно... Ей-Богу! Я вотъ третеводни въ лугахъ ночевалъ,—такъ подъ утро, знаешь, какъ пробрало!..
 - Ну, холодамъ, поди, еще рано быть...
 - Рано?! Постой, вотъ ужо какъ къ вечеру вымок-

немъ, узнаешь, кака теплынь по утрамъ бываетъ! Цыганскій потъ прошибетъ... Ей-Богу!..

Я молчалъ. Мы поровнялись съ винной лавкой.

- Да ты взяль ли чѣмъ ночью-то пріодѣться? Неужели, окромя энтого пинжака, ничего не взяль?
 - Нѣтъ...
- Что ты, друхъ! Рази это фасонъ?.. Смотри, лихоманку схватишь,—послѣ и не развяжешься... Вонъ я въ прошломъ году, почитай, все лѣто маялся... Спасибо барынѣ: ты, говоритъ, водкой натирайся... на ночь, значитъ... Только тѣмъ и избавился... Кабы не барыня, да не зелье это проклятое,—бѣда! Ложись да помирай!..

Трофимычъ замолчалъ, обернулся на оставшійся позади кабакъ и вздохнулъ. Нѣсколько минутъ мы шли молча.

— А если, примърно, на охоту,—началъ опять Трофимычъ,—тутъ ужъ безъ водки никакъ невозможно: задрогнешь!.. Я ужъ это всегда шкаликъ-другой запасаю... Только вотъ сегодня не захватилъ, совсъмъ запамятоваль—изъ ума вонъ!.. А въдь и водка-то дома есть... Добро бы не было, а въдь въ клъти на полкъ непочатая бутыль стоитъ,—съ именинъ осталась... Налить бы—и только всего! Ей-Богу!.. Эка память какая, бабья!..

Я упорно молчалъ.

- -- Ну, чай, ты, Евлентій Миколаичь, догадался, прихватиль маленько. А то къ вечеру вымокнемь, перемѣниться нечѣмъ, задрогнешь, друхъ!.. Утромъ знаешь, какъ проберетъ!..
 - Нътъ, не догадался.
 - Что ты?!-испуганно крикнулъ Трофимычъ.
 - Право.
- Это—не фасонъ! Надо бы гдѣ ни на есть отыскать!..

Я пожалѣлъ, что мы не хватились раньше, пока еще не прошли кабака. — Да рази туть далеко!—пріостановившись вдругь, сказаль Трофимычь:—давай, духомъ сбъгаю!.. Это пустое... Рази туть далеко... Рукой подать!

Я даль, и Трофимычь веселой рысцой пустился по направленію къ кабаку.

— Я сичасъ... духомъ!.. — долетали до меня произносимыя на ходу восклицанія Трофимыча. — Сію сикунду!.. А безъ водки — бъда! помирай... задрогнешь...

Черезъ пять минутъ Трофимычъ медленнымъ, лѣнивымъ шагомъ ворочался обратно. Въ одной его рукѣ блестѣло на солнечныхъ лучахъ стекло бутылки, а другою онъ тянулъ на веревкѣ Фингала, котораго ему удалось-таки перехитрить и взять на привязъ.

— Вотъ извольте-съ!—протянулъ онъ ко мнѣ руку съ бутылкой. — А то вечеромъ вымокнемъ, перемѣниться нечѣмъ, задрогнешь... Безъ водки несподручно...

Въ моемъ ягдташѣ не нашлось свободаго мѣста для бутылки.

— Давай-ка сюды! Я за пазуху могу взять... у меня тамъ всякая всячина: и хлъбъ, и припасы, и все такое...

Трофимычь полѣзъ съ бутылкой за пазуху и вдругъ. спохватился.

- Ахъ, песъ тя дери! Пестоны-то забыль!.. Ей-Богу!.. Ахъ, драть ее съ плеча! А? Эта бабья память!.. Что я теперь долженъ дълать? А?.. Рази подълишься, а то хоть назадъ бъги...
 - Я дамъ, у меня хватитъ...

Трофимычъ разомъ успокоился...

— На̀-ко, друхъ, подержи Фингала! Я сію сикунду. Подальше зелье-то засуну, неравно разобьешь...

(Надо замѣтить, что Трофимычъ всегда позабывалъ что-нибудь: то "мачекъ", то "дробцу", то пистоны).

Засунувши глубоко за пазуху "зелье", Трофимычъ высморкался въ кулакъ, торопливо сплюнулъ въ сторону, поправилъ картузъ и принялъ обратно Фингала.

Становилось все жарче и жарче. Потъ ручьями катился съ нашихъ физіономій. Спину сильно припекало, шею жгло, какъ огнемъ... Несмотря на это, мы бодро шагали по пыльной придорожной лужайкъ. Въ моемъ воображеніи рисовалось "утиное мъсто", передъглазами проносились вереницы утокъ, "срывались" дупеля и бекасы, въ ушахъ—раздавалось кряканіе утокъ, пискъ куликовъ... Я предвкушалъ удовольствіе отъ предстоящей удачной охоты... Не знаю, что было въ головъ Трофимыча... Только съ того момента, какъ въ его пазуху залъзло "зелье проклятое", онъ шагалъ также проворно и весело...

- А что, далеко еще до этого "мѣста-то"? спросилъ я Трофимыча, горя нетерпѣніемъ поскорѣе добраться до желанной "Сосновской трясины".
- Да, попыхтишь еще! Версть съ пятокъ, поди, будетъ, если не больше,—отвѣтилъ онъ и, какъ бы желая смягчить непріятность своего сообщенія, сейчасъ же добавилъ:
- Далеко... Зато не даромъ сходимъ: туда придешь—уходить неохота... Утокъ, дупелевъ, бекасовъ пропасти! Только заряду припасай!..
 - Много?
- Энтой дряни-то? Пропасть! То-исть прорва, однимъ словомъ—легіоны! Не бойсь, я тебя на худое мѣсто не поведу,—я тебѣ удружу, будешь доволенъ... Дай-кась, друхъ, паперосочку!..

И я, польщенный и успокоенный увъреніями Трофимыча, далъ ему "паперосочку" и еще бодръе зашагаль далъе...

III.

Солнце близилось къ закату, когда мы подходили къ "Сосновской трясинъ", —такъ называлось заповъдное "утиное мъсто", куда меня велъ Трофимычъ. Дневная жара стала замътно спадать. Время отъ времени поду-

валъ пріятный прохладный вѣтерокъ. По обѣ стороны дороги желтѣли и уходили въ необъятную ширь поля сжатой ржи, и на нихъ тамъ и сямъ поднимались небольшія пирамидальныя копны, рисовались контуры крестьянскихъ телѣгъ съ поднятыми кверху оглоблями, чернѣли фигуры лошадей, кое-гдѣ краснѣли бабьи кумачевые сарафаны... А далеко впереди зеленѣли луга, сверкали своей поверхностью озерца и болота... И взоръ упирался въ синѣющій на горахъ сосновый боръ...

— Во-она! Видишь зелену гору-то? видишь, — вода серебрится?—показалъ мнѣ рукою Трофимычъ: — ну, такъ вотъ подъ энтой самой горой — трясина и есть!.. Версты три-четыре она въ ширину тянется, полосой значитъ... А туда влѣво, опять—болотина... Ну, та много меньше будетъ... въ старые годы тутъ по сотнѣ набивали, друхъ!..

Высокіе болотные сапоги порядочно таки навихляли мит ногу. Но при послъднихъ словахъ Трофимыча я разомъ пересталъ ощущать усталость. Вст мои мысли и желанія сводились теперь къ одному только — "скоръй, скоръй, скоръй!"

Трофимычъ спустилъ съ веревки Фингала и крикнулъ ему напутственное слово: "шарь, милый, шарь!"—вмъсто "шерше",—и снялъ съ плеча свою долговязую одностволку.

— Тутъ вотъ скоро маленькое болотце будетъ... На немъ иной разъ чирочки попадаютъ... долгоносики тоже вывертываются,—какъ бы про себя замътилъ Трофимычъ.

Мое сердце екнуло, и бывшее до сихъ поръ за спиною ружье какъ-то вдругъ очутилось подъ мышкою...

— Дай-кась пестончикъ!—полушопотомъ попросилъ Трофимычъ.

Мы остановились и надъли на куфорки пистоны. Я подтянуль спустившіяся голенища сапогь и протеръ занотъвшія стекла очковъ.

— Съ Богомъ!.. Я маленько влъво заберу, а ты энтой

стороной подходи, —проговорилъ Трофимычъ и отдълился.

Болотце было еще далеко,—до него оставалось еще добрыхъ полверсты, —при томъ оно окаймлялось мелкими кустиками тальника, такъ что глазъ не могъ усмотрѣть даже самой воды, не говоря уже о "чирочкахъ". Несмотря на это, мое зрѣніе и слухъ находились въ страшно напряженномъ состояніи. Я не спускалъ глазъ съ кустиковъ, насторожилъ свои уши и, спотыкаясь то и дѣло о кочки и ямы, весьма быстро приближался къ болотцу. Однако Трофимычъ выгадалъ: онъ взялъ себѣ болѣе выгодную позицію—ему было ближе. И я съ завистью смотрѣлъ на Трофимыча, такъ какъ понялъ, наконецъ, что моя торопливость напрасна, что первый выстрѣлъ остается за Трофимычемъ...

Но—увы! — Фингалъ испортилъ все дѣло. Оба мы находились еще отъ болота на разстояніи двухъ ружейныхъ выстрѣловъ, какъ въ воздухѣ раздалось испуганное кряканье двухъ чирковъ, а затѣмъ—лай и радостное взвизгиваніе собаки.

— Куды, дьяволъ!? Н-назадъ!—пронеслось сердитое, но безсильно-злобное восклицаніе Трофимыча.

Но Фингалъ ничего и знать не хотѣлъ... Вотъ стрѣлою вылетѣли изъ кустовъ два бекаса и разсыпались въ разныя стороны. Фингалъ опять завизжалъ и залаялъ, а Трофимычъ опять закричалъ во все горло:

— Туба! Назадъ! каналья! Убью!!

Вслъдъ за этимъ изъ кустовъ выскочилъ Фингалъ и что есть духу погнался съ визгомъ и лаемъ за какой-то пернаткой. Напрасно Трофимычъ кричалъ, ругался, упрашивалъ: Фингалъ не отставалъ отъ птицы и скоро скрылся изъ виду.

Неблаговидный поступокъ Фингала обозлилъ меня страшнымъ образомъ. Но такъ какъ Фингала возлъ меня не было, а стоялъ только ругающійся скверными

словами Трофимычъ, то вся злость и обратилась на послъдняго.

- И на кой чорть ты взяль своего Фингала? Онь только мёшать будеть... Развё это собака?! Убьешь съ вами чорта два...—ворчалъ я, недовольный на Трофимыча.
- И шутъ его знаетъ, что съ нимъ случилось!— отвътилъ смущенный Трофимычъ.—Ей-Богу!.. И откуда только такую манеру пріобрълъ?.. Пр-а-во... Сперва этого за нимъ не было...
- Куда его къ чорту! Прогнать надо-и только! не унималось мое сердце.

Трофимычъ обиженно посмотрълъ въ мою сторону.

— А ты того...—погоди?.. Ты думаешь, онь—нестоющій? Погоди маленько!.. Это онъ давно по болотинамъ не мыкался... Ужо намается,—шелковый станетъ... Онъ хорошій,—прибавилъ Трофимычъ послѣ небольшого молчанія. — Мнѣ за него, друхъ, четвертную давали—вотъ что! И то не отдалъ... Сосновскій баринъ (померъ ужъ онъ теперь) чуть не Христа-ради выпрашивалъ... "Ничаво, говоритъ, не пожалѣю, бери, говоритъ, любую лошадь али корову, только Фингала уступи..." Да нѣтъ, я не дуракъ тоже! Куда мнѣ корову? На кой лядъ мнѣ лошадъ? Ты погоди... Онъ тебѣ ужо покажетъ. Ей-Богу!.. Ты на него не гляди, что онъ съ виду такой... какъ бы, значитъ, паршивый...

Я расхохотался.

- Смъйся! обидълся Трофимычъ. Тыполагаешь, вру? Ей-Господи, нътъ! Вотъ сейчасъ съ мъста не сойти, если вру... Да спроси Митрія Васильича... Митрія Васильича знаешь? Ну, вотъ онъ тебъ удостовъритъ... Онъ свидътелемъ былъ, какъ тогда баринъ выманивалъ у меня Фингала.
 - Върю...
- Этакихъ кобелей поискать,—мало... Ей-Богу!.. Золото, а не кобель!..

- Ну, ладно... Хорошъ...
- Бери, говорить, любу лошадь или корову,—не унимался Трофимычь...

IV.

Надъ лъсомъ догорали послъдніе лучи солнца. Вотъ они скользнули еще послъдній разъ по вершинамъ задумчивыхъ сосенъ, поиграли золотистыми переливами на желтой смолистой коръ стройныхъ высокихъ деревьевъ, подарили прощальной улыбкой желтъющія нивы, луга и — потухли. На небосклонъ разгоралось все шире и шире пламя вечерней зари. Причудливыя дымчатыя облака, тамъ и сямъ повисшія въ тускніющихъ небесахъ, закраснълись стыдливымъ румянцемъ и мъстами приняли золотистый оттънокъ. Въ воздухъ повъяло прохладой и свъжестью. Вотъ "дергнулъ" гдъ-то коростель, потомъ-другой, третій... Подъ ногами безъ умолку застрекотали кузнечики... Во всъхъ концахъ прозвучала дребезжащая пъсенка перепела... Каждый звукъ, каждое движеніе какъ-то рѣзко и отчетливо выдълялись теперь среди стихнувшей природы...

Земля готовилась ко сну...

Мы стояли на берегу "Сосновской трясины". Подъвысокой горой сверкали темною сталью водяные островки, во множествъ разбросанные по топкой, покрытой кочкарникомъ, тростникомъ и осокою болотной равнинъ. Въ наступающихъ сумеркахъ глазъ не могъ отыскать ни конца, ни начала этой равнинъ. Высокія, угрюмыя сосны спускались съ горы почти вплоть къ самому болоту и, отражаясь темными массами въ прибрежной водъ, придавали ей черный и мрачный оттънокъ...

— Ну, теперь не зѣвай! Смотри въ оба!—проговорилъ Трофимычъ.

Мы остановились, осмотръли ружья. Все оказалось въ порядкъ.

Мое сердце колотилось такъ сильно о стѣнку груди, что я отчетливо слышалъ каждый ударъ, каждое біеніе его: попробовалъ "приложиться",—руки были нетверды, дрожали, "мушка" прыгала и уходила съ праваго глаза...

— Надо раздълиться, вмъстъ ходить не фасонъ! — предложилъ Трофимычъ, сдълавшійся вдругъ до смъшного серьезнымъ и дъловымъ. —Ты иди энтой стороной, возля лъсу, а я въ обходъ ударюсь, кругомъ значитъ... Коли я спугну, она на тебя полетитъ, а ежели ты ударишь, она на меня потянетъ.

Намътивши пунктъ встръчи и ночлега, мы условились и о сигналъ: кто первый воротится къ облюбованному мъсту—обгорълому пню,—тотъ долженъ былъ разжечь костеръ и подбрасываньемъ вверхъ горящихъ головешекъ оповъстить товарища о своемъ возвращеніи.

- Ты только смотри: далеко не лазай! посовътоваль мнъ Трофимычъ, когда мы двинулисъ въ противоположныя стороны.
 - А что, развѣ опасно?
- Нѣтъ, не то, чтобы опасно, а все-таки не лазай далеко отъ берегу-то... Въ третьемъ году тутъ покойный баринъ такъ ноги завязилъ, что насилу выволокли... Ладно, что народъ поблизости былъ, а то бы кончено!.. Ты поостерегайся... Долго ли до грѣха!.. А то ничаво, никакой опасности нѣтъ... Только ноги не завязи...

И мы разошлись въ разныя стороны.

Съ замираніемъ сердца, тихо, осторожно вышагиваль я вдоль берега, внимательно приглядываясь къ сонной поверхности водяныхъ островковъ. Затаивъ дыханіе, я всматривался въ каждую кочку, въ каждый травяной кустикъ, въ каждый листочекъ, которые то и дѣло принималъ то за утку, то за утиную шею, то за длинноногаго кулика или бекаса... Но всякій разъ мнѣ

приходилось разочаровываться: присматриваясь внимательно, я узнавать обманувшіе мое напряженное зръніе предметы и печально опускаль внизъ стволы своей двустволки...

Но—чу! Недалеко отъ берега что-то зашевырялось и забулькало въ высокой густой осокъ .. Я вздрогнулъ и кръпко сжаль въ рукъ холодное желъзо ружейныхъ стволовъ... Вотъ изъ-за травянистой кочки выставилась и опять спряталась длинная шея утки... Я моментально приложился и готовъ былъ уже "ударить" по птицъ, какъ вдрургъ до моего слуха донеслось какое-то странное фырканье, сопъне и чавканье... А потомъ изъ-за кочки выставилась удивленная морда Фингала, и въ воздухъ привътливо заболтался его хвостъ, принятый мною за утиную шею.

-- Чортъ бы тебя побралъ!-- невольно сорвалось съ моего языка, когда я понялъ, въ чемъ дѣло.

Фингалъ, обрадованный неожиданной встръчею, въ одно мгновеніе выскочилъ изъ воды и, подбъжавши къ моимъ ногамъ, началъ сильно встряхиваться, обдавая меня цълымъ каскадомъ тинистой грязи.

-- Шерше! Пшелъ!--вздумалось мнѣ воспользоваться услугами старательнаго Фингала.

Но Фингалъ не двигался съ мъста и, стоя попрежнему подъ ногами, съ подобострастіемъ заглядывалъ въ мои глаза и вилялъ во всъ стороны гладкимъ, какъ палка, хвостомъ...

— Ну! тамъ, тамъ!.. Шерше!—сдѣлалъ я еще одну попытку. Но, когда понялъ, что мои поползновенія на содѣйствіе Фингала ни къ чему не поведуть, я сердито пнулъ его въ бокъ ногою и грозно закричалъ: "къ чорту!.." Этотъ пріемъ оказался удобопонятнымъ для Фингала, ибо послѣдній тотчасъ же опустилъ внизъ свой хвостъ и отбѣжалъ въ сторону...

Я побрелъ дальше, вдоль берега... Небеса быстро темнъли. Упали густыя сумерки.

V.

Смерклось. На потемнѣвшемъ небосклонѣ мигнула первая, еще пока блѣдная, звѣздочка...

Гдв-то вдали бухнуль ружейный выстрыль, громко пронесся въ тихомъ, спокойномъ воздухв, прокатился эхомъ по нагорному лъсу и замеръ... Я встрепенулся. "Убилъ", промелькнуло въ моей головъ, и не то какаято досада, не то зависть къ Трофимычу кольнула меня въ самое сердце... Я остановился и прислушался: въ воздухъ слышался характерный свистъ утинаго полета. Я присълъ на колъно и сталъ всматриваться впередъ, откуда донесся выстрълъ Трофимыча. Цълая вереница утокъ повисла надъ болотной равниною и летъла прямо на меня... Вотъ онъ уже близко... Но я выжидаю, пока онъ пролетятъ надъ головою, чтобы ударить въ тылъ. "Въ тылъ сподручнъй... такъ по башкамъ и саданетъ!"—помнятся мнъ слова опытнаго Трофимыча...

Но раздался вдругъ отчаянный лай и визгъ Фингала,—и утки съ кряканьемъ шарахнулись въ сторону и скоро скрылись въ вечернихъ сумеркахъ... Я кипълъ отъ негодованія и ярости. Былъ моментъ, когда я готовъ былъ убить Фингала... Опустившись на землю, я сердито отбросилъ отъ себя ружье и, закуривши папироску, началъ въ задумчивости выпускать изо рта дымокъ тонкими струйками...

Долго просидълъ я на берегу въ нѣмомъ созерцаніи. Ночь опускалась. Угрюмый лѣсъ, закутанный флеромъ ночи, темною стѣной поднимался надъ берегомъ. Болото утратило свои рельефы и контуры: и кочки, и камыши, и кустики,—все это какъ-то расплылось, стушевалось и слилось въ одну темную, ровную поверхность. Подувалъ холодный вѣтерокъ...

Стрѣлять было нельзя, такъ какъ глазъ уже не могъ поймать "мушку"... Между тѣмъ начался "перелетъ". Въ ушахъ то и дѣло раздавался свистъ утиныхъ

крыльевь; возвращающіяся съ хлѣбовъ "кряквы" то и дѣло съ шумомъ брякались въ воду... А въ камышахъ и въ осокѣ, время отъ времени,—осторожное покрякиваніе селезней и пискливые отклики самокъ...

Вотъ вдали блеснулъ огонекъ, и опять раздался грохотъ ружейнаго выстръла. Угрюмый лъсъ опять подхватилъ его, и громкое эхо повисло въ ночныхъ сумеркахъ... "Убилъ!"—опять мелькнуло въ моей головъ...

И опять недовольство, злоба на Фингала и зависть къ Трофимычу охватили меня...

Была уже глухая ночь, когда я вступиль на низменный и топкій берегь "Сосновской трясины".

Приближалась непогода. На небъ ползали зловъщія тучи. Выглянуль было на свободномь оть тучь клочкъ синевы молодой серпъ мъсяца, но сейчасъ же пугливо спрятался и не появлялся болъе. Кругомъ царила полная темнота. Съ съверо-восточной стороны все чаще и чаще набъгали злые порывы вътра. Прибрежные камыши о чемъ-то шептались между собою. Густая осока безостановочно шелестила своими листьями. А мрачный, угрюмый лъсъ сердито ворчалъ и безъ умолку охалъ...

Становилось какъ-то жутко...

- Трофим-ы-ы-чъ!-закричалъ я что было силы.

Но голось мой удивиль меня своей собственной слабостью... Злобный вътерь разсъяль его, едва давши вырваться наружу...

Закинувъ за плечи двустволку, я торопливо зашагалъ къ намъченному для ночлега пункту.

Изъ-подъ ногъ то и дъло "срывались" испуганныя "кряквы", надъ головою свистъли утиныя крылья... Но мнъ было не до утокъ. "Въ третьемъ году тутъ покой ный баринъ такъ ноги завязилъ, что насилу выволокли..."—неотступно преслъдовали меня слова Трофимыча, и я торопился поскоръе миновать тъ мъста, гдъ я могъ подвергнуться участи покойнаго барина...

VI.

- Куда ты, друхъ, запропалъ?—встрътилъ меня Трофимычъ, удобно примостившійся около весело потрескивавшаго костра.
 - Что же ты головешки-то не кидалъ?
- Ну, вотъ! Я ужъ никакъ цъльный часъ ихъ кидаю... Почитай, весь костеръ раскидалъ!.. Я ужъ забоялся: не завязилъ ли, друхъ, ты ноги... Хотълъ было на поиски идти.!. Ей-Богу!..

Фингалъ приподнялся было съ мѣста при моемъ появленіи, завилялъ хвостомъ, но, должно быть, вспомня свою "медвѣжью услугу" мнѣ, живо отошелъ въ сторону и свернулся въ кольцо около Трофимыча.

- Сколько убилъ?
 —категорически спросилъ я Трофимыча.
- Сколько?—недовольно протянулъ онъ:— всего одну только крякву!..
 - А это что?
 - Энто дрянь... пигалицы...
- Плохо. А я такъ и совсѣмъ ничего не убилъ... Все твой Фингалъ, чортъ бы его задавилъ!.. Говорилъ я, что онъ мѣшать только будетъ. Прогнать бы его давеча было надо!..
- A что? Рази подгадилъ? сочувственно освъдомился Трофимычъ.

И я разсказалъ ему, какъ "подгадилъ" мнъ Фингалъ.

— Эхъ, друхъ! А ты бы его по ляжкамъ-то саданулъ!.. У него въ заду не одна дробина сидитъ... Ей-Богу! У-у! проклятущій!

Трофимычъ толкнулъ собаку подъ бокъ, та взвизгнула и недовольно заворчала.

— Туба! Молчать!

Трофимычь поднялся съ мъста.

— На хозяина огрызаться?! А? Да я тебѣ, собачій сынъ...

Трофимычъ схватилъ обгорѣвшую головешку и пустилъ ею въ Фингала.

— Избаловался,—серьезно замътилъ Трофимычъ, располагаясь опять возлъ костра. — Зайцевъ по лъсу все гоняетъ... А то раньше хорошій кобель былъ, стоющій... Мнъ за него четвертную давали...

Небо становилось все грознѣе и грознѣе. Порывы вѣтра съ каждой минутой крѣпчали. Лѣсъ глухо шумѣлъ. Приближалась гроза... Вотъ на черномъ фонѣ заволоченныхъ тучами небесъ блеснулъ фосфорическимъ огонькомъ зигзагъ молніи. Гдѣ-то далеко прозвучалъ глухо слабый громовой раскатъ...

— Вымокнемъ! до ниточки вымокнемъ... — промолвилъ Трофимычъ, помъшивая въ уголькахъ костра какою-то палочкой.

Я вспомниль вдругь о водкѣ,—мнѣ захотѣлось немножко погрѣться.

- Гдъ у насъ водка-то? спросилъ я Трофимыча.
- Водка-то? —переспросиль онъ. —Да у меня, друхъ, бъда случилась... Ты ужъ не бранись, сдълай милость! Ей-Богу невзначай!
 - Что "невзначай"?
- Да пролилъ! Поставилъ, знашь, вотъ этакъ-ту, да, мъсто-то, видишь, неровно, бугромъ... али локтемъ задълъ шутъ ее знаетъ!.. Упала и потекла-а-а... Вотъ здъсь, друхъ... И сейчасъ еще мъсто-то мокро... Пощупай-ка!..

Трофимычъ похлопалъ ладонью по землъ. Я улыбнулся.

— Хорошо еще,—не вся вытекла,—продолжаль онъ, передавая мнъ бутылку, наполовину наполненную "проклятымь зельемъ". — Ладно, успъль поддержать, а то бы вся ушла... Ну, тебъ, чай, хватитъ... Много ли вамъ нужно!.. Ну, а я уже такъ обойдусь безъ водки... Шутъ съ ней совсъмъ!.. И чортъ знатъ, какъ меня, дурака, угораздило!.. Локтемъ знашь, вотъ этакъ!.. Она и свернулась... и потекла-а-а... Ты ужъ того...

И Трофимычь долго еще просиль меня не серчать, долго оправдывался въ своей мнимой неловкости, на разные варіанты разсказываль постигшее его несчастіе, похлопываль ладонью "мокрое мѣсто" и ругался на всѣ лады. Наконець, убѣдившись, что я повѣрилъ, Трофимычь успокоился и, усѣвшись около огонька, началь старательно щипать своихъ пиголицъ. Сперва я думаль, что Трофимычъ намѣренъ ихъ изжарить, но когда увидѣлъ, что, окончивши операцію, Трофимычъ завертываеть ощипанныхъ пиголицъ въ свой грязный шейный платокъ, я поинтересовался узнать, что онъ намѣренъ съ ними дѣлать. Трофимычъ улыбнулся.

- Это, друхъ!.. Ужо сосновской барынѣ занесу... Афонасьѣ Петровнѣ... Знашь Афонасью Петровну? Толстую-то?.. Ну, такъ ей самой...
 - -- Зачѣмъ?
- Какъ зачѣмъ? Для продажи... Она ихъ замѣсто дупелевъ такъ ли уписываетъ—страсть! Жретъ да по-хваливаетъ: носи, говоритъ, почаще, потому, дескать, я безъ дупелевъ не могу, не такого воспитанія!.. А я—когда дупелевъ, а когда съ ними и пиголицу подсуну. Башку-то обрублю, выпотрошу, а ноги-то у нихъ таки же долги... Ничего, не разбираетъ... Почаще, говоритъ, носи, до страсти, говоритъ, люблю!..

Я не могь удержаться отъ хохота.

- Ей-Богу! хвастливо отвѣтилъ на мой хохотъ Трофимычъ.—Ты что, сумлеваешься?
 - Неужели не разбираеть?
- Гдѣ ей? Даже нисколько... Ее, я полагаю такъ, можно, напримѣръ, галкой поподчивать... Слопаетъ... Старая, ужъ всякій вкусъ потеряла... На прошлой недѣлѣ скворцовъ нащелкалъ кулики, говорю, барыня... Ничего, зажарила... Нашто, говоритъ, ты ихъ оголилъ?... —Да сподручнъй, говорю, потому, —времяжаркое, духъ пустить могутъ... А ты, говорю, тухлыхъ-то не уважаешь... Ну, а выпотрошишь, да кранивкой обло-

жишь, -- они дольше терпять, свѣжесть, говорю, сохраняють... Ничего, съѣла... Ты, говорить, носи почаще, другимъ-то не продавай ужъ, а прямо ко миѣ тащи... Ей-Богу! Умора одна...

И, хохоча отъ души надъ наивностью сосновской барыни, Трофимычъ принялся подкидывать въ костеръ хворосту... Сперва сдълалось темно. Изъ костра повалили густыя облака фдкаго дыма, но скоро красные языки пламени съ какою-то яростью заползали по сухимъ, потрескивающимъ на огнъ карягамъ, вырвались наружу, слились въ одинъ сплошной огненный столбъ и, высоко поднявшись надъ землею, освътили небольшую площадку вокругъ костра. Зато тамъ, дальше, сдълалось вдругъ еще темнъе, густой мракъ понадвинулся темной завъсой со всъхъ сторонъ... Фингалъ, спавшій вблизи костра, почувствовалъ избытокъ теплоты, неохотно приподнялся съ належаннаго мъстечка и отошель въ сторону... Тощая фигура Фингала казалась при свътъ нылающаго костра до крайности жалкой: брюхо подвело, тонкія и длинныя ноги подгибались отъ усталости, облъзшая спина какъ-то изогнулась... Фингалъ, очевидно, "намыкался" и сталъ, по выраженію Трофимыча, шелковый...

— Hà, одеръ! — сказалъ Трофимычъ, бросивъ Фингалу корку хлъба.

Одеръ съ жадностью подхватилъ корку и, видимо, намѣревался отойти съ нею куда-нибудь въ укромное мѣстечко. Но Трофимычъ остановилъ его намѣреніе въ самомъ началѣ.

— Туба!--крикнулъ онъ, желая, въроятно, показать мнъ, что его Фингалъ получилъ кое-какое образованіе...

Фингалъ на мгновеніе остановился, но потомъ, захвативъ еще глубже въ свою пасть корку хлѣба, моментально скрылся въ темнотъ...

— Набаловался,—объяснилъ Трофимычъ поступокъ Фингала и прилегъ опять на старое мъсто...

VII.

- А что я тебя хочу, друхъ, спросить!—обратился ко мнъ Трофимычъ послъ долгаго взаимнаго молчанія...
 - Hy?..
- Ты вотъ образованный, всякимъ наукамъ обучался... Скажи, друхъ, правда, али нѣтъ: говорятъ, будто наша земля вертится...
 - Правда, вертится...
- Вертится, повторилъ Трофимычъ, какъ бы о чемъ-то размышляя. А я думалъ, зря болтаютъ! Только я, друхъ, никакъ въ толкъ не возьму: что за причина ей вертъться?

Произошло небольщое молчаніе, такъ какъ я и самъ затруднялся сказать, какая была "причина"...

— Опять же и то сказать: какъ же мы, друхъ, съ тобой не свалимся?—И на лицъ Трофимыча появилась недовърчивая улыбка.

Я попытался объяснить ему, почему мы не "валимся". Трофимычь качаль утвердительно головой, приговариваль: "такъ, это върно"; но выраженіе его лица все время отражало полнъйшее недовъріе къ моимъ словамъ.

— Притягательна сила!.. Гм... Такъ... Отчего же, друхъ, утка на воздухъ держится? По какой причинъ насъ съ тобой притягатъ, а ее нътъ? Значитъ, того... Насъ съ тобой пригибатъ, а ее нътъ... Чудное дъло!..

И Трофимычь закидаль меня цёлымъ потокомъ вопросовъ, на которые я рёшительно не умёлъ отвётить. Эти вопросы затрагивали столько областей знанія, задёвали столько научныхъ теорій, гипотезъ и истинъ, что я становился втупикъ и, при всемъ своемъ желаніи, не могъ удовлетворить любопытства Трофимыча и не сумёлъ заглушить недовёріе его...

— Все дознали, до всего дошли! Хитрый народецъ,

шуть ихъ дери!--говорилъ Трофимычъ.--Тоже вотъ у насъ тутъ одинъ человъкъ былъ... Ну, и башка! все знаеть, лъшій его задави! Ей-Богу!.. Онъ воть тоже сказывалъ, будто черезъ милліонъ годовъ солнышко потухнеть, перегорить значить... Только я такъ полагаю, что вретъ онъ... Потому, кто его знаетъ, что черезъ милліонъ годовъ будеть?! Да, дошлый народецъ... Тоже воть этоть человъкь сказываль, что черезь сотню годовъ вездъ машина появится, то-ись всяку дрянь машиной будуть работать. Теперь, напримъръ, только важныя дёла машинами производятся, -- молотьба тамъ, или заводъ какой, – а тогда все, дескать, машиной! Въ заграницъ, говоритъ, лошадь отмънили, замъсто нея машинка дъйствуетъ: сядешь, напримъръ, верхомъ, и валяй, куда хочешь, хоть за тынцу версть... Не знай, не вретъ ли: машинами, говоритъ, въ заграницъ яйца выдълываютъ... У насъ, скажемъ такъ: пътухъ и курица, а тамъ, говоритъ, и безъ нихъ дѣло обходится... Чудаки, лъшій ихъ задави! Никакой, говорить, человъку работы дълать не придется-все за него машина сдълаетъ: сиди, значитъ, на печи и ъщь калачи...

Трофимычь покачаль головою и сплюнуль. Костерь весело потрескиваль. Въ жестяномъ чайникъ бурлиль кипятокъ.

- Только не вреть ли онъ? Я такъ полагаю, что и при машинахъ дѣловъ будетъ достаточно. Кто же эти самыя машины выдѣлывать будетъ? Чай, тоже не съ неба свалятся... Значитъ, опять выйдетъ такъ, что ты, скажемъ къ примѣру, будешь калачи уписывать, а я машины выдѣлывать да вокругъ ихъ побѣгивать...
 - Кто же это тебъ разсказывалъ?
- Разсказываль-то?.. Да туть одинь человъкъ быль у насъ... Дмитрій Степанычь, писаремъ у станового служиль... Умнъющій человъкъ, башка—однимъ словомъ! Образованный тоже... Только водка проклятая сгубила его. Запьетъ, бывало,—ничъмъ не остановишь...

А дѣло отлично понималъ. Я такъ полагаю, что онъ больше даже самого станового смыслилъ... Ей-Богу! Кабы не водка, далеко бы пошелъ!..

- Гдъ же онъ теперь?
- Онъ-то? А Богъ его знаетъ! Запилъ вотъ этакъ-ту однова и пошелъ по деревнямъ шляться. Зашелъ кудато, такъ и не нашли, безъ въсти пропалъ... Не знай, прихлопнули гдъ, не знай, что другое... Только нътъ и нътъ!..

Трофимычь глубоко вздохнуль.

— Ну, и башка же была! Ей-Богу!.. Тоже, какъ бы въ родъ дохтура былъ! лъчилъ превосходно... Мы съ нимъ пріятели были... Онъ тоже охотничалъ... Сколько мы съ нимъ исходили только—и-и-и! Страсть! Бывало, зальемся дня на два, на три... Онъ меня даже очень уважалъ... Однимъ словомъ—пріятели были! Вотъ это ружье-то я у него купилъ, у Дмитрія Степаныча...

Трофимычъ переложилъ съ одного на другое мѣсто

свою одностволку.

- Пришель разъ ко мнѣ выпимши и давай приставать: "купи да купи", дешево, говорить, отдамъ, по дружбѣ значить... Не надо, говорю, есть у меня (а у меня тогда плохенькое ружьишко было, вся цѣна—грошъ!)... Нечего дѣлать. пожалѣлъ человѣка далъ ему цѣлковый... Ну, и ружье же; друхъ! Теперь и за четвертную не отдамъ... Ей-Богу!..
 - Хорошее?
- Золото, а не ружье! На сорокъ саженъ печатныхъ—это ему самая настоящая мъра. Если скажемъ такъ, на сто шаговъ въ листъ,—такъ и усыпетъ; живого мъста не напдешь! Какъ ръшето сдълаетъ! Вотъ, напримъръ, осенью, гуси летятъ. Ну, самъ знаешь, на какой вышинъ они держатся... Котораго покажешь изъ стада, того и вышибу!..
- Ну, поди, все не на сорокъ саженъ?—позволилъ я себъ усомниться.

- Бьетъ-то? А ты скажи—больше! Это я самую върную дистанцію обозначилъ... Да ты гляди, какая у него стволина-то: безъ малаго въдь два аршина... Ты вотъ за свое много ли далъ?
 - Сорокъ рублей.
- Вотъ видишь! А я за свое только цѣлковый... А скажи мнѣ сію секунду: давай, молъ, Трофимычъ, мѣняться!.. Ей-Богу, не стану, ни за что! Я тоже не дуракъ!.. Ты на него не гляди, что оно некрасиво, ты на бой посмотри! Вѣдь ему, можетъ, больше тысячи годовъ будетъ...
- Врешь, Трофимычъ! Тысячу-то лѣтъ тому назадъ и ружей-то еще не было...
- Ну, брать, этого ты мнѣ не говори! Я тебѣ, друхъ, доказать могу...

Трофимычъ бросилъ мое ружье, схватилъ свою одностволку и, наклонившись надъ костромъ, началъ ее внимательно разсматривать.

-- Вотъ это что написано? Читай!

И Трофимычь ткнуль пальцемъ въ то мѣсто ружейнаго ствола, гдѣ отчетливо было вырѣзано: "728".

- Что, друхъ, видълъ? многозначительно спросилъ Трофимычъ и, будучи въ полной увъренности, что я окончательно побъжденъ, онъ осторожно отложилъ въ сторону свою археологическую ръдкость.
- Семьсоть двадцать восемь... А нонче который? Воть ты и разочти, много ли его въку!..
 - Да это, Трофимычъ, не годъ туть выставленъ...
- Не годъ? А что же это? Зря, что ли? А ты сними очки-то,—можеть, и увидишь!

И онъ опять схватился за свою одностволку.

— Это не годъ, а номеръ, —замѣтилъ я.

Трофимычъ кинулъ на меня насмѣшливый взглядъ и, не сказавши ни слова, отбросилъ взятое ружье на старое мѣсто...

— Ну, номеръ, такъ номеръ!--пробурчалъ онъ себъ

подъ носъ и началъ подкладывать въ костеръ хворосту и помѣшивать въ чайникѣ...

Прошло съ четверть часа въ обоюдномъ молчаніи за чаемъ... Обоимъ намъ не говорилось...

- Должно быть, пронесло грозу-то! сказаль я, окончивши чаепитіе.
- A кто ее знаетъ!—сердито буркнулъ Трофимычъ и началъ укладываться на боковую.

VIII

Трофимычъ разлегся, нѣсколько разъ крякнулъ, вздохнулъ, прошепталъ набожно: "Господи Іисусе!" я тоже началъ готовиться ко сну, — какъ вдругъ Фингалъ тревожно приподнялъ свою морду, насторожилъ уши и сердито заворчалъ, устремивъ свой взглядъ вътемное пространство...

— Нну! Туба! Что, дуракъ, ворчишь?—прикрикнулъ на него Трофимычъ.

Но Фингалъ не послушался. Онъ приподнялся съ мъста, сдълалъ нъсколько шаговъ впередъ и, остановившись, сердито залаялъ въ воздухъ...

— Смотри,—волкъ!—догадался Трофимычъ и слегка приподнялся.

Я боязливо вздрогнулъ; мои руки инстинктивно потянулись къ ружью.

Но скоро, вмѣсто ожидаемаго волка, въ темнотѣ обрисовался тонкій и высокій силуэтъ человѣка.

— Туба! Регардю, Фингаль!.. Кто такой? — окликнуль Трофимычь какимъ-то страннымъ, не своимъ голосомъ (такъ окрикиваютъ, обыкновенно, караульщики "накрытыхъ" воровъ).

Высокая фигура не отвътила и лишь почтительно приподняла надъ головой свою шляпу. Трофимычъ,

видимо, зналъ подошедшаго господина, ибо онъ, измѣнивъ тонъ и голосъ, полунасмѣшливо и полупрезрительно протянулъ:

— A-a! Карлуша! Здорово! Небойсь, шнапсу тринкать пришелъ?

Карлуша отрицательно покачалъ головою.

— Вреть, ей-Богу, вреть!..—сказаль Трофимычь.

Карлуша молча положилъ свое ружьишко возлъ нашихъ, потомъ подошелъ къ костру, присълъ на корточки и растопырылъ надъ огнемъ свои длинныя и сухія руки.

Пламя костра освътило Карлушу. Это быль тонкій и до крайности высокій господинь, съ характерной нъмецкой физіономіей. На видъ ему можно было дать лътъ 35—40. Его странная физіономія, съ миной застывшаго испуга, и еще болѣе странный костюмь—сразу заявляли о какомъ-то особомъ положеніи, на которомъ находился Карлуша. Какая-то старомодная клътчатая визитка съ бархатнымъ воротникомъ и такими же отворотами, триковая шляпа, синій шерстяной шарфъ на шеѣ, красные женскіе чулки, увѣнчанные обыкновенными грязными мужицкими лаптями, давно небритый щетинистый подбородокъ, пугливость во взглядахъ и робость въ движеніяхъ, — все это налагало на Карлушу печать какихъ-то "исключительныхъ обстоятельствъ".

Фингалъ повертълся около Карлуши, старательно обнюхалъ его со всъхъ сторонъ и, неожиданно чихнувъ, отошелъ прочь.

— Не въ себъ онъ! — сказалъ Трофимычъ, замътивъ на моемъ лицъ нъчто въ родъ недоумънія. — глупый!..

Я сдълалъ Трофимычу знакъ глазами—не говорить такъ "неделикатно".

— Ничаво по-русски не понимаетъ, при немъ что хошь говори!—отвътилъ на мой знакъ Трофимычъ.

— Карлуша! Ты дуракъ али умный?— обратился онъ къ Карлушъ, какъ бы желая подтвердить этимъ только что высказанное мнъніе.

Карлуша что-то прошепталъ себъ подъ носъ.

- Видишь?—сказалъ Трофимычъ и опять обратился къ Карлушъ:
 - Шнапсу тринкашь?

Карлуша взглянулъ на Трофимыча, улыбнулся и отрицательно покачалъ головою.

- Ich will essen! пропищаль онъ тоненькимъ теноркомъ, потомъ ткнулъ себъ пальцемъ въ ротъ и сдълалъ нъсколько жевательныхъ движеній.
- Жрать просить...—догадался Трофимычь, полѣзъ къ себѣ за пазуху, вытащилъ оттуда краюху хлѣба и, отломивши уголъ, бросилъ Карлушѣ.

— Нà, лопай!

Карлуша поймаль на лету брошенный Трофимычемъ кусокъ хлѣба и съ жадностью началъ его кусать и громко пошлепывать отвисшей нижней губою.

— Проголодался, шельмецъ... — проговорилъ какъ бы про себя Трофимычъ и началъ снова укладываться на покой.

Спустя десять минуть Трофимычь храпѣль. Карлуша разулся и, повѣсивъ на палку свои бабы чулки, принялся ихъ обсушивать надъ прогорающимъ уже костромъ. Изрѣдка онъ посматривалъ въ мою сторону, но когда замѣчалъ, что и я гляжу на него, — онъ сейчасъ же опускалъ въ землю свои глаза и робко покашливалъ въ кулакъ.

— Убили что-нибудь или нътъ? — спросилъ я Карлушу, стараясь сообщить своему голосу какъ можно больше мягкости и участія.

Карлуша встрепенулся, чуть было не урониль съ палки свои чулки, покосился въ мою сторону и, встрътивъ на моемъ лицъ привътливую улыбку, самъ молча ухмыльнулся.

— Убили что-нибудь?—повторилъ я снова свой вопросъ.

Но Карлуша не отвъчалъ и только застънчиво улыбался...

IX.

Я проснулся отъ холода. Предсказаніе Трофимыча сбылось: меня, дъйствительно, что называется, пробрало... Я чувствоваль страшный ознобъ во всемъ тълъ, дрожалъ и щелкалъ зубами...

Приподнявшись на локтъ, я оглядълся вокругъ.

Свътало. День объщаль быть нехорошимъ, пасмурнымъ. Небо было сплошь заволочено сърыми тучами. Подуваль сырой и холодный вътеръ. Надъ "Сосновскою трясиной" поднимались густыя облака утреннихъ испареній. Лъсъ утопаль въ какомъ-то сизомъ туманъ. Накрапывалъ мелкій дождикъ...

Трофимычъ свернулся въ дугу, ухитрившись какимъ-то образомъ спрятать всѣ свои оконечности: и голову, и руки, и ноги—все это онъ, какъ черепаха въ минуту опасности, подтянулъ подъ свое туловище. Вмѣсто Трофимыча лежалъ какой-то бугоръ неопредѣленной формы и издавалъ странные звуки...

Изъ-подъ Трофимыча выставлялся ржавый стволъ его археологической ръдкости, а рядомъ, свернувшись тоже въ дугу, лежалъ "не кобель, а золото".

Карлуши не было...

Костеръ погасъ; угли покрылись густымъ слоемъ пепла, и только синій дымокъ, тонкой струйкою поднимавшійся съ земли, свидътельствовалъ о томъ, что внутри костра еще тлъетъ искра...

Я вспомниль, что у насъ еще осталось немного водки, и теперь, желая хоть немного согръться и остановить дрожь въ тълъ, приподнялся и началь глазами отыскивать бутылку.

— Трофимычъ! А Трофимычъ! Гдѣ водка-то? — не-

довольно окрикнуль я Трофимыча, не находя вокругь бутылки съ остатками "проклятаго зелья".

Но Трофимычь храпѣлъ. Только чуткій Фингаль поднялъ на минутку морду, посмотрѣлъ на меня и сейчасъ же снова уткнулся въ свое брюхо.

- Трофимычъ!

Я ткнуль его въ бокъ.

- Охъ!.. А?.. Чаво?.. Ты что меня тычешь? спросилъ Трофимычь, приподнявъ свою заспанную физіономію.
 - Гдѣ, говорю, бутылка?
 - -- А я почемъ знаю! Погляди, тутъ гдѣ-нибудь...

И онъ опять ткнулся носомъ.

Я смотрълъ, но не находилъ.

— Да нътъ ея!—опять сердито крикнулъ я Трофимычу.

Тотъ слегка приподнялся, почесалъ объими руками свой затылокъ и, осмотръвшись кругомъ, спросилъ:

- А гдъ Карлушка?
- Его нътъ, ушелъ.
- Ну, такъ и есть! Ахъ ты, шнапса проклятая! Уперъ въдь водку-то! Ей-Богу...
- Ну, вотъ! недовърчиво отвътилъ я на восклицаніе Трофимыча.
- Онъ, безпримънно онъ.. Больше некуда ей дъваться... Не сквозь же землю провалилась? Онъ уволокъ... Ну, постой, попадешься,—я тебъ шею накостыляю! Я тебъ задамъ шнапсу!.. А, ты, драть тебя съплеча! А?!.. Ну, и проворный! Ей-Богу!..

Но въ голосъ Трофимыча звучала отчетливо фальшивая нотка. Онъ какъ-то слишкомъ ужъ хладнокровно ругался, возмущался и грозилъ поколотить бъднаго Карлушу. Очевидно, что Карлуша былъ здъсь не болъе, какъ "козломъ отпущенія".

— Ахъ ты, небрита рожа! Пра-а-во!.. Какъ же теперь? Задрогнемъ... Ну, я, пущай, какъ-нибудь перетерплю, безъ водки обойдусь, а вотъ ты-то, друхъ!...

Мнъ тебя жалко... Вишь, какъ тебя трясетъ... Я хоть огня разведу,—все обогръешься малость...

Трофимычь пошель въ лъсъ за валежникомъ.

- Дошлый!—уже съ улыбкой говорилъ онъ, когда мы сидъли передъ громаднымъ пламенемъ костра.—Ты на него не гляди, что онъ дуракъ: такую механику подведетъ, что и умному не придумать...
 - Карлуша-то?
- Да, шнанса-то эта! Въришь, друхъ, чего онъ въ прошломъ году выдълывалъ! Умора да и только! Вотъ здъсь, на болотъ... Ружья у него тогда не было, а онъ таскатъ да таскатъ себъ утокъ. Что, молъ, за диво? Какимъ манеромъ онъ ихъ ловитъ? Вотъ однова и усмотръли... Онъ, шельмецъ, чего выдумалъ: разнагишается, на башку долблену тыкву надънетъ, сверху камышей натычетъ, залъзетъ въ болото по саму шею и выглядываетъ въ дыры... Съ виду-то смотрътъ,— какъ бы кочка какая али кустъ... Сидитъ часъ, сидитъ другой. Пролетятъ утки, а то выводокъ выплыветъ... Какъ котора къ нему подплыветъ,— онъ ее хватъ за ногу! Свернетъ башку да на поясъ... Ей-Богу! Да такъ вотъ штукъ до пятнадцати другой разъ налавливалъ!.. Ну, теперь бросилъ: отвадили,— дробцой попугали...
 - Да кто онъ такой? Откуда?
- Карлуша-то? Можеть, слыхалъ: верстъ за двадцать отсюда ферма есть? "Миллершина ферма" прозывается... Теперь-то ужъ она другому принадлежитъ... А раньше нѣмка Миллерша ей владѣла... Ну, такъ этотъ Карлушка — Миллершинъ сынъ и есть... Такъ, глупый!.. Мать-то у него померла, ферму-то банка отобрала да съ торговъ продала... А Карлушка-то такъ и остался... Ни роду, ни племени... Одинъ, какъ перстъ...
 - Гдъ же онъ живеть?
- Да шуть его знаеть? Зиму-то около фермы колотится... Такъ, ровно песъ какой!.. Бьють его тамъ страсть какъ! Все хотятъ отъ фермы-то отвадить, да не

могуть... А какъ только весна—на дворъ, такъ Карлушка и самъ убъжитъ... Собаками не сыщешь... По лъсу, по болотинамъ шляется... Теперь вотъ гдъ-то ружьишко добылъ, такъ и вовсе одичалъ... Ни въ одну деревню не заглядыватъ... А кормится все больше около косцовъ, гуртовщиковъ да охотниковъ... Такъ, пропащій... Жалко! Тоже—человъкъ въдь, така же душа въ немъ...

X.

Взошло солнце, но сплошныя тучи едва пропускали бълесоватые лучи его. Дождь усилился и началь безостановочно постукивать въ мою кожаную куртку... Мнъ захотълось вдругъ быть дома, отдохнуть, полежать на удобной постели, погръться за самоваромъ.

- Повдемъ, Трофимычъ!—рвшительно заявилъ я о своемъ намвреніи.
- Пойдемъ... Ты опять здѣсь, около лѣса, пройди, а я въ обходъ,—отвѣтилъ Трофимычъ, не понявши моего приглашенія.
- Нѣтъ, спасибо! Ужъ я прямо домой... какая тутъ, чортъ, охота!
- Экій ты, братець, чудакь! Теперь—самое настоящее время: скоро утка на хлъба полетить... Только поспъвай заряжать... Знаешь ли, сколько нащелкамъ!..

Но уже никакія картины удачи, рисуемыя предо мной Трофимычемъ, теперь не манили меня. Мирная семейная обстановка, со всѣми ея удобствами, которыхъ здѣсь не было, тянула меня непреодолимо.

Я молча поднялся, закинулъ за плечи ружье и зашагалъ впередъ. За мной нехотя поплелся и Трофимычъ.

Долго мы шли молча. Трофимычь смотрѣлъ серьезно, почти сердито, то и дѣло вздыхалъ, кряхтѣлъ, изрѣдка толкалъ ногою подвертывавшагося Фингала и что-то бурчалъ себѣ въ бороду...

А предо мною вставалъ образъ несчастнаго, забитаго и загнаннаго Карлуши...

— Э! Лександра! Здравствуй!—крикнулъ Трофимычъ объъзжавшей насъ на телъгъ бабъ и слегка приподнялъ на головъ картузъ.

Молодая, красивая баба ласково улыбнулась и замотала накрытою платкомъ головою...

- Подсади, что ли! вишь устали, чуть ноги волокемъ!—попросилъ бабу Трофимычъ.
- Какъ же, надо подсадить, не то осердишься! засмъялась Лександра, но потомъ попридержала свою кляченку:
 - -- Ну, садитесь, что ли! Надо уважить ужъ...

Трофимычъ сразу повеселълъ и проворно прыгнулъ въ телъгу. Я послъдовалъ его примъру.

- Пашолъ!—крикнулъ Трофимычъ и вытянулъ ладонью молодуху вдоль всей спины.
 - Баловашь!-сказала баба и задергала возжами.
- А это еще чей такой?—вполголоса спросила она у Трофимыча.
- Это съ хутора... Помнишь, куда я тебя съ ягодами-то посылаль?.. Оттуда...
 - А-а! вспомнила Лександра.
- Мы съ нимъ пріятели,—сказалъ, обернувшись ко мнѣ, Трофимычъ.—Я его еще въ одно мѣсто свожу, такъ и быть удружу!.. Дай-кась, друхъ, паперосочку!..

Когда мы провзжали мимо маленькаго болотца, гдъ вчера впервые "подгадилъ" Фингалъ, изъ-за кустовъ выставилась по поясъ тонкая и высокая фигура Карлуши.

— Нашто шнапсу стринкалъ? А? Я тебѣ, жуликъ!..— крикнулъ Трофимычъ и погрозилъ въ воздухѣ своимъ мозолистымъ кулачищемъ.

Карлуша остановился, недоумъвающе посмотрълъ въ нашу сторону, улыбнулся и опять пропадъ въ кустахъ...

Скоро впереди выросла бълая колокольня Сосновской церкви. При въвздъ въ село Трофимычъ попрощался со мною, ударилъ молодуху опять вдоль спины, крикнувъ: "спасибо", и спрыгнулъ съ телъги.

- Ты куда же?
- А къ барынъ... Надо дупелевъ занести...—отвътилъ онъ, подмигнувъ мнѣ глазомъ, и зашагалъ по направленію къ барскимъ хороминамъ Авонасьи Петровны. За нимъ побѣжалъ и "не кобель, а золото"...

А спустя часъ и я былъ дома. Передо мною стоялъ свътло начищенный самоваръ и радушно урчалъ, выпуская во всъ стороны бълыя облака охлажденнаго пара. На столъ были густыя сливки, варенье, румяныя булки... Въ комнатъ пахло жженымъ кофе и чъмъ-то вкуснымъ, сдобнымъ.

А тамъ, на улицъ, было такъ скверно: дождь лилъ, какъ изъ ведра, и, увлекаемый порывами вътра, кръпко стучалъ въ стекла оконъ. На дорогъ и подъ окнами стояли цълыя болота грязной воды. Тамъ было такъ съро, непривътливо, неуютно!..

И я чувствоваль себя чрезвычайно довольнымь и счастливымь. Одно только нъсколько смущало мое спокойствіе и блаженство: прислушиваясь къ порывамъ вътра и стуку дождя въ окна и крышу, я невольно спрашиваль себя: "а гдъ-то теперь несчастный Карлуша?.."

созрълъ.

Вчера я послѣдній разъ посѣтилъ гимназію... Странное чувство испытываль я уже по дорогъ къ угрюмому казенному зданію, окрашенному въ какую-то дикую краску и украшенному престарълой вывъской съ облупившимися, частью уже исчезнувшими, золочеными буквами: "Губернская ...азія"... Это было чувство "побъдителя"... Раньше, бывало, я приближался къ этому зданію съ нѣкоторымъ трепетомъ и съ затаенной непріязнью человька, который знаеть, что втайнь здысь готовятся ему всякія козни и мины. Теперь ничего подобнаго. Все величіе, весь ореоль страха, вся робость, воспитанная длинными годами моего созрѣванія, исчезли, растаяли, какъ паръ, разсвялись, какъ дымъ... Стоить домъ, какъ домъ, немного старый, закоптълый и угрюмый; но ничего таинственнаго, подозрительнаго въ его взглядъ на меня нътъ. Напротивъ, этотъ домъ смотрить очень добродушно, просто, безъ всякой затаенной мысли противъ меня и, какъ старый, добрый дъдушка, улыбается мнъ навстръчу... "А-а, Подгибаловъ!-казалось, говорилъ теперь этотъ домъ, потерявшій въ моихъ глазахъ угрожающе-подозрительный характерь:-кончиль, братець? Молодчина!" Я безъ всякаго трепета и опасенія вошель на его широкое парадное крыльцо съ навъсомъ и съ дверью, сверкавшей на

солнышкѣ стеклами, мѣдной рѣшеткой и ручками, и только что взялся было за скобку, — какъ дверь широко распахнулась какъ бы сама собою... Ко мнѣ, сверхъ обыкновенія, подскочилъ швейцаръ Кирилычъ и началъ стягивать пальто...

— Поздравляю, ваше благородіе, съ благополучнымъ окончаніемъ ученія у насъ... Желаю вамъ дослужиться до дилектора! — говорилъ Кирилычъ съ доброжелательной улыбкою на лицѣ, бритомъ, усатомъ и строгомъ, и услужливо топтался возлѣ меня.

Никогда еще Кирилычъ не называлъ меня "вашимъ благородіемъ", да и вообще такъ никто до сихъ поръ не называлъ меня. Поэтому, сказать откровенно, я почувствовалъ нѣкоторое удовольствіе, и на лицѣ моемъ появилась отвѣтная улыбка. Этотъ самый Кирилычъ былъ моимъ личнымъ врагомъ: онъ доносилъ на меня, если я приходилъ въ гимназію безъ ранца, убѣгалъ съ гимнастики или съ послѣдняго урока. Но я, право, не могъ теперь сердиться на Кирилыча... "Песъ съ тобой", подумалъ я и сказалъ:

- Здравствуй, Кирилычъ!.. Спасибо на добромъ словъ...
- A ужъ ежели въ дилектора попасть, такъ недалеко и до попечителя...
 - Куда тамъ!...
- А что?! Долго ли? Всяко бываеть. Воть хотя бы господина Иванова взять, письмоводителя то-есть,— вмѣстѣ въ ротѣ были... Я былъ старшимъ унтеръ-офицеромъ, а онъ такъ, рядовой по жребію... Бывало, частенько покрикивать на него доводилось, а теперь воть— пальто имъ подаю и подъ козырекъ дѣлаю...— шопотомъ закончилъ Кирилычъ и развелъ руками.— Это ужъ какое кому счастье, фортуна то-есть.
- Я, Кирилычъ, никому ни пальто, ни галошъ подавать не буду...
 - Зачъмъ же! Я это только къ слову!.. Фура-

жечку позвольте, ваше благородіе, я ее на полочку положу...

Впослъдствін я поняль, что Кирилычу слъдовало дать на чай, а тогда какъ-то не сообразиль и только крякнуль, тряхнуль волосами, поправиль на носу очки и пошель на квартиру къ директору.

Надо вамъ сказать, что я пришель на сей разъ уже не въ гимназической формѣ, а въ отцовской визитной тройкѣ и въ его же пальто. Только форменная фуражка изобличала мое прошлое.

Директоръ былъ очень строгій человікь, на лиці котораго я рёдко видёль что-нибудь другое, кром'в обычной кислой, недовольной мины; эта самая кислая мина всегда пробуждала во мнв чувство "самосохраненія"; поэтому, приближаясь къ дверямъ директорской квартиры, я какъ-то инстинктивно, на ходу сталъ застегивать пуговицы визитки, что было сдълать нелегко, вслъдствіе особаго покроя ея фалдъ, расходящихся на двъ стороны, съ проръзомъ, а затъмъ, - тоже инстинктивно, помочилъ слюнями ладонь руки и началъ приглаживать непокорный хохоль на загривкъ... За этотъ хохоль, какъ и за преждевременные усы, мнъ, бывало, доводилось выслушивать отъ директора длинныя нотаціи и объясненія, почему у гимназиста не должно быть ни хохловъ, ни усовъ, а кстати ужъ-почему гимназисть не долженъ ходить съ палкой... Такъ вотъ, несмотря на полную независимость своего новаго положенія, я не могь еще вполнъ отръшиться отъ чувства робости предъ директоромъ и, оправившись, не безъ страха подавилъ слегка пуговку звонка. Хотя вокругъ этой пуговки и было написано "прошу звонить", но я не относилъ къ себъ этого любезнаго приглашенія.

На звонокъ, очень не скоро, отворила мит директорская кухарка, съ грязной физіономіей и засученными по локоть рукавами... Эта грубая баба, видимо,

приняла меня за какого-нибудь посыльнаго или лавочника:

— Погодь здѣсь, малецъ!.. Какъ про тебя сказать-то?..
Это я-то "малецъ"!..

Я вспыхнуль, но, конечно, не вступать же въ объясненія со всякими дурами?..

- Окончившій курсъ гимназіи, Императорской первой гимназіи, Подгибаловъ—такъ и скажи!—огорошиль я бабу. Она вытаращила глаза и уб'вжала. Спустя н'всколько мгновеній, она явилась и заговорила со мной совс'вмъ другимъ тономъ:
- Пожалуйте въ кабинетъ барина! Сичасъ выдутъ сами...

Я вошель въ кабинеть и присъль на софу. Долго я сидъль туть въ полномъ одиночествъ и обводилъ взорами директорскій кабинеть, съ которымъ у меня было связано нъсколько непріятныхъ воспоминаній... Когда, бывало, директоръ приглашалъ насъ въ свой кабинеть, то это не объщало ничего хорошаго. Такое приглашение кончалось всегда или карцеромъ, или "плохимъ поведеніемъ"... "Вотъ здѣсь, —думалъ я, —директоръ даль мив не такъ давно основательную "проборку" за папиросу, съ которой я быль поймань имъ въ общественномъ саду; здъсь же въ прошломъ году онъ распекалъ меня за дерзость учителю латинскаго и довелъ меня до слезъ (глупъ былъ!)". И воть я снова приглашенъ въ кабинетъ великаго инквизитора, такъ мы называли эту комнату, - а чувствую себя совершенно иначе, да и самый кабинеть уже иначе смотрить на меня... Я смотрёлъ на массивный письменный столь, заваленный книгами, тетрадями и бездълушками, на кресло-качалку, на портреть Гомера въ черной рамкъ, того самаго Гомера, который подставиль мнв ногу при переходъ изъ VI въ VII классъ и заставилъ все красное лъто зудить и проклинать древнихъ грековъ съ ихъ проклятыми грамматиками и исключеніями, на

пріотворенную дверь въ соседнюю комнату; прислушивался къ тиканью бронзовыхъ часовъ, такъ мучительно-медленно постукивавшихъ когда-то въ моментъ "проборки" и "распеканія"... И мит дълалось вдругъ скучно. Я позъвнуль, прикрывь роть ладонью, и слегка потянулся, ощущая во всемъ тълъ какую-то сладостную истому... Я положиль было уже ногу на ногу и началъ покачивать верхней, какъ вдругъ-шлепанье туфлей!.. "Великій инквизиторъ"! — промелькнуло въ моемъ мозгу; я быстро всталъ, тихо откашлянулся, поправилъ на скорую руку прическу и галстукъ... Дверь распахнулась, -- и предо мною предстала фигура директора... Ничего грознаго, величественнаго, недосягаемаго: человъкъ въ пестромъ бухарскомъ халатъ, въ какойто ермолкъ, жуетъ-доъдаетъ что-то, улыбается самымъ мильйшимъ образомъ и, показывая на стулъ, любезно предлагаеть:

- Садитесь-ка! Гм... Ваше имя?..
- Егоръ Подгибаловъ...

Директоръ покачалъ головой, проглотилъ то, что жевалъ, и замътилъ:

- Теперь вы уже не Егоръ Подгибаловъ... Ваше отчество?
- Иванычъ, тихо отвътилъ я, опуская глаза въ землю.
- Такъ вотъ, Егоръ Иванычъ... да... Кончили... Очень радъ, душевно радъ за васъ и за вашихъ почтенныхъ родителей... Позвольте пожелать вамъ дальнъйшаго движенія!..

При этомъ директоръ протянулъ миѣ свою руку, которую я принялъ довольно нерѣшительно, съ мыслью: не по ошибкѣ ли онъ это дѣлаетъ?

Эту руку, худую, костлявую и холодную, я слегка подержалъ въ своей и выпустиль бережно...

— A вы садитесь! — бросиль директоръ, опускаясь въ кресло-качалку.

Я осторожно присълъ на кончикъ стула и ужасно переконфузился. "Егоръ Ивановичъ", директорская рука и предложенный стулъ какъ-то обезкуражили меня. Я сълъ и началъ напряженно думать, о чемъ бы заговорить съ директоромъ. На лбу моемъ выступилъ потъ, а я все еще молчалъ... Я убъждался, что намъ съ директоромъ ръшительно не о чемъ говорить... Сижу и глупо смотрю на бородавку, что сидитъ на директорскомъ носу, и думаю про эту самую бородавку... Если бы это не было неприлично, я съ этой именно бородавки и началъ бы разговоръ съ директоромъ...

А директоръ, видимо, нисколько не стъснялся неловкимъ молчаніемъ между нами: онъ покачивался, непринужденно отдувался и, поглаживая бородку, смотръль куда-то мимо меня...

— Да-съ... Егоръ Иванычъ... Кончили... Не угодно ли? Курите?—спросилъ онъ вдругъ и, раскрывъ свой массивный серебряный портсигаръ, протянулъ его ко мнъ.

Вотъ было положеніе!.. Вы и представить себ'в не можете...

По правдъ говоря, я курю уже давно, съ V класса, и директоръ это отлично знаетъ... Но какъ я могу отвътить утвердительно, когда всего два-три мъсяца тому назадъ, въ этомъ самомъ кабинетъ, и этотъ самый человъкъ, поймавъ меня въ общественномъ саду съ папиросой въ зубахъ, кричалъ, топалъ ногами, грозилъ "выгнать вонъ"?..

Я чувствоваль, что краснью до корня волось, что уши мои наливаются кровью, руки тяжельють... Я внезанно вспотыть отъ безвыходности положенія, а онъ снова:

- Курите? Прошу васъ!..
- Нн... да... собственно не курю, но... позвольте... мерси...
- Не стъсняйтесь... Теперь можно и покурить... Quod licet Iovi, non licet bovi... Гимназисту строго воз-

браняется, а окончившимъ курсъ—никто не запрещаетъ, Егоръ Иванычъ...

Я привсталь какъ-то одной ногою, протянулся съ дрожащей рукою къ директорскому портсигару и вытащиль изъ него вмъсто одной—двъ папироски. Растерялся, хотълъ одну изъ папиросъ положить обратно, но урониль ее на полъ и оскандалился: когда я наклонился къ полу, изъ бокового кармана визитки выпала коробочка съ моими собственными папиросами, моей любимой "Звъздочкой", 10 штукъ—5 коп.

Директоръ расхохотался. Я тоже началь смъяться, хотя не потому, чтобы мнъ было смъшно, а просто потому, что больше ничего не оставалось дълать... Спасибо директоршъ-выручила:

- Вася!—прозвучаль ея голось изъ сосъдней комнаты.—Илите!
 - Стаканчикъ кофе? Пожалуйте, Егоръ Ивановичъ!
- Мерси... Я только что пообъдалъ... То-есть собственно позавтракалъ...
 - А вы полноте, идите!

Директоръ растворилъ дверь и всталъ, пропуская меня впередъ.

- Вотъ, душечка, позволь тебѣ представить Егора Ивановича Подгибалова, окончившаго въ семъ академическомъ году курсъ въ моей гимназіи...
- Съ медалью?—перебила "душечка" и покровительственно, хотя и между дѣломъ, взглянула въ мою сторону.
- Собственно безъ медали, отвътилъ я, присаживаясь къ столу.
- Но не изъ послъднихъ, докончилъ за меня директоръ.

За столомъ, на высокомъ дѣтскомъ стульчикѣ, сидѣла еще дѣвочка лѣтъ 3—4, которая начала со мной заигрывать: глядя на меня исподлобья, она строила вызывающія гримаски, высовывала язычекъ и порывалась все заговорить со мною; долго не рѣшалась, но, наконецъ, начала:

- Дядя дулакъ... ты дулакъ...
- Милочка, не хорошо... перестань!..
- А ты дулакъ... дул-а-акъ!..

Свътлоначищенный самоваръ, блестящій кофейникъ красной мъди, директоръ въ халатъ, "душечка", милочка со своимъ "дулакомъ" и румяныя пахучія булочки домашняго печенья,—все это какъ-то разгоняло мою неловкость, мою робость и подбавляло сознанія, что я уже не гимназисть, и что въ сущности мнъ нечего стъсняться.

- Madame, позволите?—обратился я къ директоршѣ, вынимая изъ коробочки собственную папиросу. Директоръ взглянулъ на меня какъ-то насмѣшливо и погладилъ бородку, но ничего не сказалъ.
- Ахъ, сдълайте одолженіе!—небрежно бросила директорша, углубленная въ хозяйственныя соображенія.

Директоръ разспрашивалъ меня о томъ, на какой факультетъ я намъренъ поступить, давалъ свои совъты и указанія. Когда онъ узналъ о моемъ намъреніи сдълаться естественникомъ, то многозначительно сморщилъ брови и, кажется — искренно, не совътовалъ этого дълать. Медленно, съ разстановкой, съ паузами и вставочными разговорами съ "душечкой" о постороннихъ предметахъ, онъ говорилъ о карьеръ, приводилъ факты плачевнаго положенія у насъ естественниковъ, упомянулъ о какомъ-то Селивановъ, который, по окончаніи курса естественныхъ наукъ, два года утаптывалъ мостовую и лишь недавно пристроился въ какой-то канцеляріи за 40 руб. въ мъсяцъ...

Я слушаль и молчаль, а директорь все говориль и говориль...

— Поступайте, Егоръ Ивановичъ, на филологическій,—убъждаль онъ меня:—благодарная, скажу вамъ наука... — Не хотите ли еще стаканчикъ?—перебила директорша, обратившись въ мою сторону, но тонъ ея предложенія быль изъ такихъ, которые не только отнимаютъ всякій аппетить, но даже лишаютъ способности чувствовать благодарность за вниманіе.

Видя, что наступилъ моментъ, когда всего лучше было встать и откланяться, я поднялся и въжливо сказалъ:

- Не смъю больше васъ задерживать... Позвольте поблагодарить и пожелать вамъ всего лучшаго!..
- И мы—тоже,— отвътила директорша и протянула мнъ руку такъ небрежно, что я почувствовалъ даже обиду: какъ-то, знаете, черезъ плечо, глядя въ сторону...

Директоръ проводилъ меня до кабинета. Здѣсь онъ остановилъ меня, взялъ двумя пальцами за верхнюю пуговицу и съ какой-то таинственностью произнесъ:

— Ну, Егоръ Ивановичъ, еще одно послъднее указаніе: не увлекайтесь никакими тамъ идеями... Лучше всего оставить ихъ въ поков и съ подобными господами не связываться... Надо стараться получить дипломъ... всв эти идеи... (директоръ безнадежно махнулърукой). Я вамъ говорю, какъ отецъ, отправляющій своего сына въ дальнее странствованіе. Теперь вы, Егоръ Ивановичъ, становитесь своего рода Одиссеемъ: отечество, какъ Пенелопа, будетъ ждать вашего возвращенія...

И здѣсь директоръ, закрывъ глаза, продекламировалъ нѣсколько стиховъ изъ Одиссеи по-гречески.

- Такъ воть идите съ миромъ и помните мой послъдній совъть вамъ: сторониться всякихъ идей...
- Не безпокойтесь, Василій Өеофилактовичь, я буду стараться безъ идей какъ-нибудь...—успокоиль я, хотя, конечно, я не настолько же глупъ, чтобы думать, что можно обойтись безъ идей... Идея слово греческое, значить мысль...

— Такъ, такъ... Это—прежде всего,—уже издали донесся голосъ директора.

Я вышель и зашагаль по пустыннымь коридорамь гимназіи въ канцелярію.

Въ канцеляріи я опять почувствоваль себя какъ-то неловко отъ непривычнаго привъта и любезности служащихъ. Дрожащимъ почеркомъ я расписывался здъсь въ какихъ-то книгахъ и на листахъ бумаги, давалъ какое-то письменное согласіе на что-то, писалъ кому-то и о чемъ-то прошеніе, продиктованное мнѣ письмоводителемъ... Все это я дѣлалъ торопливо, судорожно, съ одною мыслью въ головѣ: "кончилъ!" и, кажется, готовъ былъ въ эту минуту подписывать что угодно и кому угодно, писать хоть сотню прошеній, лишь бы поскорѣе отдѣлаться и получить желаемый "аттестатъ зрѣлости"...

Но воть—совершилось!.. Удостовъреніе въ зрълости положено въ карманъ. Я вынимаю свою "Звъздочку" и предлагаю письмоводителю:

- Не угодно ли?
- A ну-ка, попробуемъ!.. Э, у васъ покупныя?!. Не хочу.
 - Какъ вамъ угодно.
 - Давно курите?
- Съ пятаго класса. Въ седьмомъ бросалъ, а въ восьмомъ опять началъ...
 - На юридическій, поди?
 - -- Нътъ, естественникомъ буду...
- Напрасно!.. Попали бы въ Плеваки, такъ узнали, гдъ зимують раки!..
- Красноръчія не имъю, да и за деньгами особенно не гонюсь...
 - Значить, ужъ вредныя иден въ головъ имъете...
- Я удивленно посмотрълъ на письмоводителя.
 - Что вы хотите этимъ сказать?
 - Что хотълъ, то и сказалъ... Пренебрегаете день-

гами, а это, батенька, начало всякихъ превратныхъ идей...

"Вотъ дались имъ эти идеи!" думалъ я, выходя въ швейцарскую.

— Кирилычъ! Пальто!..

Отвъта не послъдовало. Я оглянулся вокругъ,—никого не было. Самъ надълъ пальто и досталъ съ полочки фуражку.

Выйдя на крыльцо гимназіи, я глубоко и свободно вдохнулъ влажный весенній воздухъ.

Быль свътлый майскій день, радостный, торжествующій. Легкій дождичекъ "сквозь солнце" только что спрыснуль гимназическій садъ, крыши домовъ, мостовую. Все это выглядъло новымъ, свъжимъ, молодымъ и, казалось, радовалось вмъстъ со мною... Изъ сада неслись оживленное щебетаніе птицъ и ароматъ распустившейся сирени, съ улицъ несмолкаемая трескотня извозчичьихъ пролетокъ и пестрый шумъ голосовъ и звуковъ городской сутолоки.

Гимназія была расположена на горъ. Предо мною раскрывалась дивная панорама; подъ ногами—хаосъ стънъ и крышъ, бълыхъ, красныхъ, зеленыхъ, съ выдвигающимися надъ ними куполами церквей, ослъпительно сверкавшихъ на солнышкъ позолотою, съ кущами обывательскихъ и городскихъ садовъ и скверовъ... Вдали, за городомъ, необъятный лугъ, а дальше—окутанные сизымъ туманомъ неясные мягкіе контуры волжскихъ горъ и дивная голубоватая даль, манящая къ себъ даль, навъвающая грезы о чемъ-то далекомъ, несбыточномъ, но дивномъ...

Когда я окинуль взоромь разстилавшійся подъ ногами городь и необозримый горизонть голубыхь, подернутыхь мъстами бълыми облачками небесъ, мое сердце защемило и запрыгало отъ избытка счастья, радости,—и мнъ захотълось полетъть вмъстъ съ улетавшей по направленію къ сизымъ горамъ птицею куда-то

далеко-далеко и затеряться, утонуть въ голубоватой дымкъ горизонта... Я снялъ фуражку, погладилъ себя по одурманенной головъ и, самъ не знаю чему, засмъялся... Какъ хорошо!.. Ахъ, какъ хорошо!.. Хочется и плакать, и смъяться, запъть что-нибудь...

Я спустился по деревянной, покрытой зеленымъ мо-хомъ, лъстницъ подъ гору и пошелъ вдоль улицы.

Мои ноги невольно бъжали впередъ. Я чувствовалъ, что мое лицо складывается въ глупъйшую улыбку и едва сдерживаль себя, чтобы не расхохотаться самымъ безцеремоннымъ образомъ среди улицы, по тротуарамъ которой сновали безпрерывно прохожіе, и нъкоторые изъ нихъ, какъ мнъ казалось, смотръли на меня не безъ удивленія. Какая-то толстая барыня даже улыбнулась, встрътившись со мною взорами, послъ чего я чуть-чуть не заговорилъ съ ней: такъ и подмывало меня сказать ей, что я - "кончилъ", а въ доказательство вынуть изъ кармана и показать "аттестать зрълости"... При поворотъ въ другую улицу меня кто-то окрикнулъ по фамиліи. Я едва сдержаль ноги и остановился. Это былъ мой товарищъ Крюковъ, который тоже "кончилъ". Онъ храбро дымилъ папиросой; чрезъ распахнутое пальто виднёлся вороть его красной рубахи; на головъ его небрежно покоилась поярковая шляна съ широкими трясущимися полями; въ рукахъ онъ держалъ толстую корявую палку, конецъ которой касался тротуара и производилъ страшную трескотню.

— Куда, collega? — спросилъ Крюковъ, сдвигая на затылокъ свою шляпу и отирая рукавомъ пальто потный лобъ.

Я и самъ не зналъ — "куда" и теперь только мысленно спросилъ себя: "куда я, въ самомъ дѣлѣ?"

- Такъ... былъ въ гимназіи, получилъ аттестатъ...
- Я вчера еще получилъ его, collega!.. Вотъ курьезъ, collega! ха-ха-ха!.. Сейчасъ встрътился съ нашимъ грекомъ и разговаривалъ съ нимъ... Откровенно признался,

что никогда не писалъ самъ домашнихъ упражненій и не подыскивалъ словъ, что на экзаменъ прекрасно списалъ, хотя и сидълъ за отдъльнымъ столикомъ... Его, братецъ, даже передернуло, отъ безсильной злобы — надо полагать...

- Воображаю... И что же?
- Съът... Поморщился и сказалъ: "недобросовъстно"... Это еще и въ греческомъ языкъ совъсть подавай!..

И мы отъ души хохотали надъ бъднымъ "грекомъ"...

- На медицинскій?
- Конечно, collega! A ты?
- Естественникъ.
- Тоже дъльно!.. Медики и естественники—самый лучшій народъ.
 - Ты былъ у директора?
 - Былъ... Онъ мнъ совътовалъ-на филологическій...
 - И мит тоже... Насчетъ идей говорилъ?
 - Говорилъ...

И мы снова хохотали до слезъ.

Когда мы проходили мимо портерной лавки, на вывъскъ которой была изображена кружка пива, неестественно пънившагося и льющагося черезъ края посуды,—Крюковъ предложилъ:

— Зайдемъ! Хлопнемъ, collega, по кружечкъ...

Я согласился. Мы спустились по каменнымъ ступенькамъ лъстницы въ подвальный этажъ, вошли въ мрачную, прохладную коморку и съли за отдъльный столикъ.

- Человъкъ! Бутылку пива! повелительно крикнулъ Крюковъ, снимая шляпу.
 - Какого прикажете?
 - Какого, collega? Свътлаго, надъюсь?...
 - -- Конечно.
 - Валяй свътлаго! Живо!

Послъ двухъ бутылокъ выпитаго пива въ нашихъ

головахъ зашумъло. Мы о чемъ-то спорили, чуть не поругались, пробовали пъть дуэтомъ "Gaudeamus", "Дубинушку", говорили объ "идеяхъ"... Помнится мнъ еще, что, когда, выйдя изъ портерной и взявши другъ друга подъ руку, мы шли по улицъ, Крюковъ вступалъ въ разговоры и объясненія со всъми встръчаемыми на пути будочниками, о чемъ-то все спорилъ съ ними и многозначительно постукивалъ при этомъ своей толстой корявой дубинкою...

Ночью мит снились все тревожные сны. То я видёль себя опять на гимназической скамьт отвёчающимъ урокъ и не знающимъ, что даже задано, то мит снилось, что меня распекаеть инспекторъ за то, что я хожу безъ ранца, не имтю на фуражкт установленнаго знака и не пришью сзади пуговицы... Тревожно пробуждаясь отъ сна, я моментально вспоминалъ, что я—"кончилъ" и съ какимъ-то наслажденіемъ прижимался снова къ подушкт и спокойно и быстро засыпалъ...

На другой день у насъбылъ "семейный праздникъ": по случаю благополучнаго окончанія мною курса гимназіи къ намъ собрались родственники и знакомые, пили чай, играли въ карты, а за ужиномъ роспили двѣ бутылки шампанскаго. Я былъ, конечно, "героемъ" этого праздника... "Егоръ Ивановичъ, Егоръ Ивановичъ", — звучало во всѣхъ углахъ, и стоило мнѣ только появиться, чтобы обратить общее вниманіе. Однако я предпочиталъ прислушиваться къ разговорамъ издали:

- Теперь ужъ на дорогѣ: главное перескочилъ!...
- Главный, такъ сказать, барьеръ взялъ... Хе-хе-хе!...
- Егоръ Ивановичъ пойдетъ: онъ, кажется, весьма способный молодой человъкъ.

Я проходилъ мимо серьезно и равнодушно, хотя разсыпаемыя по моему адресу похвалы льстили моему самолюбію... Когда я появился въ отцовскомъ кабинетъ, гдъ гости играли въ карты, раздался возгласъ:

- A, а, господинъ студентъ! Присаживайтесь... Въ винтикъ играете?
 - Нѣтъ.
- Плохо-съ... Неполная зрѣлость... Учиться надо. Теперь вступаете въ общество, неловко-съ!..
- Чепуха! По моему мнѣнію, это совершенно пустое времяпрепровожденіе,—замѣтилъ я смѣло и открыто.
- Ахъ, Егоръ Ивановичъ, вольнодумствуете-съ... Поживете, —узнаете. И мы когда-то эти идеи имъли-съ... Онъ хороши только въ теоріи, а на практикъ —миражъ одинъ...

Я ухмыльнулся, но промолчалъ.

Въ другомъ мъстъ на меня напали дамы. Съ хохотомъ, визгами, на перебой другъ передъ другомъ, онъ тараторили всъ разомъ:

- -- Егоръ Ивановичъ!
- Егорушка! по старой памяти можно такъ называть?
- Теперь вы—настоящій молодой человъкъ: можете ухаживать...
- Нътъ, рано... Надо сперва въ университетъ кончить, а тогда начинать...
- Ха-ха-ха!.. Постойте, Егорушка! Посмотрите: у него усы есть!..
 - На какой факультеть поступите?
 - На медицинскій поступайте!
- Фи! съ мертвецами возиться... Лучше—на юридическій,—прокуроромъ будете.
- Я, господа, поступаю въ естественники,—обръзалъ я дамскую трескотню.
- Это ловить букашекъ, бабочекъ, а потомъ сажать ихъ на булавки?...
 - Напрасно такъ думаете...
 - Ну, а что же? Къмъ же вы потомъ будете?

— Человъкомъ...

Общій хохоть.

- А сколько потомъ жалованья? спросила тетка, сухая пожилая вдова, съ жалобнымъ лицомъ, постоянно ноющая и хлопочущая о какомъ-то пенсіонъ.
 - Наука, тетя, одно, а жалованье--другое.
 - Науку, поди, ъсть не будешь?
- А ну васъ!

Я повернулся и отошелъ...

Подъ конецъ вечера гости надовли мнв хуже горькой рвдьки со своими соввтами, пожеланіями и допросами. Одни уввщевали сдвлаться докторомь, другіе—прокуроромь, третьи—учителемь, четвертые—попасть въ инженеры, одна барыня стояла за артиллерійское училище. Прямо голова кругомъ шла отъ массы всякихъ дорогъ и тропинокъ. Я, наконецъ, вышелъ изъ терпвнія и за ужиномъ началъ огрызаться:

- Я ничего, господа, не знаю... Главное— сдѣлаться честнымъ человъкомъ!
- Въ этомъ мы, Егоръ Ивановичъ, не сомнѣваемся. А все-таки надо же выбрать себѣ карьеру...
- Въроятно, молодой человъкъ, у васъ есть же къ чему-нибудь особое пристрастіе?— спросилъ папинъ начальникъ, глядя на меня черезъ очки.
- Что ты больше всего любишь? поясниль папа мысль своего начальника. Исторію, географію, языкъ какой-нибудь?

По мъръ того, какъ папа перечислялъ предметы, въ моемъ воображении вставали фигуры преподавателей, отрывки отдъльныхъ "уроковъ", отмътки, случаи разные на урокахъ... При упоминании объ истории,—я живо представилъ себъ свою истрепанную, въ сломанномъ переплетъ, книгу "Исторію среднихъ въковъ" Иловайскаго, потомъ откуда-то выскочила въ мозгу страница про "Пипина Короткаго", усъянный цифрами листъ— "хронологія", по которой готовился къ выпуск-

ному экзамену, а затъмъ въ памяти всталъ и самъ Яковъ Кузьмичъ, нашъ историкъ, чахоточный и злой, требующій отъ насъ "хронологію въ разбивку и съ обоихъ концовъ по порядку". Какая-то каша именъ, анекдотовъ, цифръ, отмътокъ... Вотъ она, исторія! Любишь исторію?.. Географія... Но географія... всегда стояла и стоитъ рядышкомъ съ исторіей, это — родныя сестры... И преподаватель у нихъ одинъ... Да я до смерти радъ, что, наконецъ, избавился отъ "исторіи съ географіей". Языки... латинскій... греческій... Избави меня Господи!

И я модчаль, не зная, что я люблю и люблю ли чтонибудь...

- А физика! Ты въдь ее любишь?—помогла мама: у тебя изъ физики, кажется, все пятерки?!
- Ну, воть, на физическій факультеть и поступайте,—сказаль папинь начальникь. Нѣкоторые изъгостей переглянулись. Я посмотрѣль на папу: онъ покраснѣлъ.
- Про такой факультеть я что-то не слыхаль... Въ какомъ это университеть есть такой факультеть?—спросиль я съ ироніей папинаго начальника.
- A тотъ факультеть, гдѣ эту физику изучають, молодой человѣкъ...
- Да ее изучають на медицинскомъ, на математическомъ...
 - Ну, вотъ! да... гм...

Произошло неловкое молчаніе, и меня оставили въ покоб, не разрѣшивъ вопроса о моемъ призваніи.

— Только бы кончилъ да мъсто приличное получилъ, а тамъ все равно,—пропищала въ моментъ общаго затишься моя пенсіонная тетушка.

Никто ее не поддерживалъ, но она продолжала резонерствовать вслухъ о трудности жизни, о жалованьѣ, пенсіонѣ, казенной квартирѣ и т. д.

Когда пили шампанское, то произносили тостъ за меня.

Гости разошлись поздно. Мама страшно устала и, какъ тѣнь, бродила по комнатамъ въ бѣлой кофточкѣ, водворяя хотя нѣкоторый порядокъ въ комнатахъ. Папа подпилъ, былъ веселъ и, несмотря на упрашиванья мамы—ложиться и дать всѣмъ покой, не хотѣлъ этого дѣлать. Заложивъ руки въ карманы брюкъ, онъ нетвердыми шагами гулялъ по залѣ и напѣвалъ: "Не искушай меня безъ нужды". Смѣшно, когда папа начинаетъ пѣть романсы. (Онъ поетъ ихъ только въ тѣхъ случаяхъ, когда выпьетъ).

- Не ис-куша-а-ай мме-ня безъ ну-у-ужды... вытягивалъ папа сиплымъ басомъ, ловилъ меня за талію, по-товарищески, предлагалъ папиросу и похлопывалъ по плечу.
- Ну-съ, Егоръ Ивановичъ!.. Мы съ вами созръли, значить!

Я стъснялся такой необычайной фамильярности со стороны отца, особенно же послъ того, какъ папа началъ разспрашивать меня о такихъ вещахъ, про которыя какъ-то неловко и говорить-то съ роднымъ отцомъ! Предостерегая меня отъ увлеченій, грубыхъ увлеченій, онъ совътовалъ мнъ быть осмотрительнымъ, жестикулировалъ указательнымъ пальцемъ и приговаривалъ:

— Все, Егоръ Ивановичъ, можно, все можно, но... осторожно-съ!

Мама, услыхавъ нашъ разговоръ, разсердилась:

— Добру учишь?!

А когда папа началъ говорить дальше, то она пожала плечами и сказала:

- Какъ вамъ не стыдно, Иванъ Панкратьевичъ? Удивляюсь!
 - . И пошла вонъ.
- А почему бы и не называть вещи ихъ настоящими именами? Что онъ, матушка, мальчикъ, что ли? институтка? Теперь онъ студентъ, а студенты...

Тутъ папа свистнулъ и щелкнулъ пальцами.

Онъ совсѣмъ спьянился. Въ этомъ я убѣдился, когда папа отъ любезностей по моему адресу неожиданно перешелъ прямо къ ругани:

- Прохвосты, всё вы прохвосты! тихо бормоталь онъ, сидя на диванё со склоненной на грудь головою. Васъ поишь, кормишь, изъ-за васъ въ долги лёзешь, петлю на шею надёваешь, а вы развё цёните? Никогда! Выгонять изъ университета, и все прахомъ пошло! Идеи разныя въ башкахъ заводятся... Какъ можно! Мы хотимъ міровые вопросы разрёшать!.. Гдё бы поскорёе кончить да на мёсто—родителямъ жилы ослабить, они начинаютъ погаными идеями головы набивать... Свиньи!.. Право! Егоръ!
 - Что, папа?
 - Ты у меня изволь выкинуть изъ башки эту дурь?
 - Въ моей головъ никакой дури, папа, нътъ...
 - Изволь вытряхнуть изъ башки всякія идеи!
 - Т.-е. какъ это? Не думать?
- Да! Не думать, коли на то пошло... Зуди, старайся стипендію получить!.. Пора перестать жилы изъродителей тянуть... Когда получишь дипломъ,—думай, сколько тебъ заблагоразсудится, а покуда студентъ,—тише травы, ниже воды... Слышишь? Смир-р-но!!

Папа такъ громко закричалъ: "смирно!" какъ кричатъ только на смотрахъ офицеры, командуя солдатами.

На этотъ дикій крикъ прибъжала мама, испуганная за маленькую сестренку, и начала усовъщевать отца. Кое-какъ ей удалось увести его въ спальню. Онъ улегся, но долго еще въ тишинъ ночи бранилъ идеи:

- У меня, братъ, всѣ эти прокламаціи—къ чорту! Выдеру, какъ сидорову козу!.. Идеи! болванъ!
 - Спи, пожалуйста!
- А ты не потворствуй! Онъ и сейчасъ уже начи наетъ грубить старшимъ... "Гдъ такой факультетъ?" Да какъ же ты, прохвостъ, смъешь такъ спрашивать?...

— Спи, ради Бога!..

Я сидълъ въ темномъ залъ и печально прислушивался...

И мнѣ было грустно, обидно и хотѣлось разрыдаться...

Чего всё они хотять оть меня?.. Мнё стало жаль себя и жаль еще чего-то, что мнё было такъ близко и дорого и надъ чёмъ такъ грубо и безжалостно смёялись всё они...

Я смахнуль рукою съ рѣсницъ своихъ слезы, всталъ съ кресла и ушелъ отъ всѣхъ ихъ въ садъ...

Ярко блестъли въ небесной синевъ звъзды. Лунный свътъ скользилъ по деревьямъ сада и, пробиваясь чрезъ листву, дрожалъ на дорожкахъ, играя съ пугливыми тънями.. Мирно дремали стройныя, высокія березы, бълъя въ разстилавшемся по землъ сумракъ своими стволами; плотными стънами стояли кусты сиреневыхъ зарослей и аллейки акацій: цвъты, поднимая свои головки, прислушивались къ чему-то и дышали нъжнымъ благоуханіемъ... Было такъ тихо, спокойно, торжественно... Въ загадочной тишинъ величавой ночи, полной луннаго свъта и звъзднаго сіянія, казалось, совершалось какое-то таинство, непостижимое для человъка, съ его маленькими, ничтожными заботами и коротенькой жизнью...

Я словно вырвался изъ тъсной тюрьмы, гдъ было такъ душно, душно... Грудь жадно впивала прохладу ароматной весенней ночи и дышала легко и свободно. Я долго смотрълъ въ бездонную глубь небесъ, гдъ мерцали, то загасая, то вспыхивая, звъзды, и не могъ оторваться... Что-то притягивало меня къ этимъ далекимъ невъдомымъ звъзднымъ мірамъ, къ тайнъ, крывшейся въ ихъ робкомъ мерцаніи и въ этомъ грустномъ лунномъ свътъ, заливающемъ землю...

И я пересталъ сердиться на отца... Обида потухла и самолюбіе смирилось... Мнѣ жалко стало папу, и жаль бѣдную маму, и жаль всѣхъ людей... Зачѣмъ они враждують, зачѣмъ не любятъ другъ друга, какъ братья, какъ дѣти одного отца, который бросилъ на это глубокое синее небо миріады звѣздъ?..

Когда я возвратился домой,—всѣ уже спали. Тихо, на цыпочкахъ, прошелъ я черезъ столовую въ залъ, казавшійся теперь какимъ-то пустыннымъ и загадочнымъ... Въ большія окна его смотрѣла лунная звѣздная ночь; на полу тянулись голубоватыя полосы луннаго свѣта, а подъ потолкомъ, по угламъ прятались тѣни... Осторожно отворивъ тяжелую дверь, я вышелъ на балконъ...

Спить городь, облитый луннымь свѣтомь... Вонь соборь пятиглавый, вонь полицейская каланча, а вонь —университеть... Массивныя зданія его гордо высятся надъ всѣми ближайшими домами; стѣны и колонны кажутся бѣлоснѣжными, на длинной вереницѣ оконъ играеть лунный отблескъ... Цѣлый замокъ, загадочный для меня замокъ, полный чудесь науки, живущій какой-то невѣдомой для меня новой жизнью, жизнью полной интереса и значенія...

Скоро, скоро ты, чудесный замокъ, отворишь предо мною свои двери и примешь меня въ число твоихъ юныхъ питомцевъ, скоро ты раскроешь предо мною свою тайну и разръшишь все, что теперь кажется мнъ непонятнымъ и непостижимымъ... Ключъ къ твоимъ дверямъ у меня въ карманъ: это — "аттестатъ зрълости"...

Студенть!.. Да неужели я, Егоръ Подгибаловъ, студенть?! Развъ такіе бывають студенты?..

И сердце снова запрыгало и застучало въ груди моей, и снова мнъ захотълось смъяться, пъть, расцъловать весь міръ...

"NPOFPECCB".

- -- A что, Павелъ Васильичъ, почему бы и намъ чего-нибудь не выставить?
 - Какъ то-есть?..
- Да очень просто: выставочку устроить, хоть небольшую... Все-таки и мы не лыкомъ шиты... Не слъдуетъ отставать...
- Научно-промышленную? съ оттънкомъ ироніи спросилъ Павелъ Васильевичъ.
- Нътъ-съ... Какая тамъ наука-съ!.. Сельско-хозяйственную... Губернія помъщичья, есть все-таки и образцовыя хозяйства... У васъ, напримъръ... А, главное, чъмъ же нибудь надо о себъ заявлять? Этакъ мы въкъ въ загонъ останемся... Люди хлопочутъ, у людей—желъзныя дороги и всякій прогрессъ, а у насъ какъ было при Горохъ, такъ и сейчасъ... Я вотъ третье четырехлътіе головой состою, а никакого прогресса не вижу... А почему? Поъхалъ хлопотать... Представляюсь: градской, говорю, голова города Трущобинска... А на меня смотрятъ, глаза разинули, словно никогда и города-то такого не знати... Въточку, говорю, намъ желательно бы.!. Пріобщиться къ прогрессу... А они: какая тамъ въточка? Зачъмъ?.. Нечего вамъ возить... А почему?.. Сидимъ— и о насъ ни слуху, ни духу!..
- Да...—задумчиво, выпуская изъ-подъ усовъ табачный дымокъ, произнесъ Павелъ Васильевичъ. —

Наши хлопоты о подъёздной вёточкё не выгорёли... Носъ!..

- А вамъ не дурно бы?.. а?.. Ваше имъньице какъ разъ возлъ въточки было бы... Сълъ, динь-динь-динь!.. тррр... и пошла, пошла!.. Черезъ два-три часа дома, у законной супруги-съ!.. Хе-хе-хе!..
 - Гм... да-а...
- Хлѣбъ за брюхомъ не ходитъ-съ, Павелъ Васильевичъ... Самимъ надо стараться... Такъ же и прогрессъ-съ!.. Его за хвостъ надо поймать, да еще стараться не выпустить! Хе-хе-хе!..

"Градской голова" хлопнулъ предсѣдателя земской управы по колѣнкѣ и засмѣялся тѣмъ сытымъ смѣхомъ самодовольства и самоувѣренности, какимъ хохочутъ плутоватые пузатенькіе купчики...

Собесъдники сидъли въ укромномъ уголкъ общественнаго сада, вблизи шумнаго, ярко освъщеннаго вокзала, утопавшаго въ зелени и казавшагося теперь какимъ-то сказочнымъ фантастическимъ замкомъ, храмомъ Вакха... Смъхъ, говоръ, бряканье билліардныхъ шаровъ, хлопанье пробокъ, лязгъ ножей, звонъ посуды, оркестріонъ, какая-то дикая оргія звуковъ вырывалась изъ раскрытыхъ, ослъпительно яркихъ въ темнотъ ночи оконъ вокзала...

Густая заросль акацій скрывала одинокій зеленый столикъ со скамеечкой. Здѣсь при розовомъ фонарикъ, въ компаніи съ бутылкою портвейна, обоимъ собесѣдникамъ чувствовалось хорошо, свободно и уютно... Любопытный глазъ публики не проникалъ чрезъ густую стѣну акацій, а между тѣмъ здѣсь прекрасно былъ слышенъ оркестръ военной музыки, черезъ каждые полчаса наигрывавшій польки, вальсы и отрывки изъ "Жизни за царя"...

— А вы думали, прогрессъ-то самъ вамъ въ ротъ полъзетъ?.. Дудки-съ!.. А вотъ устроимъ выставочку, а тамъ ночлежный домикъ-съ... Вы вотъ уже завели агро-

номовъ... Сколько про васъ писали?!. И пусть пишутъ... Пусть знають, видять, помнять!!.

- Земство стѣснено... Сами знаете, какъ отразились на нашемъ бюджетѣ всѣ эти недороды, безкормицы...
- -- Пустяки!.. Богъ дастъ день, дастъ и деньги... Xexe-xe!.. Вамъ прикажете?
 - Наливайте!...

Чокнувшись, собесъдники отхлебнули по глотку винца и посмаковали его...

- Какъ будто немного кисловато?
- Да... есть... Окупится, Павелъ Васильевичъ!.. Городъ отъ себя дастъ тысченокъ пятнадцать-двадцать... За городъ я ручаюсь!.. Ну, земство тысячъ пять... Вотъ и будетъ. Сборъ съ экспонентовъ, съ входныхъ билетовъ... Можно ресторанчикъ этакій уютный, веселенькій устроить... Хе-хе-хе!..

Трудно сказать, что заставляло купца Кленова такъ страстно желать выставки, но мысль о ней неотступно преслѣдовала его съ тѣхъ поръ, какъ онъ проѣздомъ побывалъ на выставкѣ въ городѣ Орлѣ. Очень можетъ быть, что Кленову хотѣлось славы, популярности, хотѣлось пофигурировать въ печати въ качествѣ "просвѣщеннаго дѣятеля", а можетъ быть, имъ дѣйствительно руководило желаніе принести благо городу косвеннымъ путемъ, путемъ "напоминаній" о себѣ... Какъ бы то ни было, а Кленовъ, какъ говорится, спалъ и видѣлъ выставку и рѣшительно изводилъ этой выставкой свою жену.

- А ты что, Өекла Степанидовна, выставишь?
- Будетъ тебъ, охальникъ! Постыдись!.. Какая я тебъ Степаниловна?..
- Возьму это я тебя подъ ручку и— на выставку! На другой день въ газетъ: "Вчера изволили посътить выставку нашъ уважаемый градской голова съ законной супругою своей..."
 - А тебъ и любо?..

— Подойдеть это губернаторь... Подъ козырекъ сдълаеть... На мнѣ, конечно, цѣпь... Онъ честь не мнѣ, а знаку дѣлаеть. Само собой, и я тоже:—"мое почтеніе!"

На сей разъ Никанору Ивановичу подвернулся предсъдатель управы, и онъ, вмъсто супруги, изводилъ выставкой предсъдателя... Собесъдники уже покончили съ бутылкой вина за разговорами о выставкъ, но Никаноръ Иванычъ, не желая отпускать своей жертвы, потребовалъ новую бутылку...

— Постой, поговоримъ! – удерживалъ онъ собесъдника, захмелъвъ и незамътно переходя на "ты".

Предсъдатель, улучивъ минутку, сбъжалъ.

"Градской голова", пошатываясь, поплелся вдоль главной аллеи. Здёсь онъ поймалъ репортера мъстнаго "Листка", фамильярно подхватилъ его подъ руку и повлекъ въ кусты акаціи.

- Хоть вы, дьяволы, только и знаете, что ругаетесь, а все-таки я печать уважаю и всегда готовъ...
- -- Я, Никаноръ Ивановичъ, съ дамами... Виноватъ! попробовалъ отвертъться репортеръ.
- Постой!.. Дѣло, значитъ, есть!.. Бабы не уйдутъ, всегда при тебѣ останутся...

Репортеръ печально шелъ за головой, но когда тотъ потянулъ его съ аллеи въ кусты, — инстинктивно отшатнулся и попятился:

- Куда же вы тащите?
- --- Да постой!.. Думаешь, бить буду? Нѣтъ... Я не такой... Пиши, пожалуйста, ругайся сколько влѣзеть, я жаловаться по начальствамъ не полѣзу... Я печать всетаки уважаю...
- Садись! тономъ безапелляціоннаго приказанія произнесъ голова, ткнувъ сотрудника мѣстной газетки на ту же самую лавочку, съ которой сбѣжалъ недавно предсѣдатель управы.

Затъмъ голова налилъ въ стаканчики вина и произнесъ:

- Скажи: "слава Богу!"
- Почему это?
- Заработокъ тебѣ будетъ... Вотъ ужъ попишешь всласть!.. отведешь душу... Теперь каждый день въ управу бѣгаешь да спрашиваешь: "что новаго?" а тогда, братъ, только писать поспѣвай!..
 - Да что такое?
- Ну, выпьемъ спервоначалу!.. Будь здоровъ! Пиши, старайся, а ужъ мы тебя не забудемъ!..

Голова чокнулся съ репортеромъ и залпомъ выпилъ стаканчикъ.

Выпилъ и сотрудникъ.

- Какъ вы, газетчики, полагаете: выставка—полезная вещь?
 - Еще бы!.. Конечно!..
- Ругать того человѣка, который устроить эту самую вещь, можно?..
 - Зачѣмъ же ругать непремѣнно?..
 - Вотъ то-то и оно-то!..
 - А что?
- Будеть выставка!.. Воть тебѣ моя рука! Не быть мнѣ головой, если...
 - Что же, прекрасно...
- Да ты что мнѣ говоришь: "прекра-а-асно!" Ты скажи: поддержить меня газета? Али тоже кастерить будеть?.. На васъ не угодишь...
- Нашъ органъ всякое хорошее, доброе дѣло поддерживаетъ... Не людей, а дѣло...
- А ты будешь канитель-то разводить! Дѣло! Само, что ли, дѣло-то сдѣлается? Чай, люди же его будуть дѣлать?
 - Конечно, люди... гм...
- Давай руку!.. Хоть вы и лаетесь, а я для города всей душой... Мнъ ничего не надо! Я и отъ жалованья, брать, если захочу,—откажусь... Вотъ что! Я для прогресса всегда готовъ...

Дня черезъ два послѣ описаннаго вечера въ мѣстномъ "Листкъ" появилась первая замѣтка о предстоящей въ Трущобинскъ сельско-хозяйственной выставкъ: "Мы слышали изъ вполнъ достовърныхъ источниковъ, что нашъ уважаемый городской голова Н. И. Кленовъ явился иниціаторомъ въ дѣлѣ устройства въ г. Трущобинскъ первой сельско-хозяйственной выставки. Завтра поговоримъ подробнѣе объ этомъ въ высшей степени симпатичномъ и полезномъ для края предпріятіи, дѣлающемъ честь нашему "отцу города", а пока скажемъ только: "въ добрый путь!" Эта замѣтка такъ подбодрила голову, что онъ сейчасъ же послалъ за секретаремъ управы "Платонычемъ", — какъ всѣ называли его за глаза, —и приступилъ къ дѣлу:

- Надо, Максимъ Платонычъ, докладецъ составить о выставкъ... Только жалостнъе, чтобы гласные не упирались... Чтобы вся польза отъ выставки налицо была... А то народъ прижимистый... Двадцатъ тысячъ просить надо...
 - Можно...
- Сможешь ли?.. А то попроси-ка газетчика, который къ намъ за справками ходитъ... Онъ здорово, складно пишетъ. Я могу заплатить,—дъло полезное...
 - Самъ справлюсь...
- Нътъ, позови, братецъ!.. Онъ собаку на этомъ съълъ... Противъ него не сможешь...

Затьмъ голова обътхалъ встхъ наиболте вліятельныхъ гласныхъ и заручился ихъ полнымъ согласіемъ вотировать за выставку, что было, впрочемъ, совстмъ не трудно, такъ какъ каждый изъ этихъ гласныхъ имѣлъ что выставить...

Цълый годъ г. Трущобинскъ готовился къ открытію выставки... Разговоры частные и общественные, ръчи съ безчисленнымъ количествомъ словъ: прогрессъ, куль-

тура, цивилизація, благо народа и т. д., цільні рядь статей въ "Листків" съ эпиграфомъ:

"Съйте разумное, доброе, въчное!"

Всѣ говорили, читали и писали о томъ великомъ общественномъ значеніи, которое имѣютъ всѣ выставки вообще и какое предстоящая трущобинская будетъ имѣть въ особенности... Дѣльцы набили языки, повторяя заученныя фразы объ общественной роли выставки, ея умственномъ и нравственномъ значеніи для цѣлой области, вліяніи на самосознаніе ея жителей и т. д.

Слушая всѣ эти толки, можно было подумать, что предстоящая въ Трущобинскъ выставка облагодътельствуеть цёлый край, а мужики этого края сразу поумнъють, будуть высоконравственными, перестануть бить своихъ бабъ, не станутъ ходить въ кабаки, всв разбогат воть и стануть исправными "плательщиками"... Ла и какъ же иначе? на выставкъ можно было узнать, что пахать слъдуетъ вовсе не двурогой деревянной сохою, а желъзнымъ плугомъ; что вмъсто того, чтобы сыпать хлъбъ на землю при жнитвъ, гнуть въ дугу спины и тратить такъ много времени попусту, -- можно употреблять въ дъло жнею: она чисто сожнетъ, и въ снопы свяжеть и зерпа не выльеть... Здёсь можно было узнать, что худыя съ поджарыми боками и обглоданными хвостами коровы и лошади — хуже породистыхъ тирольскихъ коровъ и заводскихъ жеребцовъ... Вообще, здёсь было можно многое увидёть, узнать и очень многому поучиться...

Послѣ годовой подготовки выставка отпраздновала торжество своего открытія...

Это былъ, —выражаясь языкомъ мѣстнаго "Листка", — "мѣстный праздникъ въ честь человѣческаго ума, такъ успѣшно расширяющаго свое могущество надъ непокорными силами природы и ея враждебныхъ человѣку стихій"...

Различные "успѣхи" въ различныхъ отрасляхъ хозяйства и промышленности, прогрессы и прогрессики всяческихъ сортовъ переполняли всѣ уголки красивыхъ выставочныхъ павильоновъ и витринъ... Тутъ была и новоизобрѣтенная машина, которая сама сѣяла, сама жала, молотила и чуть-чуть только не пекла хлѣбныхъ караваевъ, тутъ были и усовершенствованныя породы крупнаго и мелкаго домашняго скота: свинья необъятныхъ размѣровъ, еле-еле волочащая свою жирную тушу, гордый величественный рысакъ и тучная корова; были сѣмена хлѣбныхъ породъ: американскій овесъ, царская рожь, королевскій ячмень и т. д.

Отслужили благодарственный Господу Богу молебень, и разноцвътные флаги взвились на высокихъ жердяхъ надъ павильонами. Какой-то членъ выставочной комиссіи произнесъ подобающую случаю рѣчь, которая тянулась около двухъ часовъ времени и утомила всѣхъ присутствовавшихъ до головной боли. Въ этой рѣчи ораторъ, главнымъ образомъ, указывалъ на значеніе совершающагося событія въ экономической жизни края и всѣхъ его жителей...

Затъмъ грянулъ оркестръ военной музыки, и наступило общее ликованіе.

Задолго до открытія въ г. Трущобинскѣ выставки староста села "Подгорное", Миронъ Матвѣевъ, по распоряженію волостного писаря, созвалъ сходъ. Время было рабочее, горячее, поэтому согнать народъ было не легко...

Миронъ ходилъ по дворамъ и постукивалъ подожкомъ въ оконницы:

— Эй! Григорій! Кто дома есть?...

Поднимается оконница и выставляется по поясъ мальчуганъ лътъ восьми:

— Тятьки нѣту-ти, дяденька... На полѣ...

- Объдъ понесешь ему?
- Понесу... Скоро побъту: ты гляди, гдъ солнышко-то?!.
- Накажи отцу, чтобы на сходъ утресь приходилъ, чтобы не уходилъ на поле! Изъ губерніи, скажи, такая бумага пришла насчеть нашего брата... Оченно важное, скажи, дъло.
 - Ладно, скажу...
- Мотри не забудь! Такъ и скажи: бумага пришла... изъ губерніи...

Оконница захлопывалась, а Миронъ шелъ дальше.

- Эй! Кто есть?..
- Чаго тебѣ?—отвѣчаетъ чей-то больной, недовольный голосъ...
 - Отворь! Надо!

Изъ окна выставляется ръденькая бороденка клинышкомъ.

- А, ты, Кузьма, дома?..
- Дома, Миронъ Матвѣичъ... Лихоманка замучила... Измаялся...
 - Вотъ что, Кузьма: на сходъ надо завтра!..
 - А что?..
- Изъ губерніи бумага пришла... Писарь читалъ ее,—только я что-то не совсъмъ раскумекалъ... Какая-то поблажка намъ...
 - Дай Богъ!
 - Такъ приходи завтра утресь!..
- Какъ-нибудь приплетусь... Можеть, полегче станеть, отпустить...

Такъ Миронъ обошелъ всѣ порядки и вездѣ сообщилъ о бумагѣ изъ губерніи.

Въсть объ этой бумагъ изъ села пошла гулять по полямъ.

На другой день большинство подгорновцевъ были дома и съ ранняго утра толкались на улицахъ, разсуждая о "бумагъ изъ губерніи". Насчетъ значенія

послѣдней дѣлались самыя невѣроятныя предположенія.

- Поблажка сказываютъ... Сѣмянъ, баютъ, выдадутъ и протчее.
- Нътъ, для че съмянъ?! Чай, я слышалъ, какъ писарь съ урядникомъ говорили... Насчетъ скотины чего-то. Видно, выдавать скотину хотятъ...
- Это ужъ на что лучше бы! Каку бы нибудь кляченку мнъ выдали!.. Эхъ! мнъ никакъ невозможно...
- На сходъ!.. закричалъ Миронъ, выйдя на крыльцо сборной избы.

Подгорновцы галопомъ поскакали туда и сбились въ стадо густой массою...

Изъ избы вышелъ урядникъ. Мужики скинули шапки. Урядникъ властнымъ окомъ окинулъ собраніе, крякнулъ и началъ читать бумагу. Подгорновцы съ напряженнымъ вниманіемъ слушали эту завътную бумагу, боясь пропустить мимо ушей хоть одно слово ея...

Въ бумагъ предписывалось объявить по волости, что такого-то числа, мъсяца и года въ Трущобинскъ открывается выставка; далъе въ пятидесяти словахъ выяснялось великое значеніе этой выставки для всего края, затъмъ приглашались въ качествъ экспонентовъ желающіе кустари-крестьяне...

Чтеніе окончилось, а подгорновцы стояли молча, съ разинутыми ртами и пожирали глазами урядника... Ничего изъ этой бумаги они не поняли; уразумъли только отдъльныя слова и выраженія: "сельское хозяйство", "рогатый скоть", "улучшенныя породы зернового хлъба", "выгоды", "награды".

— Поняли?—прикрикнулъ урядникъ.

Всѣ молчали. Одни почесывали въ затылкахъ, другіе довольно улыбались и поглаживали свои бороды, третьн—стояли съ устремленными въ землю взорами.

- Поняли? Ну, ты, лысый?.. Понялъ?..
- Мы что же... Какъ міръ... Міръ спроси!...

- Да ты-то поняль?..
- Я-то?.. знамо понялъ... Только что же я? Другихъ спрашивай!

Урядникъ плюнулъ и началъ объяснять:

— Открывается выставка, черти сиволапые... Выставять всякую тебъ штуку: машину, скотину, съмена, рожь тамъ, овесъ... и протчее... того... какъ приказано... Теперь—кустари... Гм... Кто у васъ кустарь?.. Выходи впередъ!..

Всъ стояли молча, переглядываясь другъ съ другомъ.

- Ты, Рябой, вѣдь этимъ дѣломъ займашься? спросилъ, наконецъ, одинъ изъ мужиковъ своего сосѣда, ткнувъ его кулакомъ подъ бокъ.
 - Я-то?..
 - Ты кусты сажаль.
- Разсадилъ дѣвствительно... Хочу садикъ развести. Рябой выдвинулся впередъ, но принялъ такую позу, словно стоялъ наготовѣ и при малѣйшей опасности намѣревался юркнуть въ толпу.
- Еще кто? Есть? Выходите!..—командовалъ урядникъ.

Но больше никто не вышелъ.

- Ты кустарь? спросиль урядникъ Рябого.
- Немного баловался...
- Чѣмъ?
- Кусточки люблю, садикъ хочу развести...

Урядникъ нахмурился...

- А больше никого нътъ?
- Нъту-ти, ваше благородіе, больше.
- Никого... одинъ-Рябой!..
- Ну, одного нечего и считать... Не стоитъ,—тихо замътилъ урядникъ и громко добавилъ:
- Такъ вотъ, о всемъ вышеизложенномъ я вамъ и объявляю для свъдънія и руководства... Больше ничего! Можете расходиться!..

И, еще разъ строго-начальнически оглядъвъ толпу, урядникъ ушелъ въ избу, а подгорновцы все еще про-

должали стоять въ какомъ-то оцѣпенѣніи... Среди нихъ поднялся вдругъ невообразимый хаосъ: всѣ заговорили разомъ... Нѣкоторые такъ просто горланили, ни къ кому не обращаясь, другіе успѣли уже вступить въ споръ и ругань.

— Будетъ галдѣть!.. Сказано — расходиться! — сердито закричалъ урядникъ черезъ раскрытое окно.

Толпа стала разбредаться, переругиваясь на ходу... Цълый день подгорновцы волновались и спорили о томъ, принесетъ ли прочитанная бумага убытокъ міру или ее надо считать за поблажку.

Миронъ, со словъ урядника, къ которому его посылало "обчество", объяснилъ, что никакого вреда отъ бумаги не будетъ, какъ не будетъ и никакихъ поблажекъ; объяснилъ, что "все это только такъ, одна, значитъ, прокламація, и больше ничего,—приказано объявить, и все тутъ!"

Но старики думали про себя, что туть что-то не такъ, въ ихъ съдыя головы закралось смутное подозръніе... Старики ворчали и недовольно сплевывали въ сторону:

- Гумага... Ты пойми ее, эту гумагу,—воть оно что! Для чего-нибудь да прислано же... Не эря же?
- Это върно... Зачъмъ зря гумагу марать?!. Тоже приказано объявить... А если приказано, значить есть въ ей, въ гумагъ-то, что-нибудь...

Дѣло дошло до того, что и самъ Миронъ началъ сомнѣваться и подозрѣвать, что урядникъ "что-нибудь не такъ"...

Прошло около мѣсяца, а подгорновцы все еще не могли успокоиться...

Между тъмъ въ Трущобинскъ открылась выставка, и въ село Подгорное стали доноситься о ней смутные толки. Ъздившая въ городъ заштатная престарълая просвирня наговорила дома цълую кучу небылицъ, которыя окончательно взбаламутили подгорновцевъ. Опять стали толковать о томъ, какъ бы не проворонить по-

блажку, что приказано объявить,—значить, есть къ тому причина, что не будуть зря бумагу марать и т. д.

Подгорновцы рѣшили послать въ городъ ходока, поручивши ему разслѣдовать дѣло обстоятельно, поразспрошать начальство, что и какъ, куда слѣдуетъ прошеніе подавать о сѣменахъ и куда о скотинѣ, гдѣ награду получить, а также и "о протчемъ"... Потому не спроста это...

Выборъ палъ на старика Назара Петрова, человъка бывалаго и надежнаго... Собрали съ міру десять цълковыхъ и отправили Назара въ городъ.

Назаръ вздѣлъ на плечи котомку, привязалъ на подожокъ лапотки, попрощался съ односельцами и, помолившись на храмъ Божій, двинулся:

- Счастливо!..
- Постарайся!..
- Будемъ стараться... Господь милостивъ...

Человъкъ онъ былъ толковый, въ городъ бывалъ нъсколько разъ; поэтому Назару не пришлось блуждать здъсь какъ въ лъсу.

Переночевавъ въ ночлежномъ домѣ, Назаръ умылся, причесался, помолился и отправился по начальству. Назаръ довѣрялъ только самому "первому начальству",—поэтому онъ махнулъ прямо къ губернатору.

- Ты куда лъзещь? встрътилъ его у дверей параднаго подъъзда полицейскій.
 - Сами у себя будуть?
 - Кто?
 - Губернаторъ!...
 - А что?
- Надо покалякать!—нахмуривъ съдыя брови, отвътилъ Назаръ.

Какъ ни протестовалъ полицейскій, Назаръ взялъ свое и добился личнаго свиданія... Объясненіе было краткое, выразительное, не допускающее превратныхъ толкованій... Оказалось, урядникъ говорилъ правильно,

что все это такъ и что ждать ни дурного, ни хорошаго не приходится...

Время шло подъ вечеръ. Назаръ рѣшилъ переночевать, а завтра чуть-свѣть двинуться въ обратный путь. Оставалось нѣсколько часовъ времени, которое было некуда дѣвать. Поэтому Назаръ и надумалъ посмотрѣть, что это за штука—выставка?..

Добрался Назаръ до громадной городской площади, гдъ высились красивыя выставочныя зданія съ развъвавшимися на вершинахъ флагами...

Музыка гудъла съ страшнымъ воодушевленіемъ, всъхъ болъе горячился турецкій барабанъ...

"Экъ его бухаетъ какъ здорово!.."— подумалъ Назаръ про барабанъ...

Около входа, разукрашеннаго прекрасными тріумфальными воротами, толкалась масса горожанъ... Около маленькаго окошечка кассы происходила страшная давка... Въ воздухъ мелькали руки, зонтики, шляпы...

Назаръ не струсилъ:

— А мы нешто не люди?.. Надо посмотръть.

Онъ безцеремонно растолкалъ локтями публику, протерся къ тріумфальнымъ воротамъ и смъло двинулся дальше.

- Билетъ вашъ?
- Билетъ?.. Можно... Вотъ онъ, изволь-смотри! Назаръ полъзъ за пазуху и вытащилъ грязный засаленный паспортъ.
- Не этотъ билетъ, а для входа... Надо сперва деньги за входъ заплатить!..
 - Деньги!.. А много ль?
 - Двадцать копъекъ!..
- Ну, такъ я лучше ужо! Лишнихъ денегъ, голубчикъ, нътъ...

Назаръ протискался обратно. Онъ скоро сообразилъ,

что можно посмотрѣть и не плативши двугривеннаго... Забравшись на зады одной изъ построекъ, онъ приложился глазомъ къ дырѣ, образовавшейся въ доскѣ отъ выпавшаго сучка, и сталъ разсматривать.

Передъ его взорами открывался не особенно привлекательный видъ.

Назаръ усмотрълъ часть хлъвушка и сидъвшихъ въ немъ свиней... Неудобство наблюденій черезъ дырочку не позволяло ему видъть животныхъ во всей ихъ красъ, и Назаръ обозръвалъ ихъ по частямъ: то промелькиетъ передъ его глазомъ свиной задъ съ маленькимъ хвостикомъ-закорючкой, то ухо съ мордой "пятачкомъ", то двъ ноги... Тъмъ не менъе, Назаръ составилъ въ своемъ воображеніи полный рисунокъ свиньи.

— Ну, и боровъ!..--время отъ времени шептали губы Назара, и онъ никакъ не могъ оторваться отъ дыры...

Наконецъ, будочникъ далъ Назару по шев, и онъ вспомнилъ, что пора идти на ночевку...

- Пошеть! Морду набью!—прикрикнулъ на него будочникъ.
 - Ну, и боровъ!..- сказалъ ему Назаръ...

Во снѣ Назару снился все тотъ же боровъ. Нѣсколько разъ Назаръ просыпался и сердито отплевывался:

— Фу, ты, Боже мой!.. Такъ въ глаза и лѣзетъ, окаянный!

Назаръ крестился и опять засыпаль, но боровъ снова являлся во снъ, принимая все болъе и болъе необъятные размъры...

Какъ только по селу пошла въсть, что Назаръ изъ города воротился, къ его избъ стали подходить группы односельчанъ.

- Что, Назаръ, какъ наши дъла?
- Зря ходилъ... Урядникъ правильно говорилъ. Такъ, для проформы...

- Самъ губернаторъ баилъ?
- Самъ... Я его вотъ какъ видътъ: вплоть!

Подгорновцы печально опустили головы и вздыхали. А когда они спрашивали, что дълается въ городъ и что за штука эта выставка, Назаръ одушевлялся и начиналъ разсказывать:

- Борова, напримъръ, показываютъ... Ну, дьяволъ его заъшь, сколь годовъ на свътъ живу, а такого лъшаго не видывалъ!.. Право!.. Тамъ, значитъ, музыка гудетъ, развлекаются... Ну, и боровъ! Ахъ ты, окаянная сила!..
 - А насчеть наградь какь же?
- --- Каки награды!.. Спрашиваль я... Воть этому самому борову, дьяволь его задави, и дадуть, бають, награду!..
 - Ну? Что городишь!!.
- Кто ихъ знаетъ: мнѣ такъ въ городу сказывали... Борову... этому самому... золоту медаль, баютъ... Ахъ, ѣшь ихъ мухи съ комарами!..

И всѣ покатывались со смѣху, несмотря на горькое разочарованіе...

А Назаръ, разсказывая о выставкъ, всегда сбивался на борова... Выставка и боровъ въ его представленіи, а затъмъ и въ представленіи всъхъ подгорновцевъ, слились въ одно цълое, нераздъльное...

ШЕЛЛИ.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ ВЪ ПЕРЕВОДЪ К. Д. БАЛЬМОНТА.

НОВОЕ ТРЕХТОМНОЕ ПЕРЕРАБОТАННОЕ ИЗДАНІЕ.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

Содержание перваго тома:

- 1. Лирика. 186 стихотвореній.
- 2. Царица Мабъ. Поэма.
- 3. Примъчанія Шелли къ "Царицъ Мабъ".
- 4. Демонъ міра. Поэма.
- 5. Аласторъ. Поэма.

Геліогравюра Дюжардена, изображающая Шелли. Пояснительныя примѣчанія К. Д. Бальмонта.

Цъна 2 руб.

Печатается ТОМЪ ВТОРОЙ.

Содержание второго тома:

- 1: Возмущение Ислама (Лаонъ и Цитна). Поэма.
- 2. Царевичъ Атаназъ. Огрывокъ.
- 3. Строки, написанныя среди Евганейскихъ холмовъ.
- 4. Розалинда и Елена. Современная эклога.
- 5. Юліанъ и Маддало. Беседа.
- 6. Освобожденный Прометей. Лирическая драма.
- 7. Ченчи. Трагедія.

Выписывающіе изъ склада товарищества «ЗНАНІЕ» за пересылну не платять. Просять обращаться исключительно по адресу: Контора т-ва «ЗНАНІЕ», Спг., Невскій, 92.

1. Эсхилъ. СКОВАННЫЙ. ПРОМЕТЕЙ.

Переводъ Д. С. Мережковскаго. Въ стихахъ. Съ портр. Эсхила. Цъна **30** к.

2. Софоклъ. ЭДИПЪ-ЦАРЬ.

Переводъ Д. С. Мережковскаго. Въ стихахъ. Съ портр. Софокла. Ивна **40** к.

3. Софоклъ. ЭДИПЪ ВЪ КОЛОНЪ.

Переводъ Д. С. Мережковскаго. Въ стихахъ. Съ портр. Софокла. Пъна **40** к.

4. Софоклъ. АНТИГОНА.

Переводъ Д. С. Мережковскаго. Въ стихахъ. Съ портр. Софокла. Пъна **40** к.

5. Эврипидъ. МЕДЕЯ.

Переводъ Д. С. Мережковскаго. Въ стпхахъ. Съ портр. Эврипида. Цъна 40 к.

6. Эврипидъ. ИППОЛИТЪ.

Переводъ Д. С. Мережковскаго. Въ стихахъ. Съ портр. Эврипида. Цена **40** к.

7. Платонъ. ПИРЪ.

Философская поэма. Иллюстраціи: снимки съ бюстовъ Платона, Сократа, Аристофана, Алкивіада; картины пира по древне греческимъ вазамъ; снимки со статуй и рельефовъ; снимокъ съ картины "Пиръ" Фейербаха. Цѣна 60 к.

8. Бьёрнсонъ. ПЕРЧАТКА.

Драма въ 3 дъйствіяхъ. Съ норвежскаго. Переводъ А. и П. Ганзенъ. Пъпа 40 к.

9. Э. Золя. УГЛЕКОПЫ.

Романъ въ 8 частяхъ. Переводъ А. Л. Коморской. Изданіе второе. Съ портретомъ Золя. Цѣна 1 руб.

Лонгфелло. ПЪСНЬ О ГАЙАВАТЪ.

Роскошно иллюстрированное изданіе. Переводь въ стихахъ И. А. Бунина. Рисунки американскаго художника Ремингтона. Портреть Лонгфелло; около 400 иллюстрацій въ текстѣ; 22 большихъ рис. на отдѣльныхъ таблицахъ. Цѣна 2 рубля.

Дешевое изданіе. Портреть Лонгфелло; около 400 рис. въ текстъ, 22 рис. на отдъльныхъ табл. Тотъ же переводъ, тъ-же иллюстраціи, какъ въ роскошномъ изданіи, но бумага и формать другіе. Цъна 80 коп.

Въ товариществъ "ЗНАНІЕ печатаются:

1. РОСКОШНО ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ИЗДАНІЕ

эсхилъ, софоклъ, ТРАГЕЦІИ.

Переводъ Д. С. Мережковскаго. Въ стихахъ. Текстъ иллюстрированъ снимками съ произведеній греческаго искусства: со статуй, барельефовъ, камей, съ рисунковъ на вазахъ и пр. Около 40 рпс. на отдёльныхъ таблицахъ; 40—50 рпс. въ текстъ.

2. Леопарди. РАЗГОВОРЫ.

Содерожение: — Разговоръ Геркулеса съ Атлантомъ. — Разговоръ Моды со Смертью. — Разговоръ блуждающаго огня съ гномомъ. — Разговоръ природы съ душою. — Разговоръ вемли съ луною. — Споръ Прометея. — Разговоръ физика съ метафизикомъ. — Разговоръ Т. Тассо съ его добрымъ геніемъ. — Разговоръ природы съ исландцемъ. — Разговоръ Ф. Рюнша съ его муміями. — Разговоръ Хр. Колумба съ Гутьерецомъ. — Разговоръ Коперника съ солицемъ. — Разговоръ Плотина съ Порфиріемъ и др.

3. Леопарди. МЫСЛИ.

4. Байронъ. МАНФРЕДЪ.

Новый переводъ въ стихахъ И. А. Бунина.

5. Байронъ. КАИНЪ.

Новый переводъ въ стихахъ И. А. Бунина.

6. Моррисъ. ИСКУССТВО.

Никольскій. ЛѣТНІЯ ПОѣЗДКИ НАТУРАЛИСТА.

Разсказъ о путемествіяхъ: 1) въ Туркестанѣ; 2) на Ледовитомъ океанѣ; 3) въ Сѣверной Персіи; 4) На Сахалинѣ — Въ книгѣ 155 рис. Кромѣ того, 24 картины на отд. табл. Цѣна 2 р.

Главнымъ Управленіемъ военно-учебныхъ заведеній книга рекомендована для пріобрименія от библіотеки кадетскихъ корпусовъ. Ученымъ Ком. Мин. Нар. Просв. книга

одобрена для фундаментальных и ученических, старшаю возраста, библіотект средних учебных заведеній Министерства Народнаю Просвищенія, для библіотект учительских институтовт и семинарій, а также для безплатных народных библіотект и читалент.

Тиндаль. ЗВУКЪ.

Съ англійскаго.—Переводъ М. А. Антоновича.—Второе русское изданіе, свѣренное съ послѣднимъ англійскимъ изданіемъ и съ нѣмецкимъ переводомъ А. Гельмгольцъ и К. Дюбуа-Реймонъ, дополненное по англійскому изданію.

Двъсти четыре иллюстраціи въ текстъ.—Цъна 1 р. 50 к. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв. настоящее изд. перевода Антоновича

одобрено для ученических, старшаю возраста, и для фундаментальных виблютекь средних учебных заведеній Министерства и для раздачи учащимся въ этих заведеніяхь въ награду, а также для библютекь учительских институтовь и семинарій, для учительскихь библютекь городскихь училищь и для безплатных народныхь читалень.

Штёррингъ ПСИХОПАТОЛОГІЯ ВЪ ПРИМЪНЕНІИ КЪ ПСИХОЛОГІИ.

Переводъ А. А. Крогіуса. Цъна 1 р. 50 к.

Съ предисловіемъ академика В. М. Бехтерева.

Съ приложеніемъ указателя сочиненій по психологіи, педагогинь, теоріи познанія и психопатологіи, составленнаго проф. Спб. Университета А. И. Введенскимъ, привать-доцентомъ И. И. Лапшинымъ и А. А. Крогіусомъ.

«Психопатологія можеть дать много цвинаго для психологіи. Чтобы выяснить разные вопросы психологій, мы должны выбрать изъ области патологіи такіе случан. которые представляли бы, въ изивстномъ стыслів, эксперименты, произведенные природой. Это именно и сділать авторъ въ преддагаемомъ сочиненіи... (Изъ предисловія автора къ русскому изданию).

«Современные исихологи все чаще и чаще обращаются къ психонатологіи за разъясненіемъ многихъ спорныхъ вопросовъ. Являдась настоятельная потребность представить въ единомъ цёльномъ изложеніи всё данныя патологической психелогіи. Этой насущной потребности и отвъчаетъ книга проф. Штёррин а...» (Изъ предисловія

академика Бехтерева).











